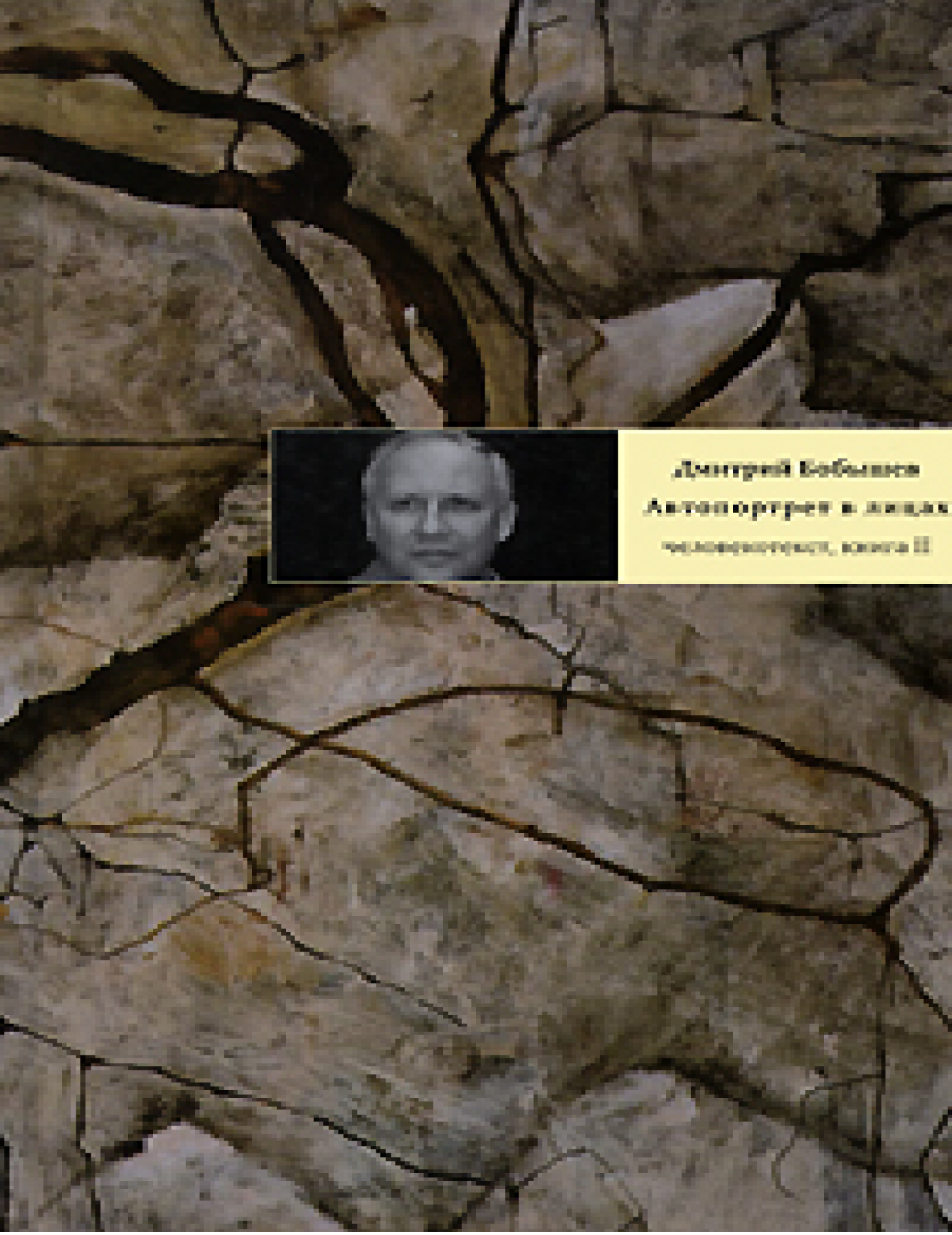

Дмитрий Бобышев

Автопортрет в лицах

человекописание, книга II

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автор этих воспоминаний - один из ленинградских поэтов круга Анны Ахматовой, в который кроме него входили Иосиф Бродский, Анатолий Найман и Евгений Рейн. К семидесятым годам, о них идёт речь в книге, эта группа уже распалась, но рассказчик, по-прежнему неофициальный поэт, всё ещё стремится к признанию и, не желая поступиться внутренней свободой, старается выработать свою литературную стратегию. В новой книге Дмитрий Бобышев рассказывает о встречах с друзьями и современниками - поэтами андеграунда, художниками-нонконформистами, политическими диссидентами, известными красавицами того времени... Упомянутые в книге имена, одни весьма громкие, другие незаслуженно забытые, представлены в характерных жестах, диалогах, портретных набросках, письмах и драматических сценках.

- Дмитрий Бобышев
  - ВСТУПЛЕНИЕ
    ■
  - ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
    ■
  - СУМАСШЕДШИЙ АВТОБУС
    ■
  - ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ
    ■
  - ЕГО ЖЕ СЛОВАМИ
    ■
  - ГОЛУБЫЕ ЗАЙЦЫ
    ■
  - ОТПУСКНЫЕ СКИТАНИЯ
    ■
  - ДЕЛО ШВЕЙГОЛЬЦА
    ■
  - ПРИКЛАДНАЯ ГЕНИАЛЬНОСТЬ
    ■
  - ДВА ЛАУРЕАТА
    ■
  - РАНЕНОЕ ИМЯ
    ■
  - БОЛЬШИЕ МАНЁВРЫ
    ■
  - ДОМ НА ПЕСКЕ

- КОМНАТА НА НЕВСКОМ

- БРАТЬЯ-ПИСАТЕЛИ

- ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИГРЫ

- НЕБЕСНОЕ НАШЕСТВИЕ

- С НЕМЕЦКОГО НА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ

- ДЕЛО БРАУНА – БЕРГЕРА

- В ГОСТЯХ У БАГРОВА-ВНУКА

- В ПАСМУРНОМ БАКУ

- В ЕРЕВАНЕ БЕЗ АРАРАТА

- АСТРАХАНСКИЕ СУТКИ

- У «РОДИНЫ-МАТЕРИ»

- ДРУГОЙ ГЕРМАНЦЕВ

- ХВОСТ ПРИНИМАЕТ ВИЗИТЁРОВ

- АДМИРАЛЬСКИЙ ЧАС

- ДЕЛО ГЕРМАНЦЕВА

- У ДИРЕКТОРА

- СУД ИДЁТ

- НА АРЕСТ ДРУГА

- МСТИТЕЛЬНЫЕ ОВОЩИ

- 1972 ГОД

- КАТАКОМБНЫЕ ХРИСТИАНЕ

- ДИССИДЕНТЫ

- УХОД ИЗ ПОЭЗИИ
  -
- НЕСКОЛЬКО ПОЯСНЕНИЙ
  -
- КОММЕНТАРИЙ К ЖУКОВСКОМУ
  -
- ВТОРАЯ КУЛЬТУРА
  -
- КОТЕЛЬНЫ ЮНОШИ
  -
- БЕЛЫЕ РЫЦАРИ
  -
- ЧЁРНЫЙ ПУДЕЛЬ
  -
- ТРАНСЦЕНДЕНТАЛИСТ
  -
- ПОСТНОЕ И СКОРОМНОЕ
  -
- Моими стараниями был принят в контору Вениамин Иофе, впоследствии глава ленинградского «Мемориала». Вот уж кто был «матёрый человечище» и «рыцарь белого камина», всё в кавычках, так как первое высказывание – из Николая Ленина о Толстом, а второе – из Василия Кулаковского, бывшего главного редактора газеты «Технолог» о самом Вене. После отсидки по делу «Колокола» этот умнейший человек вместо того чтобы быть в Афинах Периклетом, прозябал на изнурительной работе в цеху по производству фанеры. Но и там его ущемляли. Перейдя к нам, он превратил и без того богатую талантами пуско-наладку в альфа-подразделение интеллектуальной элиты!
  -
- ПРОЩАНЬЯ И ЗНАКОМСТВА
  -
- ХУДОЖНИКИ
  -
- ИЕРАТ
  -
- МАГ
  -
- «МЕЖ СТЕН»
  -
- ЗВЕЗДА

- ДВУХДНЕВНАЯ ВЫСТАВКА

- ФИНАЛЬНАЯ СЦЕНА

- В ЛИТЕРАТУРНЫХ НЕТЯХ

- ЧЕХОВСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

- В ЛИТЕРАТУРНЫХ НЕТЯХ (продолжение)

- ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ НА ПЕТЕРБУРГСКОМ ФОНЕ

- ЧЁРНАЯ ШАЛЬ

- АМЕРИКАНКА

- ДЕТИ ДЕТАНТА

- ОХОТА НА МАМОНТА

- ПРОЩАЙ, И ЕСЛИ НАВСЕГДА, ТО НАВСЕГДА ПРОЩАЙ

Дмитрий Бобышев
Автопортрет в лицах. Человекотекст, книга вторая

ВСТУПЛЕНИЕ

Эта книга является продолжением литературных воспоминаний «Я здесь» (также с подзаголовком «человеко-текст»), напечатанных сокращённо в журнале «Октябрь» и позднее, в 2003 году, вышедших в более полном виде в издательстве «Вагриус».

В первой книге, вызвавшей интерес читателей и весьма неравнодушные отзывы критиков, главное действие происходит в шестидесятые годы прошлого века и посвящено дебютам молодых ленинградских поэтов круга Анны Ахматовой (И. Бродский, А. Найман, Е. Рейн), их дружбе и соперничеству. Время действия второй – семидесятые в Ленинграде, отчасти в Москве и других местах. Рассказчик и главный герой, по-прежнему неофициальный поэт, стремится к признанию, не желая при этом поступиться внутренней свободой. Речь, как и в первой книге, ведётся от первого лица, и поэтому – я, совсем не безличный персонаж, убеждаясь, насколько этого трудно достичь в эпоху, когда часы истории остановились, а жизнь проходит вхолостую, всё же пытаюсь выработать свою литературную стратегию. Над подобными задачами бьются мои друзья и современники, встречи с которыми составляют главное содержание книги: поэты андеграунда, художники-нонконформисты, телевизионная богема, христианские подвижники, политические диссиденты, известные красавицы того времени. Упомянутые в книге имена, порой весьма громкие, а иные и незаслуженно забытые, ныне отходят в прошлое, и я пытаюсь сохранить для читателя живые образы, представив их в узнаваемом виде – в запомнившихся жестах, диалогах, портретных набросках, письмах и драматических сценках.

Десятилетия, прошедшие с той поры, позволяют увидеть судьбы тех людей в дальнейшем развитии, а некоторые из них – в свершении. Многие нашли свой путь в жизни, включая и меня, автора воспоминаний, который намерен продолжить повествование.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

– А что вы делаете на этом блядском телевидении, Дмитрий Васильевич? – спросила меня Надежда Яковлевна Мандельштам.

Ударением на последнем слоге она придала и без того яркому эпитету саркастический шик. Ну разумеется, я не стал отвечать ей на вопрос – вопросом о том, что делал на воронежском радио Осип Эмильевич да, кажется, в подмогу ему, и она сама, – зачем, какие тут могут быть параллели? Сказал лишь, что у большущего пропагандного кондора есть в гнезде щели, где могут безопасно ютиться разные пташки вроде меня (между прочим, таков был сюжет одной из познавательных телепрограмм)... Но суть состояла совсем не в этом.

* * *

Поначалу телевидение мне просто нравилось, даже во внешних его атрибутах. И в самом деле, когда приходишь на студию, и в вестибюле тебя вдруг встречают два живых, лежащих на мраморе бенгальских тигра в надёжных, конечно, ошейниках, то на целый день заряжаешься каким-то шампанским настроением. Также и в буфете не по-конторски занятно было встать в очередь за каким-нибудь д'Артаньяном в костюме, гриме и «в образе», как выражались актёры, а то и за вертлявой Снегурочкой, которая нет-нет да и скользнёт по тебе радарно-рентгеновским взглядом. И – отвернётся... Или, стоя у кассы сразу за массивной спиной, закупорившей собою амбразуру окошка, слышать на сдержаннейше-тишайшем регистре голос, который, несмотря на такую сурдинку, заполняет объём всего тамбурного зальца бархатными рокотами и раскатами:

– Толубеев... Юрий Владимирович... Тыща девятьсот шестой... Пажалсста...

А – дикторши? Вот уж воистину эфирные существа! Эти эльфы с магнетическими глазами и пиявочно извивающимися губами, конечно, мололи заверенную (даже не в инстанциях, а тут же, в редакции программ) чушь... Впрочем, посылаю тамошним редактрисам мой чмок, – среди них тоже были хорошенькие! Но дикторши являли собой смазливое и доверительное лицо телестудии, смягчали, разглаживали мерцающим с экрана светом задубелые морщины пенсионеров и пенсионерш, заядлых потребителей ТВ.

* * *

– Дорогие наши телезрители! – так Нелли Широких утоляла всеобщий слух, ну, не хуже, чем гроздь с виноградным листом и спиральною завитушкой ублажала бы горло. И своим бемольным обликом – зренье... На толпу её соперниц я натолкнулся однажды в коридоре у одного из репетиционных залов. Там шёл конкурс на соискание этой эмблематической должности. Красавиц с искажёнными личиками было так много, что хоть намазывай их на хлеб, а нужна-то была только одна...

* * *

Редакция учебных программ, куда я поступил работать, была любимым детищем Бориса Максимовича Фирсова, личности незаурядной. Самая его выдающаяся черта была не-чиновность. Он ещё со школы играл на тромбоне с профессионалами джаза, окончил ЛЭТИ и, пойдя, как наш Зеликсон, по комсомольской линии, одно время весьма преуспел. Парижа он, правда, не взял, но стал директором телестудии, а вместо лицея основал нашу редакцию. Телевизионная антенна, «Эйфелева башня Ленинграда», высилась в замкнутой перспективе улицы Чапыгина, частично подтверждая мою параллель.

В пейзажах, от младенчества знакомых,
я наблюдал её, прозрачной, рост.
В ней, как кишечный тракт у насекомых,
просматривался столб-краснополос, —

любил повторять Галик Шейнин строки неизвестного версификатора. Обывательская молва гласила, что, вознесясь по этому столбу на лифте, можно было оказаться в стеклянном ресторане. Я как любитель высоких точек попытался найти этот путь наверх, да куда там! Высотный объект принадлежал не только Министерству связи, но ещё двум хозяевам: Вооружённым силам и КГБ, и я махнул рукой на свою затею.

* * *

Думал ли я, что окажусь утешен впоследствии, побывав на верхушках самых высоких строений мира? Свой первый в

Америке день рождения я отметил в баре на макушке одной из двух башен-близнецов Торгового центра в Нью-Йорке. Выпукло блестела чёрная гавань, в которую вливались ночные воды Гудзона, глубоко внизу ползали фантомные светлячки автомобилей, освещённая статуя Свободы казалась с такой высоты просто кукольной. Запанибрата с мерцающим мегаполисом, я высосал через соломинку свой койтейль, а вкусную вишню выкатил из бокала и съел. Косточку, помня ранний рассказ Юрия Олеши, я долго держал за щекой, пока не выплюнул её на бульваре в Кью-Гарденс у порога многоквартирного дома в той части Нью-Йорка, где началась моя новая жизнь. Но вишнёвого деревца на том месте не выросло. А в первый год следующего тысячелетья башни-близнецы вдруг трагически зазияли своим отсутствием в нью-йоркском небе...

* * *

На подлинную Эйфелеву башню я решил взобраться только в третий из моих приездов в Париж, да и то лишь оказавшись поблизости. У меня образовались полтора часа между двумя интервью – Юрию Кублановскому на «Свободе» и Кире Сапгир на «Иси Пари» – и я, находясь рядом, уже не мог дольше снобировать этот туристский объект. И, конечно же, в результате не пожалел. Помимо заранее представимого макетного города на Сене я увидел там совсем простую, но неожиданную деталь: на смотровой панораме были указаны расстояния оттуда до мировых столиц с точностью до километра. Ленинград был отмечен в стороне Монмартрского холма, как раз за белым собором Святого Сердца, и я мысленно пролетел 2168 километров, причём последние восемь из них резанули мне душу своей почти ощутимой конкретностью. «Хоть пешком!» – сказал я себе сквозь внезапные слёзы. Я был убеждён, что мне уже не суждено увидеть золочёный купол Исаакия, но я тогда ошибался, а место для ностальгии всё-таки выбрал сладчайшее.

* * *

В июле 1998 года, когда хоронили последних царей в Романовской усыпальнице Петропавловского собора, я там присутствовал в толпе репортеров и через них познакомился с двумя верхолазами – отцом и сыном. Сговорились, и вот я уже выбираюсь из люка на самой верхотуре золочёного черепа

Исаакия. Ясный день, сильный ветер, безумная эйфория: я чувствую себя вдруг помолодевшим Фаустом, парящим над прошлым. Мои верхолазы щёлкают пустыми затворами камер, – это всего лишь комплименты заезжему гостю. Крыши, группирующиеся вдоль коленчатых прорезей каналов; вдалеке – Смольный, Большой дом, изгиб Невы к Петропавловке и Стрелке, острова, залив... В возбуждении высотою и ветром вспоминаю о другой, наивысшей точке, на которую я годом раньше поднялся и, уже уходя с Исаакия, вкручиваясь в спиральную лестницу, ведущую вниз, приостанавливаюсь, чтобы о том сказать. Вдруг крышка люка срывается под напором ветра и – непростительная оплошность проводников! – ударяет меня по темени. Секунда смерти. Убийство и гробовой мрак. Но крышка открывается, и я – жив. А вспоминал я телебашню в Торонто, куда мы поднимались вместе с Галей Руби во время съезда североамериканских славистов. Это было действительно самое высокое строение в мире, и там, наверху, действительно, находился ресторан: светлое канадское пиво и вполне сносная пицца непреложно доказали нам, что мечты сбываются, пусть даже на заледенелом берегу гневного озера Эри (Ири по-местному). Нет, я ошибся: Торонто стоит дальше к северу, на Онтарио. Только я не об этом, а о том, что на стеклянный участок пола с воздушной бездной под ним ни Галя, ни я ступить не решились.

* * *

Первая программа была центральной, вторая – местной, а третья – последней, учебной, никакой. Передавали по ней уроки английского, окормляемые смуглым сангвиником, назовём его Карэном Каракозовым, да математику для заочников, что возглавлялось отдельно, словно в пику и в пару ему, капризно-обидчивым Сергеем Серобабиным, и, как брюнетке с блондинкой неизбежно сопутствует рыженькая, так и тут: для равновесия их дружбы-соперничества возникла наша группа научно-технической информации, куда взяли меня редактором. Дали мне «как мужчине» самые заскорузлые производственные передачи: «Трибуна новатора» и т. п. И окружили меня, словно в своё время моего отчима Василий-Константиныча, морщинистые изобретатели с глазами очарованных странников. Были, конечно, и редакционные дамы, честно путавшие аллергию с аллегорией, а лавры – с фиговыми листками, но это лишь забавляло бродячего безлошадного поэта... Как выражался в своей абстрактной прозе Олег Григорьев, «человек жил в условиях падения тяжестей», и

вдруг он нашёл себе безопасную нишу.

И не только я: об одной из птичек, ютившихся в гнезде пропагандного кондора, передавалась шепотком незаурядная история. Валерия, или, как с подмигом называл её наш главный режиссёр «Кавалерия», была синеглазой и, следовательно, натуральной блондинкой, то суетливой, то впадавшей в задумчивость. Она служила у нас помрежем, то есть ставила на пюпитр заставки (и всегда не вовремя), выполняла другие побегушки, а ниже этой должности считались только кабельмейстеры. В остальное, кроме эфира, время она густо сандалила ресницы, восстанавливая следы былой красоты, и любила шокировать учёных дам, которых я иногда приглашал на свои передачи, тем, что поверх своих, предположительно говоря, естественных блонд она надевала ещё и черноволосый паричок, заламывая его лихо, как матрос бескозырку, набекрень. Вид получался действительно сногсшибательный, как и её былая краса, приведшая когда-то семнадцатилетнюю старлетку без экзаменов в Щукинское училище, а оттуда с середины первого курса на роль Снегурочки на кремлёвскую ёлку, где Лаврентий Палыч и положил на неё глаз.

Редакционный художник, рисовавший те самые заставки, которые рассеянно перебирала в эфире Валерия-Кавалерия, подружился с ней, как он уверял, на чисто алкогольной почве и порой в мужской компании пересказывал её откровения. Правда, про своего патрона она молчала мёртво, говоря лишь, что ей он был «как отец» и что «как человек он был хороший». Те же фразы я слышал и в пересказе Довлатова, который, оказывается, пересекался с Валерией уж наверное не на одной только алкогольной почве, и теми же словами: «как отец» и «как человек он был хороший».

И в самом деле, когда наша Снегурочка своему «Деду Морозу» надоела, он не приготовил из неё сациви и даже не упёк в ГУЛАГ, а, наоборот, устроил её на сцену в БДТ и выдал замуж за самого красивого лейтенанта Балтийского флота. За невестой шли в приданое квартира и королевский дог, а жениху укрупнили наличествующие у него звёзды на погонах и назначили в штаб. Идеальная семья просуществовала ровно до того момента, когда Берия был арестован и второпях (говорили даже, что прямо в лифте) расстрелян. Валерию тут же выставили из театра за непригодность, а красавец-моряк взял сына, оставил ей дога, да и был таков. Тогда-то бедняжка и нашла свою нишу в нашей редакции. Разводный суд лишил её материнских прав, но разрешил свидания с сыном, и я как-то видел, выходя после нашей очередной передачи, как Валерию у Чапыгина, 6 поджидал

высокий и неправдоподобно моложавый капитан первого ранга, а с ним смущённого вида подросток. Все трое сели в чёрную «Волгу» и тронулись с места.

На следующий день Валерия не явилась на «обговор» передачи, а, придя прямо на запись, в эфире путала заставки, и попрекнуть её было невозможно: не знаю уж, какую кость она не поделила со своим огромным псом, но руки её были в немыслимых синяках с буграми и вмятинами от клыков. Пожёвана она была жестоко, но заметим – не до крови, что особо отмечало нрав собаки, ну, а её нрав – то, что она была одета в платье с короткими рукавами, со всей этой красой наружу…

Удивляла она иной раз и неожиданной пародией, чисто актёрской шуткой. Однажды стрельнула синевой туда-сюда из-под начернённых ресниц, нет ли вокруг начальства, да и – скок с соседнего стула на мой письменный стол, и с канканной ужимкой изобразила:

Я футболистка, в футбол играю.
В свои ворота (ух! ах!) гол забиваю!

Ну как на такую сердиться? Заведомо прощена…

В своё время актёрствовали почти все наши режиссёры и ассистентки и свои сценические маски носили неснимаемо: главный, например, даже входил-то в редакцию вальяжно, как «благородный отец» на сцену, «комический любовник» бок о бок с «женщиной-вамп» выстраивали видеоряд лекций по математике, а всякие «бобчинские-добчинские» были брошены на «Технический прогресс» и, перемигиваясь между собою, готовили передачи для чуждых им, как инопланетяне, заводчан и производственников.

Эта братия, конечно, подхалтуривала в массовках по другим редакциям, заявляясь порой на рабочее место в причудливом гриме и «образе», а то и под парами, да и вела себя соответственно своим персонажам, и это вносило немалую карнавальность в нашу рутину. Начальство – явно вылепленное из другого теста – терпеть не могло такой вольницы, но переломить её было трудно. Наоборот, сдавшись, сам ушёл от нас молодой бюрократ Альберт Петрович, поставленный руководить «артистами» на первых порах, и его место захватила «хунта чёрных полковников», как назвал наш историограф Вилли Петрицкий двух отставников: генерала противовоздушной обороны и особиста-подполковника.

То, что особист был не блефующий, а настоящий, отчасти подтверждалось его сравнительно молодым для отставного вояки возрастом и тем, как энергично он пустился интриговать,

выведывать чужие пристрастия, манипулировать отношениями, а также не давать проходу нашей по-куриному безропотной машинистке Ирочке.

А генерал? Вот кто, казалось бы, должен уметь и любить командовать. Ничего подобного. Он, оказывается, выучен был подчиняться, исполнять приказания своего начальства, которое по-строевому ел глазами. И ещё одно умел он прекрасно: хранить то, что когда-то было государственной или военной тайной. Он участвовал в боевых действиях в Корее, но, как и Валерия – о своём, мёртво молчал о том, кто в той войне напал первым: северные или южные корейцы и много ли самолётов он сбил.

Так что либерализм неизгоняемо процветал, если не в художественном и гражданском, то хотя бы в алкогольно-гуляльном проявлении, вполне в духе уже наступившей брежневской эпохи. К телецентру примыкала молодёжная гостиница «Дружба», там, в ресторане, если не было массовых кормёжек интуристов, обслуживали и публику со стороны. Студийная мелкая сошка особо облюбовала буфет при этом ресторане, куда многие забегали не только после эфира, но даже и до.

– Не выпить ли нам по соточке коньяку за знакомство? – предложил мне режиссёр, с которым я прежде не работал.

Идея на мой взгляд была весьма хороша, и мы заглянули в тот дружественный уголок. Лишь два осветителя да инженер с телецентра переминались перед нами у стойки.

– Пропустите, ребята, у меня через минуту тракт... – отодвинул короткую очередь заскочивший с улицы телеоператор.

– Вам как всегда? – спросил буфетчик, наливая ему водки чуть ли не «с горкой». Опрокинув стакан без закуски, работник культуры бодро рванул в сторону работы, – наверное, и в самом деле на трактовую репетицию, которая обычно предшествовала выпуску в эфир. Хорош же он, должно быть, явился, в студию! «Как всегда...»

Телеоператоры вообще составляли особое племя на студии – высокомерное до наплевательства – и, даже можно сказать, представляли единый тип оскорблённого гения, вынужденного заниматься презренной дребеденью. Естественно, учебная программа вызывала у них ломоту в скулах, и их можно было понять: видеоряд в некоторых наших передачах состоял из начальной заставки, лектора у доски и конечной заставки. Тогда наблюдалась такая картина: в студию входил, предположим, Жора Прусов и, щёлкнув пальцами, приказывал осветителю:

– Две перекалки на задник!

Затем садился у своей видеопушки на стул и, повесив на неё

наушники, принимался за переводной детектив. Профессор Струве (потомок «тех самых» профессоров) распинался у доски; дама-помреж, тоже без наушников, так как они могли испортить ей причёску, наобум ставила заставки; звукооператор своим «журавлём» ловил слова лектора, который, вопреки всем репетициям, то и дело отворачивался от зрителя к доске, а в отсеке толстая режиссёрша, «комическая героиня», всуе и втуне орала по внутренней связи, пытаясь заставить Жору «крупно наехать» на мыслящее лицо математика. Наконец, услышав жужжание в наушниках, Жора плавно двинул вперёд массивную камеру, за которой потянулся толстый кабель, поддерживаемый, словно пажем в торжественном шествии, кабельмейстером – обычно крашеной цыпой со взбитой причёской, в туфлях на шпильках и в брезентовых рукавицах. Кабельмейстеры больше двух месяцев на такой работе не задерживались: выскакивали замуж либо спирально взмывали на круги короткой девичьей карьеры.

А Жора, присмотревшись ко мне, вдруг спросил:

– Вы тот самый Бобышев?

Сразу же поняв, что значит «тот самый», я не переспрашивая, подтвердил.

– И что вы делаете в этой богадельне? – резанул он меня правдой-маткой.

– То же, что и вы.

– Ну я, бывает, снимаю олимпийских чемпионов, народных артистов, космонавтов...

– Да, тех, кто мелет ещё большую белиберду, чем этот! А у нас всё-таки формулы, факты, наука.

– Ладно, не будем спорить. Я бы вам тоже хотел показать что-нибудь своё.

«Тоже» значит, что он меня уже читал в самиздате, где же ещё? Ну, разве в «Молодом Ленинграде» или «Дне поэзии». А ещё, может быть, что-нибудь обкорнанное – в «Юности». Жаль, что так задерживается большая подборка в «Авроре»! То была очередная пора моих литературных иллюзий и ожиданий...

Очередная, каких я видел немало, клетушка в коммуналке, задвинутый в угол стол с бумажными наслоениями, очередной гений бросает по-лермонтовски в равнодушное лицо человечества свою гордую и горькую обиду... Отзовись, Россия, Русь, ответь хоть как-то на моё презренье к тебе, на мой в бессильном отчаянье брошенный вызов, ну хоть ударь! Ударь же! Ударь! Ну?

А как скажет она «не ударю», так что? Она ведь и Гоголю не ответила.

– Чувства живые, а язык литературен, вторичен.

– Да как вы не понимаете? Сейчас так и надо писать – языком Микеланджело, – горячится Прусов и читает с напором одну из знаменитых стихотворных надписей.

– Его язык – это камень, краски, а не переводные сонеты, Жора.

– Гений гениален во всём. Что художник нахаркает, то уже искусство.

– Ну, положим… И всё-таки язык перевода для собственных стихов негож, это уже дважды выдохнутый воздух.

– Почитайте тогда мою прозу. Здесь повесть и пьеса.

В обоих сочинениях место действия оказалось – дурдом, герои – пациенты, а в основе явно лежал личный опыт. Погружаться мне в него не захотелось, и я без обсуждения вернул рукописи их владельцу. Дело было в том, что я к тому времени наблюдал и более яркие воплощения в одном лице гениальности и безумия – причём там же, на студии.

СУМАСШЕДШИЙ АВТОБУС

В бесконечном П-образном коридоре мне нередко встречался широкий приземистый мужчина, чуть старше среднего возраста. Лысоватый, седоватый и при этом всклокоченный, он передвигался вдоль стенки и, склонив голову набок, частенько разговаривал сам с собой. То был легендарный режиссёр Алексей Александрович Рессер, имевший свой класс в Театральном институте и когда-то ставивший большие литературные передачи, а затем «спущенный» в Детскую редакцию, так как стал уже нескрываемо «ку-ку». Но при этом иногда демонстрировал, что называется, одному ему присущую гениальность, проявлявшуюся, конечно, не в телевизионных передачах. Ибо гений и телевидение – две вещи несовместные, даже не столько по вине цензуры, сколько благодаря внутренне присущим свойствам голубого экрана: подглядыванию за жизнью через камеру и его мерцающей призрачности. Рессер гениально проводил экскурсии по городу, порой причудливо-своевольные, весьма затяжные, многочасовые и даже изнурительные.

Услыхав о них, я дико возжелал отведать этого неведомого плода, другие загорелись тоже, и моя со-редакторша Галя Елисеева стала готовить экскурсию – причём очень загодя: надо было уломать мастера, заказать под фиктивную съёмку автобус, скинуться всем на шофёра (а мастер выступал для коллег бесплатно), назначить день, и всё – втайне от администрации, потому что, как ни крути, это был коллективный прогул.

В одно прекрасное, хотя и довольно хмурое утро мы со студийцами заинтригованно погрузились в автобус, следом зашёл наш экскурсовод, дал знак шофёру чуть отъехать от здания студии, тут же остановил его и, ударив по струнам своего запредельного вдохновения, превратился в Орфея.

Заговорил-запел он об Аптекарском острове, на котором мы находились, рассказал о первоначальном огороде, то есть о грядках лекарственных растений, разбитых здесь «гением основателя города». И, хотя следом он стал истолковывать Ботанический сад как разросшееся продолжение петровского огорода, главная тема его дальнейших внушений уже была обозначена: связь гениальности и болезни. И Рессер легко пересел на любимого конька: труд «Гениальность и помешательство» Чезаре Ламброзо (ныне, я думаю, отвергнутый наукой) откуда он цитировал в особенности мысли о том, как одно проистекает из другого. Для иллюстрации по-актёрски драматически и даже со страстью исполнил апухтинского «Сумасшедшего». В уголках его

рта запеклась тонко взбитая пена. Прошёл час, полтора, а автобус всё ещё стоял на Чапыгина. «Видеоряд» этой экскурсии напоминал наши передачи, но слушатели были гипнотически захвачены речевым потоком, который нагружал их сведениями, парадоксами, смелыми параллелями, неожиданными выводами, прежде не слыханными фактами, цитатами и сопоставлениями.

Автобус тронулся, проехал по Чапыгина ещё два-три дома и вновь остановился на углу Кировского (Каменно-островского) проспекта. Здесь надо было рассказать о горестном безумце Батюшкове, который передал Пушкину если не умственный свих, то во всяком случае свой дар сладкозвучия. Дом, где затмилось его сознание, находился среди деревьев вон в том саду, через проспект отсюда.

Двинулись. Тут же завернули за угол и остановились. Ну, здесь свои имена, сенсации, неслыханности. Заворожённые экскурсанты начали понемногу отключаться от переполненности, от непривычно насыщенной работы мозга. Автобус наконец рванул по проспекту на Чёрную речку, в пушкинские времена, к месту дуэли.

Детали поединка и обстоятельства, ему предшествовавшие, известны на Руси не то что любому школьнику, а и телевизионному кабельмейстеру, да и каждый шаг, приведший поэта к этому месту, был измерен и вычислен поколениями пушкинистов до последней пяди, поэтому Рессер, поведя рукой, произнёс лишь:

– Вот здесь он пал на снег.

И – дал всем проникнуться острой жалостью. Альковная, стыдная история в этом снегу очистилась и из фарса стала трагедией, легендой, даже мифом – в чём и состоял простой и страшный смысл дуэли. Но лакуны меж эпизодами оставались зиять, словно страницы, выдранные из тетради рукой в полицейской перчатке, и оттого произошедшее здесь объяснялось то самой подробной, то вовсе никакой логикой, что вполне равнялось безумию. Царь или нет, и куда глядел сыск, и если изменяла, то с кем, и если пасквиль послан был не тем, а другим, то при чём тут иной, – так или эдак вылезал один только сюр. Остающаяся тайна никак не заменялась предположениями, и версии вытесняли одна другую: их линии не сходились в перспективе, в то время как точка схода была – вот она, перед глазами. Выстрел, смерть, обелиск.

Поехали назад через два острова к Летнему саду по пути, который я проделывал сотни раз. Но теперь, загипнотизированный Рессером, я видел здания и перекрёстки, башни, балконы и лепнину фасадов совсем иными, чем прежде.

Так же бывает с этим городом, когда крепкий мороз вдруг отпустит, и все черноты, от рогулек ветвей до решёточных завитков вдруг выбелит иней. Он тот и не тот: свой же ослепительный негатив. Город бело-крахмальных, неправдоподобно сахарных решёток: не только садовых, а и балконных, карнизных, подвальных, да ещё и палисадных оград, ворот и калиток, – всех этих выгибов, наконечников, ритмов, которых прежде почти не замечал.

Героем и тут, как во всякой питерской истории, становился сам город, задвигающий своих персонажей на второй план, в глубь сцены. Конечно же, гениальный, но и в не меньшей степени буйнопомешанный. Взять те же наводнения:

Нева металась, как больной
В своей постели беспокойной.

Чувствуете связь? Она видна даже в ироническом пассаже из того же «Медного всадника»:

Граф Хвостов,
Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье невских берегов.

Кстати, каковы же на самом деле эти «бессмертные стихи»? Сейчас приведу, поясню лишь некоторые несуразицы текста. «Борей» – северный ветер, это знают все, кроме автора стихов. «Стогны» – «площади». «Крав» – родительный падеж от множественного «кравы», то есть «коровы». И «вздрав» – деепричастие совершенного вида от глагола «воздирать» или «воздрать». А вот сам текст, цитируемый Рессером (воспроизвожу по памяти):

Свирепствовал Борей,
И сколько в этот день погибло лошадей.
По стогнам города валялось много крав,
Лежали кои, ноги кверху вздрав.

Как аплодисменты Рессеру брызнул смех, облегчающий, освобождающий мозги экскурсантов от тяжелодумного напряга. Последовало ещё несколько не то чтобы элегантных, но вполне литературных анекдотов. Прошествовал по Летнему саду

объевшийся блинами великий баснописец. Приспичило, а навстречу – Хвостов.

– Давай, давай, твоё сиятельство, стихов, и скорей, и побольше!

Хвать пук бумаги, и – за кусток. И, присев, забронзовел там навеки, стал нашим дедушкой. Мамаши и няньки любили потом к тому месту младенцев в колясках катать, отыскивать и узнавать в бронзовой куче её обитателей. Вон там ворона. А это – лисица. Из Лафонтена, Эзопа, из того же графа Хвостова, ведь и ему в баснописцах случалось ходить. Конкурент!

А рядом, через Лебяжью канавку оттуда, в доме австрийского посла с фасадом на набережную, развивался куда более захватывающий сюжет: водевиль с адюльтером, опера для ночной тишины с шёпотом, запахами духов и свечами, в общем – «Пиковая дама» навыворот. Крадучись, некто покидает спальню, вонзая ногти в ладонь обмирающей дамы… Что это – тяжеловесная выдумка, сплетня, компрометирующая всю труппу участников? Или же – чистая правда, сдобренная двухсотрублёвой взяткой дворецкому? Так или эдак, сюжет всё равно выпадал за пределы ума.

– Вот в эту боковую дверь *он* вышел на площадь.

Кромка двери уже располагалась ниже уровня пешеходной панели, улица с тех времён поднялась, и это больше всего убеждало, что, да, выходил. И – именно за пределы…

Он и родился-то в конце предыдущего самому себе века, сразу шагнув в новый. Сподобились и мы, уже на выходе из тысячелетия, справить его двухсотый юбилей. Увы, увы, став придворным, он сразу сделался собственностью каждой из последующих пропаганд, которые манипулировали его золочёным ореолом и оправдывали им любой поворот своих прерогатив: у этих урвать и побольше ухватить, а иных отхлестать, заточить и при этом вызвать у населения благодарственные слёзы и аплодисменты. Он ведь восславил не только свободу, но и власть. А вот закон не восславил, даже романтически отрицал его:

Гордись, таков и ты поэт,
И для тебя закона нет!

Потому что закон полагал пределы: ты поступай либо так, либо эдак. Сам же он мог и так, и эдак, как угодно, – сидела в нём некая гегельянская косточка.

ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ

Жизнь его и творчество изучены до полной исчерпанности, – рассмотрено каждое слово, исчислен каждый шаг. Но это изучение чаще всего не было ни критическим, ни достаточно объективным – обходились и замалчивались те слова или шаги, которые противоречили представлениям исследователей о человеческом совершенстве. В результате Пушкин предстал в их работах солнечным гением, гармонически прекрасной личностью – таким, как он виделся Гоголю: «...Это русский человек в его развитии, каким он может быть явится через двести лет».

Вот назначенные времена и наступили. Но, во-первых, за двести лет мы сами едва ли настолько усовершенствовались, чтобы с великанами равняться. Во-вторых, так многократно и резко менялись представления, свергались авторитеты и рушились кумиры, что и Пушкину не миновать бы подобной участи, будь он только воплощением совершенств – демократических, либеральных, консервативных или просто художественных. Нет, именно противоречия, включая самоотрицание высвечивали его фигуру по-разному при поворотах времян, совпадая с очередной эпохой то чёрным своим профилем, то белым, то чёрным, то белым... Пусть некоторые примеры покажутся теперь изжёванными, – я помню их первый шокирующий вкус.

Тем же гекзаметром, которым Николай Гнедич перевёл «Илиаду» (а мы его перевод читаем и посейчас), Пушкин написал два двустишия, посвящённые этому крупному культурному событию в жизни России. Одно из них написано в комплиментарном тоне и передаёт величие литературного подвига Гнедича. Тон второго насмешлив до грубости. Это уже эпиграмма, высмеивающая не только несовершенства перевода, но и физические недостатки переводчика, а заодно и автора бессмертной «Илиады».

Ещё пущие этические головоломки задаёт он, заставляя нас следить за перипетиями своих любовных похождений. Это не Вересаев в книге «Пушкин в жизни» и не Рессер в автобусной экскурсии, а он сам сначала в возвышенных и несколько слащавых ямбах поёт о «гении чистой красоты» (между прочим, это – обескавыченная цитата из Жуковского), а затем в письме приятелю цинично отчитывается, как он ту же даму «на днях с помощию Божией»... умноготочил. Вот именно: обескавычил и умноготочил, а между этими знаками препинания заключены льстивая мольба, долгое ухаживание за хорошенькой

генеральшей и, наконец, артистическая бравада, похвальба вчерашнего лицеиста. Не пародирует ли он концовку романа Евгения и Татьяны, так восхитившую Достоевского? Не пародия ли и сам Александр Сергеевич на себя же в качестве золотого кумира пушкиноведов?

И Рессер пустился сводить под острым углом несводимые параллели жизни и литературы, возвратясь к той сцене в доме австрийского посла, что пересказал Нащокин со слов, будто бы, самого Пушкина. По уговору, любовник незаметно от слуг проник в дом в отсутствие хозяев и, укромно прячась, дождался их приезда, затем переждал, пока всё успокоится, и явился в спальню хозяйки, – эпизод, требующий декораций из «Пиковой дамы». В самом деле, с нею совпадает не только хитроумная тактика любовников-заговорщиков, но даже тексты – здесь и там повторяется в подобных же обстоятельствах фраза «В доме засуетились», прошедшая сквозь двойной пересказ. Более того, и этот эпизод, и повесть имеют одинаковое сюжетное осложнение: любовник, рискуя разоблачением, должен выйти через другую спальню.

В итоге Пушкин сводит своего Германна с ума, а наш вдохновенный импровизатор ещё раз пользуется случаем помянуть Чезаре Ламброзо. Есть от чего и нам свихнуться. Но современники поэта пытались его этические противоречия объяснить африканским темпераментом, да он и сам на него откровенно ссылался: мол, «потомок негров безобразный»... Разумеется, литературные недоброжелатели по-своему разыгрывали его экзотическую генеалогию, и не один лишь Фаддей Булгарин. Пушкин не удержался от полемики и опрометчиво пересказал его ядовитые домыслы:

Решил Фиглярин, сидя дома,
Что чёрный дед мой Ганнибал
Был куплен за бутылку рома
И в руки шкиперу попал.

Добавил и Грибоедов, пушкинский двойной тёзка и булгаринский приятель, вставив «арапку-девку да собачку» в свою бессмертную комедию. Сейчас бы сказали: «расизм»... Надеюсь, Иван Пущин опустил эту, да ещё и другую страницу из текста, ту, что про гения, «который скор, блестящ и скоро опротивит», когда читал «Горе от ума» своему ссыльному другу в Михайловском. Да и «чёрт в девичьей» – этот образ мог относиться к нему же. Однако, чёрно-белая сущность, очевидная для самого Пушкина и для многих его современников, порой использовалась им очень

хорошо. Ближайший ему Сергей Соболевский настаивал: «Пушкин столь же умён, сколь практичен, он практик, большой практик, и даже всегда писал то, что от него просило время и обстоятельства». А противоречия, добавим мы, либо сами себя пародировали, либо взаимно исключались. Так, с Пушкиным-либералом спорит не только Пушкин-консерватор, но и крепостник; «вольнолюбивым мотивам» противостоят «паситесь, мирные народы», а бронзовому величию «Памятника» отнюдь не соответствует брюзжание Феофилакта Косичкина, который был одной из его журнальных масок.

Конфликты серьёзного и легкомысленного, величественного и шутовского случались у него и в поведении, и в одежде, и, конечно, в поэзии, – подчас в рамках короткого стихотворения, как, например, в следующем восьмистишии:

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит…

В этой первой половине, вобравшей в себя как тёмную, так и светлую сторону Санкт-Петербурга, заключён, по существу, весь «Медный всадник» с его имперским прославлением и укором. И следом – легкомысленнейшее окончание:

Всё же мне вас жаль немножко,
Потому что здесь порой
Ходит маленькая ножка,
Вьётся локон золотой.

К первой строфе полностью применима характеристика, данная Пушкину философом Георгием Федотовым – «певец империи и свободы». В статье под таким названием он проследил, как изменяются у Пушкина эти две доминанты, и как, тем не менее, тот сохраняет им верность на протяжении своего творческого пути. Всё правильно, точно… Только во второй строфе он, увы, не просто изменяет им, но и доводит федотовское определение до пародии: певец империи, свободы и… женских ножек.

Здесь я катапультируюсь из экскурсионного автобуса и оказываюсь в собственном будущем, на праздновании двухсотлетнего юбилея Пушкина. Таврический дворец, зал думских заседаний. Выступает мокрогубый губернатор Яковлев.

Сойдя с отрогов Олимпа, приобщаясь к относительным высотам Парнаса, он заодно путает Государственную Думу с Учредительным собранием, открывает чтения и исчезает в складках занавеса. Объявлен Кушнер. Вот бы ему прочитать, как на нашем общем первоначальном выступлении в Политехническом почти полстолетья назад:

Поэтов любыми путями
Сживали с недоброй земли…

Я бы, наверное, спятил от такого перепада времён и вообразил бы себя на худой случай Рессером, а то и Ламброзо, но нет. Конечно же, Кушнер читает что-то другое, новое, а затем объявляют меня. По условиям, надо прочитать лишь одно стихотворение: либо Пушкина, либо своё. Я нахожу выход: одно, но в двух частях, причём, одна часть его, другая моя, а публика, мол, разберётся сама, что чьё. И читаю вот это самое, вышеприведённое, про ножку, а затем как его хореическое продолжение:

Этот город, ныне старый,
над не новою Невой,
стал какой-то лишней тарой,
слишком пышной для него.
Крест и крепость без победы
и дворец, где нет царя,
всадник злой, Евгений бедный,
броневик – всё было зря…

Ну, и дальше до конца этой части, как в моих «Петербургских небожителях», к тому времени уже напечатанных «Октябрём» с посвящением Анатолию Генриховичу Найману.

Следом была Светлана Кекова из Саратова, и я насторожился, обрадовался её интравертной созерцательности, уже подумал, что наша, но нет, оказалось – совсем бахытовская. Сам же Кенжей находился в Канаде, обнимая другую прекрасную даму, как я ранее точно-таки угадал: Эмиграцию. Догадку мою держит он с тех пор как обиду.

Но зато вышел экстравертный до вывернутости Дмитрий А. Пригов, сделал сначала научно-стебной реверанс герою празднества, да и зычно взревел по низам первую строфу из «Онегина» на мотив буддийского «О-О-О… М-М-М-М» и выше, выше, с переливом к стамбульскому муэдзину, закончив её (не о

себе ли самом?) пророческим чёртом. Зал был «в отпаде», а вот журналистов он не потряс. Из отчёта в отчёт заскакало: «Пригов кричал кикиморой». А – голос? А – цирк!

И главное, – яркая маска, запоминающаяся, как пушкинские бакенбарды. Вот у Кековой никакой маски нет. И у меня на физиономии порой бывает написано больше, чем хотелось бы миру явить. А Горбовский выходит на середину красно-бархатного зала в знакомом, до мелочей наработанном образе: человек из народа, на мизерной пенсии, но неизменно под мухой. Вот, мол, до чего довели нас, простых работяг, все эти демократики, олигархи, братки с беспределом. В руке – авоська для сдачи стеклотары, только в ней не бутылки, а бумажки: сколько ж их он исписал и накомкал! Вынимает одну – кукиш зажравшейся, обнаглевшей Америке. Из второй преподносится примерно то же для Англии. Из третьей выходит, что крест остаётся нести только России. Сочувственные аплодисменты зала...

Для второго дня торжеств Арьев предложил мне на выбор либо выступить со стихами в Капелле (вкупе с остальными собратьями по перу), либо с докладом на конференции в Малом зале Филармонии. И то, и другое звучало как музыка. Я выбрал Филармонию и доклад, потому что под него университет выдал прогонные, и надо было их оправдать.

Малый зал был набит, как когда-то на концертах Рихтера, но на этот раз звездой был Ефим Эткинд, и он действительно блистал профессорским красноречием, воздвигая словами ещё один памятник не мировому и не национальному, а европейскому Пушкину. Ну и, конечно, из всех европейских поэтов тот выходил у него наиболее европейским. Ефим Григорьевич и сам выглядел великолепно, как будто трёх эмигрантских десятилетий и не бывало, как будто не суждено было ему всего-то через два месяца внезапно окончить свои дни. Он улыбался, окончив доклад, ему долго рукоплескали, а потом зал вдруг наполовину опустел, сразу же дав понять, кто здесь кто.

Что ж, мне хватило и оставшейся половины, чтобы начать свой доклад, который я назвал так же, как эту главу. «Звучит весьма гегельянски», – заметил с усмешкой Александр Долинин, сменивший председательствующего Арьева. Но ведь в этом и суть. Именно такого Пушкина показал нам Абрам Терц, вытащив его, как из не знаю чего, – из своих драных мордовских «Прогулок»... Что за буря возмущения поднялась тогда как в советской, так и в эмигрантской печати – причём единодушная! Самым необычным в эссе был его тон, ироничный, непочтительный, совсем непохожий на тот молитвенный с экстатическими придыханиями,

которым стало привычным говорить о классике. С первой же страницы ревнители позолоченного Пушкина оказывались в шоке. А когда доходили до криминальной фразы «На тоненьких эротических ножках вбежал Пушкин в большую поэзию и произвёл переполох», то книга, вероятно, захлопывалась, далее не читалась, и они принимались писать негодующие рецензии.

В начале 1980 года я посетил в Нью-Йорке Романа Гуля, тогдашнего редактора «Нового журнала», известного своими мемуарами «Я унёс Россию», своим бранчливым нравом и авторством статьи «Прогулки хама с Пушкиным». Он принял меня в темноватой, заваленной бумагами и книгами квартире где-то на верхнем Манхэттене. Ему было уже хорошо за 80, облезлый череп покрывали пигментные пятна, но карие глаза глядели живо. Видя во мне возможного сотрудника, если не преемника (а я тогда сам мечтал о журнальной работе), Гуль расспрашивал о моих литературных предпочтениях. Спросил и о Терце-Синявском. Я ответил, что тон для эссе Синявский, действительно, взял рискованный, но надо учесть, что он писал эту книгу на лагерных нарах, находясь там как политзаключённый, как жертва пропагандно-карательной системы. Та же система использовала классика в своих целях, так что он стал её невольным пособником. Им оправдывали цареубийство, он приветствовал чуть ли не комсомол как «племя младое, незнакомое»... Синявский подверг Пушкина зэковской «проверке на вшивость». Ну назовите это литературной провокацией, попыткой переоценки. Да, такое обращение с классиком кажется бесцеремонным, но время от времени это нужно делать, и Терц был вправе так писать. Был вправе. А самое главное – это то, что в конце книги (если, конечно, дочитать её до конца) Пушкин выходит из проверки слегка потрёпанным, но живым и весёлым.

Гуль подумал минуту и сказал:

– Нет, всё-таки это – прогулки хама с Пушкиным.

Моё сотрудничество с журналом, разумеется, так и не состоялось.

Пушкиноведение, особенно расцветшее к 100-летней годовщине со дня смерти Пушкина, создало культовое поклонение ему. В 1937-м вся страна обсуждала перипетии пушкинской трагической мелодрамы, как обсуждают сегодня мыльные оперы, а под шумок шли кровавые чистки. Бедный Александр Сергеевич, должно быть, переворачивался в гробу, а к нему ещё приделывали приводные ремни для вращения государственных колёс. Полюбуйтесь-ка типичным пассажем из работы одного лауреата-сталиниста – пушкиниста, это любопытно даже стилистически: «Пушкин – союзник советских людей,

борющихся за мир, за свободу и за счастье человечества, занятых героическим созидательным трудом во славу социалистической отчизны. Жизнеутверждающая поэзия Пушкина звучит для нас сегодня как призыв к завоеванию новых побед в борьбе за процветание и могущество нашей великой Родины». А писалось это вслед за приснопамятным докладом Жданова…

«Не сотвори себе кумира» – сказано в Библии, во Второзаконии. Но именно этим и занималось пушкиноведение. Сама эпоха, в которой он жил, стала называться «пушкинской», поэты-современники существовали уже не сами по себе, но наподобие кордебалета образовывали «пушкинскую плеяду». Правда, не всегда так было. Писарев критиковал Пушкина, Достоевский свидетельствовал, что молодёжь провозглашала Некрасова «выше Пушкина». Футуристы сбрасывали Пушкина со своего заржавленного парохода. Марксистские критики объявляли его выразителем мелкопоместного дворянства. Наконец, непросвещённый народ, которого Пушкин по-простому именовал чернью, отплатил ему серией непристойных анекдотов. Но и на хулу, и на хвалу у Пушкина всегда было, что противопоставить, даже если при этом он отрицал самого себя. И отрицая, утверждался.

Поэтому его именем манипулировали и, кажется, будут продолжать это делать, даже если пушкиноведение самозакроется, исчерпав себя, а бывшие кумиротворцы займутся, наконец, историей литературы. Конечно, ещё появятся и закатятся новые «солнца русской поэзии», но новыми Пушкиными им не стать, хотя бы по той простой причине, что «Евгений Онегин» уже написан. Наследие Пушкина всё ещё очень богато, но приходится признать, что за двести лет многое уже отработало своё и представляет интерес лишь как материал для стилизации или пародии. Четырёхстопный ямб, например, надоел уже самому Пушкину, а глагольные и однокоренные рифмы стали сейчас отличительным признаком неумелых стихослагателей.

Не так уж блестяще сложилась судьба языковой реформы Карамзина и Жуковского, которая стала называться в дальнейшем «пушкинской реформой русского литературного языка». Да, ещё лицеистами Пушкин и Дельвиг поклялись «не писать семо и овамо», и эту клятву, в общем-то, соблюдали. Принято считать, что то было обязательством в пользу художественной точности, но слова имеют и другой смысл – поэты отказались от архаизмов, от церковно-славянского языка, стали широко вводить галлицизмы и другие иноязычные формы. Язык Пушкина – почти всегда светский, таков же он и в стихах его последователей. От ломоносовской «бездны звезд», от державинской оды «Бог» русло

поэзии пролегло в другую сторону. Десятилетия официального безбожия (и культа Пушкина среди многих других культов) ещё более отдалили современный язык от его истоков. Церковнославянский стал представляться языком мёртвым, чем-то вроде школьного скелета в кабинете анатомии.

Между тем – это язык литургии, молитвы и откровения, язык, в котором наше русское слово становится отзвуком Божественного Логоса. Так что если это и костяк, то костяк живой, наполненный нервами и мозгом, дающий языку мышечную силу и стойкость. Отделённый от корневой опоры, современный русский язык потерял сопротивляемость перед хлынувшим в него потоком англицизмов или, лучше сказать, американизмов, связанных с компьютерной техникой, индустрией развлечений и финансовым миром. Он заболел иммунодефицитом.

Значит, не такими уж ретроградами, не такими «губителями», как насмешливо говорил Пушкин, были и адмирал Шишков, и другие любители русского слова, входившие в «Беседу», – и Державин, чьё наследие оказалось в наши дни неожиданно свежим и плодотворным, и Крылов, и молодой Грибоедов... Да и сам Пушкин, в нарушение своего юношеского обета, когда нужно, пользовался архаизмами, как, например, в «Пророке», где ему удалось извлечь высочайшие звуки своей поэзии.

Вообще, чистота тона, естественность и музыкальность стиха остаются непревзойдёнными качествами пушкинского наследия. Здесь состязаться с ним невозможно, но эта непревзойдённость и увлекает поэтов. Константин Бальмонт достигал исключительной напевности, но пушкинской чистоты звука у него не получалось, а в некоторых стихотворениях Фёдора Сологуба соотношение напевности и чистоты бывало обратным. Лишь Мандельштам достигал такого же уровня гармонической полноты, на котором творил Пушкин.

Но если заимствовать у музыки её гармонические приёмы, то можно умудриться и сыграть фугу в четыре руки с самим Александром Сергеевичем. Покидая экскурсионный автобус, завезший меня столь далеко, я выбрал одну из моих излюбленных пушкинских тем и разработал к ней вариации. Получилось двухголосое стихотворение.

ЕГО ЖЕ СЛОВАМИ

Пускай не схожи сланец и гранит,
но с холодом сошлись пути тепла.
На склонах Грузии лежит
адмиралтейская игла,

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
и невская накатывает аква
на глинистые камни под стеною,
прозрачная. И мутно-далеко
шумит Арагва.

Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко,
и нету ни изгнанья, ни печали,
а только выси, глуби, дали
и тонкая издалека игла,
которая прикалывает наспех
чужое сердце на чужих пространствах,
как мотылька, на грань его стола.
Но боль моя, печаль моя светла...

Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
и время милосердное с любовью
пространству стягивает боль,
цветут объёмы перед ним,
цветут одним —

Тобой, одной тобой... Унынья моего

Ничто не мучит, только воздух гложет
глаза до слёз на сквозняке времён,
и жизнь мою прохватывает он
до радости, но горя не тревожит,

И сердце вновь горит и в красной дрожи
сгорает, хоть и любит – оттого,
что, не спалив, не воскресить его,
Что не любить оно тебя, тебя – не может.

ГОЛУБЫЕ ЗАЙЦЫ

В какое же время мне теперь вернуться из того сумасшедшего автобуса? Если оно – Гераклитова река, то в него уже и не вступить, а если это советское болото брежневской формации, то сколько угодно: чавкай по нему в резиновых сапогах, чтобы особенно не замараться. Сам в эфир не стремись, оберегай имя и лицо для каких-нибудь будущих ослепительных и голограммных обложек, а выступающие твои, передовики производства, знают и без твоей подсказки, что им позволено болботать. И сами болбочут.

Богемность третьей программы отлично переплелась с конторской рутиной, а из всех советских богов среди наших «работников культуры» и технарей пуще всего почитался Бахус. Поэтому, когда под «нояпьские» праздники Главным редактором Главной редакции учебных программ назначили (согласно тому же историографу) Василия Тёмного, то бишь Кулаковского, решено было устроить алкогольное братанье всех её отделений. Увильнуть не удалось, а что такое учрежденческие попойки, многим ещё мучительно памятно: водка из чайных чашек, закусываемая пирожным, а потом в лучшем случае какой-нибудь Айгешат или Кокур с икотой и головной болью. Но ещё до первого тоста я успел спросить:

– Василий Яковлевич, а, случайно, не вы были редактором многотиражки «Технолог» – где-то примерно во второй половине пятидесятых?

– Да, я. Главным редактором.

– Так, значит, это вы печатали Лернера и громили нашу газету «Культура»?

И тут я увидел, что дважды-главный заметно струхнул.

– Что вы, что вы, я назначен был позже, я застал только слухи об этом.

Как бы то ни было, но доподлинно (вплоть до газетных вырезок) я узнал о нём, что и позже он напускал, и немало, идеологической мути на тех, кто последовал дальше за нами. После разгона «Культуры» та самая комната с белокафельной печью, где мы вольничали, глаголя об искусствах, пустовала недолго. Там стал собираться дискуссионный клуб, и обсуждались в нём скорее вопросы общественного устройства и вообще: куда это всё катится. В комнате, как оказалось, на антресолях была кладовая, которую мало кто и замечал. Но вот Кулаковский заметил и тайно стал залезать туда на время дискуссий. Однажды он был случайно заперт, просидел там всю

ночь, а утром с поворотом ключа его освободили со всеми подслушивающими причиндалами.

Тогда, уже не скрываясь, он напечатал в «Технологе» фельетон под названием «Рыцари белого камина», где цитировал многие крамольные высказывания наших правдолюбцев. Администрация, понятное дело, приняла свои меры: репрессии на местном уровне. Наблюдая со стороны, Кулаковский идеологически их разгадал: молодые искатели истины и в самом деле отправились в поход за марксистским Граалем. Это, по логике того времени, привело их к изданию подпольного журнала «Колокол», а затем в исправительно-трудовой лагерь в Мордовии.

С «колокольчиками», как она их любовно называла, меня познакомила Наталья Горбаневская уже после их отсидки, и я надолго подружился с Вениамином Иофе, а с Борисом Зеликсоном мы были и так знакомы с незапамятных времён. Это к его делу следователь в Большом доме подшил толстенную папку всё ещё не закрытого «Дела об издании и распространении газеты “Культура”», тем самым закрыв его.

Впрочем, от автора «Рыцарей белого камина» ни больших, ни малых неудовольствий для меня не последовало. Правил он редакцией вяло, придирки были случайны, а для защиты своих находок и задумок наши либералы обводили его с помощью так называемого «голубого зайца». В чём этот приём состоит? Он очень прост: в сценарий закладывается какая-нибудь заведомая нелепость – тот самый «голубой заяц». Проверяльщик, натурально, сразу на него глаз и кладёт:

а при чем тут заяц? Ах, извините, мы его вычёркиваем. Начальство успокаивается, и остальной материал проходит. Добавлю, что такой заяц существует и у англичан, только он называется в переводе на русский «красной селёдкой»! Это может вызвать философский вздох: не всё ли в мире устроено одинаково? Нет, не всё. Краски. Краски – разные.

Вскоре я оказался ещё на одном перекрёстке настоящего с прошлым. В один из вторников в эфир пошла передача литературной редакции, так без затей и озаглавленная: «Литературный вторник». Дома я, естественно, телевизор почти не смотрел, так как был сыт им по горло на работе, и передачи не видел. А придя туда на следующий день, я уже и не мог её посмотреть даже в записи: она была объявлена крамольной. Да записи и не существовало, передача шла «вживую». Видеомагнитофоны тогда были в новинку, и дорогую французскую плёнку истово берегли. Это обстоятельство особенно подчёркивало призрачность телевидения: прошла передача, и всё. Но тот мыльный пузырь лопнул в прямом эфире,

и с треском: «на глазах у изумлённых зрителей» вещание было внезапно прервано, и через некоторое время на экранах появилась кривая заставка с заснеженной решёткой Летнего сада.

Что же произошло? Студийный народ затаился, на мои расспросы ответы были: не видел, не слышал, ничего не знаю… С большим трудом удалось разузнать детали. Это была одна из серийно-накатанных передач. Приглашались писатели (конечно, члены Союза) и авторитные учёные и обсуждали какую-нибудь близлитературную тему, на сей раз – топонимию. От писателей выступали Владимир Солоухин и Лев Успенский, от учёных – академик Лихачёв, а Борис Вахтин – как бы от тех и от других. Беседа потекла легко, мысли полетели, как голубиная стая над родной околицей: почему, мол, именуют у нас места в угоду политике? Многое потом приходится переименовывать – улицы, да и города. А ведь исторические наименования вошли уже в песни, в предания. Например, «Вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской», – а где она теперь? Или же Самара, какое хорошее название! Нет, теперь Куйбышев. Мы понимаем, крупный революционный деятель, надо воздать должный почёт, памятник – хоть до неба, но зачем же из фольклора Самару-то исключать?

Тут уже по логике разговора должен был следовать и Ленинград, если не весь наш Союз, понимаете ли, Советских Социалистических Республик! На этом самом месте какая-то бдительная шишка в Смольном подскочила в своём кресле, и на пульте програмного режиссёра заверещал телефон:

– Что это вы, понимаете ли, антисоветчину несёте? Немедленно вырубить! Дать нейтральную заставку, тихую музыку… Щас мы с вами разберёмся!

Полетели головы. Сняли директора студии Бориса Фирсова, сняли Главную всех литературных передач Розу Копылову и непосредственную редакторшу передачи Ирину Муравьёву, с которой я ещё встречусь в Ахматовском музее. А режиссёрша Роза Сирота ушла сама.

«Свято место не бывает пусто», – произнесу я пословицу в её изначальном (как мне сдаётся) рифмованном виде, но дело не в том, что оно заполнилось, а в том, кто его собою заполнил. Директором стал Борис Марков, до того – главный редактор «Вечёрки», напечатавшей «Окололитературного трутня» и ещё превеликое множество подобной антиинтеллигентской отравы. Этот меня может и по фамилии знать.

По понедельникам теперь назначались общестудийные летучки. Человек эдак двести-триста, жавшиеся в зале, представляли из себя струхнувшую, настороженную толпу. На подиуме возвышались трое – хоть вспоминай сталинскую

инквизицию, хоть пиши с них крыловско-хвостовскую басню. Справа сидел похожий на старого медведя Филиппов (председатель Гостелерадио), выставив вперёд увечную, словно пожёванную другим медведем, лапу; в центре белоглазый Марков кондором поворачивал профиль налево-направо, прежде чем клюнуть, а рядом всклокоченно-лысый, как мельничный чёрт, Бажин, глумясь, мордовал «творческих работников»:

– Передачи должны быть такими, чтобы нравились моей тёще!

Чей-то женский голос из задних рядов со сдавленной дерзостью выкрикнул:

– А Борис Максимович убеждал нас, что телевидение должно нести людям культуру!

– Вашему Фирсову место сидеть-болтать где-нибудь в кафе вместе с Иржи Пеликаном! – заскоморошествовал мельничный чёрт. А кондор клюнул:

– Телевидение – это такой же идеологически-пропагандный орган партии, как газета.

Старый медведь стукнул костью пожёванной лапы о стол и рявкнул:

– Завели себе прычоски, понимаете ли... На женщинах – чорт-те что надето. Мы, конечно, согласуем это дело с парторганизацией, но, мыслю: совместными усилиями снимем-таки с наших женщин бруки.

Женские брючные костюмы начали входить тогда в моду, отчего и раздался женский стон в зале, «Пражская весна» ещё только занималась, и Иржи Пеликан изживал из чешского телевидения цензуру. А у нас, зная всё наперёд, уже принимали на местах превентивные меры.

Что же касается нашего басенного персонажа, то недаром его тянуло к женским брюкам. Жизнь его вдруг закончилась авантюрой с трагическим фарсом. Однажды он тайком от жены укатил на юг с секретаршей. Шофёр казённого лимузина должен был встретить любовников на вокзале и развезти их по домам. Но жена, сама в прошлом секретарша, умело выведала и расстроила эти планы с такой страшной силой, что в Смольном был устроен разнос, и неверный муж сгоряча влепил в себя совершенно беспартийный но, увы, фатальный пиф-паф!

* * *

Мифы (хотя и не такие драматические) творились на телевидении постоянно, и я одно время хранил в памяти целую

коллекцию ляпсусов, случавшихся в эфире и за экраном. Наиболее знаменитой была прошедшая в эфир фраза, сказанная технарём ПТС (передвижной телестанции) технарю телецентра в торжественнейший момент открытия первомайского парада: «Рожа, рожа, я – кирпич, иду на сближение». Но самым большим курьёзом были не накладки, а тот факт, что они случались исключительно редко. Ведь всё было смётано на живую нитку, скоординировать несколько свободно болтающихся разгильдяйств в нечто единое казалось неразрешимой задачей, кто-то всегда опаздывал, что-то необходимое вдруг пропадало... Но в последний момент: тяп да ляп, и слеплялся «корапь» и, надув кое-как залатанные паруса, скользил-таки по волнам эфира на удивление его создателей.

А иногда наоборот, всё с самого начала складывалось подозрительно гладко. Например, понадобилось найти и показать какое-нибудь чудо техники, продукт гениальных местных умельцев, нечто автоматическое и безупречно-бесперебойное! Эдакое элегантное совершенство из мира промышленности. Где ж такое найти? Разве что в космической или военной технике, но те чудеса – за семью замками. Где-то ещё есть подходящая автоматическая линия, но, увы, стоит бездвижно на ремонте, в третьем месте – японская чудо-автоматика, тоже не годится. И вдруг – вот оно: своё, отечественное, и работает на славу, только ни славы, ни премий оно изобретателям не приносит – затирают его, замалчивают, с ухмылкой по шее пощёлкивают... Мол, несерьёзно это: ликёрно-водочный завод, линия розлива того самого стратегического сырья, на коем веселие Руси зиждется! А наша редакционная интеллигенция за сюжет схватилась: давай, редактор, пробивай! Напустил я в сценарий «голубых зайцев»; их, конечно, начальство успешно отловило, а главный сюжет прошёл. Началась подготовка, пропуска для съёмочной группы оформлялись через меня.

– Отец родной, запиши хоть четвёртым осветителем!

– Что ты, что ты, Гоша, и двух за глаза достаточно...

В состоянии трудового подъёма прибыла съёмочная бригада на Синопскую набережную. Начальник цеха, большой знаток человеческих душ, сразу же предложил по соточке для настроения. Все дипломатично отказались. Тогда он выдал каждому по сувенирному мерзавчику. Это было принято с некоторым скепсисом. По окончанию съёмки – ещё мерзавчик. С подозрительно трезвой бригадой я выехал за заводские ворота. И тут, на ходу микроавтобуса, начался делёж пиратской добычи: во всех коробках для осветительных приборов оказались бутылки. От своей доли я с негодованием отказался. Уже в редакции ко

мне подошёл кинооператор (назовём его Володей Шаповаловым) и в благороднейших выражениях попросил всё-таки «уважить» съёмочную группу. Пришлось спуститься с ним в смежное здание гостиницы и пройти в ресторан «Дружба». Там уже стояли на столе несколько скромных салатиков по числу восседавших «князей» и прозрачная злодейка – вид довольно минималистский и подающий надежду выбраться оттуда своим ходом. Чокнулись за успех, зазвучали телевизионные байки об иных мародёрствах: о съёмках в шоколадном цехе кондитерской фабрики… О внезапно потёкшем из осветительного блока жидком шоколаде… Незаметно на столе появилась ещё одна злодейка, что встревожило меня, а затем и ещё одна, при виде которой я впал в панику, – за этой можно было ждать следующую… Между тем дружелюбие коллег всё возрастало, но спасительный инстинкт сработал, и я всё-таки унёс оттуда ноги. Кутёж, разумеется, продолжался уже без меня, и в результате Шаповалов угодил под суд. Он был задержан в троллейбусе совершенно чуждого ему маршрута, где прошёлся вдоль салона, бия сверху по кумполам сидящих пассажиров своим резиновым кулаком.

Всегда спокойный, выдержанный парень, – мы с ним прошли-проехали вместе сотни вёрст по северным рекам и лукоморьям… Разве это он бушевал в троллейбусе? Трудно поверить. Скорей, это – она, злодейка с наклейкой. Получил он два года условно.

ОТПУСКНЫЕ СКИТАНИЯ

Этот Володя был сыном военного хирурга и унаследовал от отца точность и твёрдость руки, а может быть, и его пристрастия. Во всяком случае, на съёмках камера его не дрожала, а в дальнейших наших походах ружьё ловко вскидывалось прикладом к плечу, и острый топорик вытёсывал причудливые изделия для наших путешественных нужд. Он меня и вовлёк в эти походы. Как всякий кинооператор, был он ещё и фотограф и в этом качестве пригласил меня однажды на свою выставку. Я унял в себе подобающий случаю снобизм и пошёл. Думал увидеть дачные пейзажи Карельского перешейка, свежие лица детей, морщинистые лица старух в платочках, но нет.

Это был праздник дерева и топора, запечатлённый через мощные объективы, но при этом немного наивный и потому чистый, – русопятский гимн податливому и несохранному материалу, которому мы доверили нести нашу национальную лепоту в веках. Пожары, татары, жук-древоточец, а больше всего – коллективизация вкупе с воинственным безбожием красу эту сильно убавили, почти свели к нулю, но кое-что всё-таки недоуничтожили. И вот этот убывающий остаток наш фотограф запечатлевал истово: восьмериковые срубы, тесовые шатры и крытые чешуйчатым лемехом главы, коньки и балясины гульбищ, углы в замок, углы в лапу, крыльца, наличники, резные полотенца, – то, что роднит избу, часовню и собор с хоровым многоголосым пением, с молитвой и литургией. И теперь уже не огонь – сырость и плесень были их ликвидаторами.

Я смог искренне похвалить фотографа. Он ответил:

– Это только малая часть того, что я наснимал.

– Вот бы увидеть!

– Что ж, могу кое-что принести в редакцию.

– Это бы тоже хорошо, но я имею в виду реальность...

– Ну, тогда присоединяйтесь. Мы с приятелем планируем на ближайший отпуск поход от Онеги до Белого моря. Верней, наоборот: от Соловков до Кижей.

В «Кижах» он сделал ударение на первом слоге. Я это как редактор заметил, но он подтвердил: так говорят по-северному, в отличие от туристов, прибывающих туда на теплоходах с подводными крыльями, с двухчасовыми экскурсиями по архитектурному заповеднику. Так туда, видимо, прибыл и поэт, зарифмовавший «Кижи – стрижи», которые там, кстати, не водятся. Именно в трудах ученичества обретать верное ударение меня очень и очень устраивало, пусть даже за этой мелочью надо

идти по болотным гатям, с тяжёлой поклажей за спиной...

* * *

Я решился отправиться с ними. Третьим компаньоном оказался однокашник нашего Владимира – Валентин Пресняков, инженер Водоканала, то есть попросту городской канализации. Нисколько не комплексуя из-за своей более чем прозаичной профессии, он, наоборот, подчёркивал её постоянно – соответствующим стилем своих шуточек. Ну, в мужской компании и в первобытных условиях нашего путешествия это сходило, хотя порой и утомляло. Валентин оказался идеальной стряпухой и заботливым хозяйственником, так что быт наших стоянок и ночлегов он обеспечивал, благодаря чему с достоинством носил кличку Домовой.

Вёл нас по лесным пунктирам и болотным гатям, конечно, Володя – Леший, нёсший помимо вещмешка ещё и камеру со снаряжением, и ружьецо. В результате применения которого мы однажды ели не очень прожаренную гагару. Бывала на ужин и ушица из подлещиков или даже хариусов, которых порой удавалось наловить мне – понятное дело, Водяному.

Так нашу артель и сфотографировал на Яндом-озере автоспуск. Снимок и посейчас висит у меня на стенке: взглянешь на эту троицу, и плечи расправляются. Пока другие валялись на черноморских пляжах, мы много повидали. Они на Чёрном, а мы – на Белом. Они – вниз по горячей гальке к ленивому прибою, а мы – по циклопическим валунам наверх, на Соловецкую стену. Только вера да помощь свыше могли воздвигнуть такую укрепу под полярным кругом – одним рабским трудом пригнанных сюда на уничтоженье зеков не сделать такое. А монахи – другое дело: не только стены – огурцы успевали выращивать во время почти бесконечного дня, а через дыхала в стенах горячий воздух подавался всю нескончаемую зиму: к тёплому полу-то сладко было припасть земным поклоном. Впрочем, там было не до комфорта – иначе б такие бастионы не возводили.

Из виденного позже припоминаются громадно обтёсанные – один к одному – камни Западной стены Иерусалимского храма. Сравнимы ли с теми священными камнями необработанные соловецкие валуны, покрытые ржавым лишайником? Не по древности, конечно, а по надрывности рыданий это и есть наша российская Стена плача.

Когда белой ночью мы вошли в монастырский двор, путеводителями нашими были зияния раскупоренных застенков,

тут и там выкрошенный кирпич да вот: два снятых колокола внизу на брусчатых козлах и крупные оспины пуль на их бронзовых обводах. Зловеще, должно быть, звучал в морозном воздухе их оскорблённый звон.

Перед отплытием на, в общем-то, неотдаленный от острова материк я прошёлся по прибрежному посёлку. Кто там жил? Рыбаки-поморы, бывшие заключённые или бывшие надзиратели СЛОНа – Соловецкого лагеря особого назначения... С телевизионным нахальством я постучал в одну из неказистых тамошних изб. Дверь из широких досок оказалась незапертой. В тёмных сенях нащупал я ещё одну дверь, утеплённую какой-то ветошью, так что и постучать-то было невозможно. Я вошёл в комнату с невысоким потолком, где пахло чистыми половиками и вытопленной печкой. Хозяин сидел за нехитрой трапезой, заливая зенки, хозяйка перед ним хлопотала со сдержанным неодобрением.

– Кто такие будете?

– Да вот, приехал из Ленинграда на пару дней. Интересуюсь этими местами.

– С какой целью?

– Просто посмотреть. Слышал я, да даже и читал, что тут особая соловецкая селёдка ловится. Вот бы попробовать. У вас случайно нет? Я бы купил парочку.

– Откуда про мою селёдку знаешь?

– Соседи подсказали.

– А ты кореша моего там у вас не видел? Может, на заводе работает... Рукосуев Олег?

– Да где уж... Город-то большой...

– Ну ладно. Слышь, хозяйка! Тут ленинградцы селёдкой нашей интересуются. Слазь-ка в подпол, выдай им сколько-то на пробу...

Оба – с тяжёлыми морщинами на лицах, с тяжёлыми руками. Она раза в полтора его старше, но видно, что не мать, не сестра, а именно его баба. У него лицо набрякшее, глаз не видно, у неё глаза светлые, но взгляд лютый. Всё-таки полезла в погреб, вытащила рукой пару селёдок из рассола. Выпотрошила из них черноту, промыла.

– Да ничего, и так сойдёт. Сами почистим.

– Нет, их в трёх водах прополоскать надо, – Улыбнулась стальными коронками, лютость глаз убавила. В каждую селёдку сунула пучок зелёного лука, завернула всё в клок бумаги:

– Угощайтесь.

Денег ни он, ни она так и не взяли.

Не теплоходе «Лермонтов», устроив на коленях столешницу

из рюкзака, мы продегустировали добычу, чокнувшись кружками.

– С душком-с, – критически заметил Валентин.

– Анчоусная, однако! – одобрил Владимир.

Далее – Кемь, Медвежья Гора – мы шли в обратном направлении от лагерей уничтожения к жизни, только жизнь эта всюду была в состоянии изнурения и упадка.

Лес... Много мы повидали лесов – когда проезжая автобусом, а когда и день за днём проходя пешком через мачтовые сосновые боры. Стволы имели шевронные насечки с прикреплёнными жестяными конусами внизу, куда стекала живица – сосновая смола, идущая на скипидар. Всё назначалось на спил. Ну, ёлки-то ладно, а вот стройно-конических пихт, обречённых на казнь, было надрывно, по-некрасовски, жалко: они представляли из себя то хвойное совершенство, к которому, даже без надежды достичь, всё ж стремилась иная разлапая поросль. А боры вырубались вчистую; тонкий слой лесной почвы выворачивался гусеницами тягачей, к тому же вершины и сучья где-то ещё и выжигались, а где-то и нет. Оставались лишь сопки с обожжёнными пнями – ландшафт не для слабонервных арбористов и охранителей природной среды. Но, должно быть, самым впечатляющим надругательством над природой был молевой сплав. Мне не приходилось видеть его сезон в разгаре, но последствия можно было наблюдать повсюду по северным рекам: не знаю, по Онеге ли, но по Пинеге, по Мезени и притоку её Вашке берега были забиты завалами брёвен, гниющими в воде и рассыхающимися на ветру. Отмели также накапливали морёную и далее мёртвую древесину. Кое-где по затонам водоструйные катера да бабы с баграми пытались хаос этот разобрать на плоты, пока деревенские соломоволосые мальцы ловили щурят прямо на жилку, прыгая по связкам брёвен, но эти сценки ничего не меняли. Лицо природы складывалось в гримасу, растянутую далее за горизонт в немом и бессильном упрёке: мол, так со мною не надо, нехорошо...

Понемногу, подспудно или от противного, как-то выстраивались мысли и настроения, расставлялось увиденное по местам.

Держа леща, трепещущего на донной леске, я подбежал к автобусу. В Чёлмужи мы ехали с местными тётками, с их кутылями, в одном из которых визжал поросёнок, с парнями-допризывниками, с двумя невесть откуда взявшимися цыганками и без какого-либо императива в уме, но, правда, с намерением увидеть там деревянный собор Петра и Павла. В пыльных окнах вверх-вниз по горкам чередовались лес мёртвый и лес живой. Парни пели бедовые песни – будут потом их помнить всю жизнь, а

я вот – вспоминать:

Она его любила,
и он её любил.
Но любовь была напрасной,
он ей быстро изменил.

Так мы добрались до Онеги с другой, заонежской стороны. Палатку поставили на треугольнике между Великой Губой, хлебным полем и бревенчатой «Петропавловкой». Приходили дети с трёхлапой собакой, молча изучали наш палаточный быт. Собака ткнулась мне в разношенные ботинки, приласкалась.

– Куда лапу-то ей подевали? – спросил я детей.

– Волк отгрыз, – последовал правдивый ответ.

Здешняя жизнь, стало быть, подразумевала присутствие свирепого зверя.

Володя сделал профессиональный «щёлк» камерой, и фотографию эту с собакой я впоследствии послал в журнал «Юность» по их запросу, чтобы предварить небольшую подборку стихов. Фотографию забраковали из-за «нетипичной собаки». Да и автор оказался привередлив, поспорив с редактором по поводу выброшенной строчки, в результате чего публикация не состоялась вовсе – как волк отгрыз.

* * *

Старик семидесяти шести лет, показывавший нам собор – внутри было темно, голо, – взбирался легко на колокольню, рассказывая нам свою жизнь. Пока добрались до высотного вида, уже знали: они с братом всё своё богатство – три лошади, четыре коровы – отдали в колхоз. Брат умер, а ему теперь дали 12 рублей пенсии. Вот, можно ли на них прожить? Голубые глаза, седые волосы, отдуваемые ветром… Да и на рублишко наш много ли купишь?

* * *

К вечеру над лемехами Петра и Павла, над тесинами их шатров, да над полем ржи и встрепенувшейся нашей палаткой прошла свинцовая туча, готовая вот-вот обрушиться на головы своей недоброй тяжестью. Нет, не обрушилась, но и не ушла, а, наоборот, развернулась, помедлила, да и разверзлась ледяным

ливнем и оглушительной грозой. С ахами, ухами и кряхами небо раскалывалось прямо над коньком палатки, пыхавшей жёстким светом и готовой испепелиться в любую секунду вместе с нами, её перепуганными обитателями. Тут уж веруешь не веруешь, а крестишься истово. Промаявшись часть ночи, забылись тяжёлым сном.

Утром – светящийся от сокрытого в нём солнца туман, розовая краса озера и быстро-маневренный, со звуком вдруг разворачиваемой бумаги, полёт соколиной пары. И – навершия двуглавого собора как воспоминание о Божьей грозе, превратившей былых Симона и Савла в апостолов веры и вот в это устоявшее деревянное тело. Но многие, слишком многие часовни и церкви не устояли, мы видели их повсюду в последовательных стадиях обветшания, разрушения, гибели, так же, как и амбары, избы и целые сёла.

Один из не вымерших жителей, Сковородников (пятидесяти шести лет, шестеро детей, младшему двенадцать) давал нам описание дороги оттуда на Водлозеро – как заветный номер, как стихи по памяти: пройти по гатям через болота, пробраться к разрушенному мосту, дальше лесом по балкам и до второго моста через три с половиной версты, там ещё будет горка с камнями и потом свёртка, но налево с неё не ходить, затем две поляны, часовенка, кладбище, а оттуда и озеро видно. То, что он не упомянул, это ягоды: куманика на низких трилистниках, со вкусом и видом ежевики и запахом земляники, а также жёлтая морошка вдоль вечереющей и перепревшей вконец гати с начинавшими мерцать гнилушками среди сумеречных теней. Полуразрушенная часовня была последним подтверждением нашего пути. Мы свернули не туда, вышли к другому озеру и оказались посреди мёртвой деревни. Несколько строений стояло всё же под крышами. Это было мрачное место, свидетельство о трагедии, даже о серии трагедий, причём безмолвные знаки – фундаменты исчезнувших домов – говорили очень внятно о том, что селились здесь люди на поколения вперёд, на хорошую жизнь, хоть и с трудом, но с довольством, думая о тепле зимой для себя и для скотины, о запасах и кормах с лета до лета. И сверх того украшали своё жильё, чтобы свадьбы играть, детей крестить, да чтоб и перед соседями не зазорно было бы.

Кроме того чёлмужского старожила, никто не говорил с нами на Севере о главном – о раскулачивании: нельзя. Думаю, здесь все поселенцы были кулаки, потому что нерадивому в этих местах и не выжить. А ещё не догнившие брошенные дома свидетельствовали о беде военной, которая вымела остаток действенных селян, уже колхозников.

О повсеместном искоренении религии и говорить нечего. Ни одной действующей церкви мы на маршрутах наших не встретили, только закрытые, в разных стадиях разрушения. На некоторых, правда, висела табличка «Охраняется государством», но от кого – от верующих? Или – от чего? От восстановления?

– Вы б, городские, нам церкву бы починили… Да батюшку бы прислали. А то ведь помрёшь, и отпеть некому.

Ну а как наши песенники, наши песняры? Где они? В Вологде-где? Кстати, вовсе не из литературных кругов, а от тех же Преснякова – Шаповалова услышал я о замечательном сказовом писателе Борисе Шергине, отыскал его книги и аж зашёлся от поморских и пинежских языковых красот. Его «Митина любовь» трогала сердце не менее бунинской. И сказки бывали препотешны, обхохочешься – чуть не до родимчика… Но жил и писал он как раз в то время, когда культура, им воспеваемая, шла уже под серп и молот, в Соловки да на Беломорканал, о которых лучше было бы и не пикнуть. Он и не пикнул, кажется. Разве что в стол или в дупло какое, а то и в няндомский тростник нашептал, какие у царя Мидаса уши…

Кто слово верное рубанул, так это олонецкий богатырь Микола Клюев, тоже замалчиваемый в писаниях разных там властителей дум, теоретиков и практиков литературного рынка. Я уж не говорю о выделке его пёстрых словес, об иконописных метафорах, то есть о стиле, но лишь о слове правды, которое он произнёс вопреки инстинкту осторожности. Любой моллюск, не исключая членов Союза писателей, этим инстинктом обладает и руководствуется, называя его умом, а то и стратегией выживания. Но вот у Мандельштама вырвалось это слово – «казнь, а читается правильно – песнь», вот и Ахматова произнесла и упрятала его в рыдания «Реквиема». И Клюев не смог умолчать, выразил ту же горестную суть в «Деревне», в «Погорельщине», в других инвективах происходившему.

Судьба их была плачевна и поучительна для подрастающих литераторов, присевших от страха наподобие трёх обезьянок «не вижу, не слышу, молчу». Деревня даже для очеркистов оставалась быть минным полем, куда редко кто забредал из художественной литературы. Солженицын эту тему лишь задел, как плечом – колокольное било, и грохнула, зазвенела. После его «Матрёны» появилось целое направление «деревенщиков». Но чем правдивей раздавались звуки, тем они более заглушались и задребезжали в конце концов полуправдами и недоговорённостями. А деревня (уже колхозная) мёрла, либо же разбегалась. Парни в охотку шли на военную службу, лишь бы вскочить потом на подножку городского трамвая, и – на любые барачные выселки!

Поэзия вообще залегла на этот счёт по-пластунски. Правда, ходили на цыпочках редкие и осторожные слухи. Я слышал от одного литературного враля и всеведа, что у Горбовского-де написана и крепко схоронена где-то поэма «Мёртвая деревня». Сам Глеб этот слух не поддерживал, но и не открещивался, и всё же поэма эта, кажется, в тексте так и не появилась, лишь в упоминаниях. Ну, на нет и суда нет. Разве что перстом упереться себе в грудную кость и спросить: «А сам-то ты что?» И ответить: «Ну пытался, дюжину стихов сдюжил. А дальше – графоманского зуда, столь полезного на больших разворотах темы, у меня не хватило». И переводить количество в качество («килькисть в какисть», по формулировке Б. Зеликсона) меня за письмом утомляло. Не рядиться ж в посконное, имея лишь наблюдательный опыт!

* * *

Был у меня, впрочем, ещё один интерес к деревне – можно сказать, домашний, или близкий к тому. Это – наша няня Феничка, родом из деревни Тырышкино Архангельской области, чьё необычное появление у нас на Таврической улице я описал в первой книге этих воспоминаний. Но и сейчас её образ является мне в облаке питательных запахов: распаренного укропа при засолке огурцов, варёного сельдерея в супе или жареного лука в глазунье – даром ли мой кубометр примыкал к её полновластным кухонным владениям? Архангелогородская, а точней – кенозерская речь её, как шинкованная капуста – солью, была пересыпана афоризмами на деревенский лад и другими забавными глупостями, иногда в форме полурифмованных нескладушек. Если бы собрать всё в книгу, можно было б назвать её по жанровой принадлежности «Книга тырышек». Том первый, том второй, издание второе и дополненное, – я уверен, что «тырышки» свои она сочиняла сама на ходу.

Потому меня так с заглотом подцепило предложение нашего Лешего в следующий отпуск отправиться в те края.

Наши путешествия (а провёл я в них не один отпуск, плюс некоторые длинные выходные) начинались с поездок по когда-то прославленным северным монастырям, а затем уж мы углублялись в совершенно заброшенные места, отыскивая там становящиеся прахом остатки Руси деревянной, и их находили. Монастыри пребывали в запустении тоже – все, кроме Псково-Печерской лавры, где от её основания не прекращалась служба, и оттого сохранилась вековая намоленность места, прикрытого от

ветров косогором, как свеча ладонями во время крестного хода. В пору самых лютых гонений монастырь провиденциально остался за пределами безбожного государства, на территории «буржуазной» Эстонии, и вот жизнь его не прервалась. В других местах нас привечали лишь стены.

Всё же что-то происходило при встрече. Кованый архангел навершияКирилло-Белозерского монастыря хотя и неслышно, но трубил об упокоении Истории в Бозе, а надвратная церковь осеняла любого «благоразумного разбойника», входящего внутрь подворья. И отсельный Ферапонт при подходе к нему со стороны поля вдруг возникал из колосьев сначала крестом в цепях и звёздах, затем и маковкой купола, возглавляя пейзаж, а поближе восставал из земли уже весь, словно единое тело вместе с хлебным полем, холмом и тобой, к нему подошедшим. Наглядный пример воскресенья!

Впрочем, воскресная радость получалась впроголодь: лавка была там закрыта. В утешенье, на прибрежной отмели озера можно было разглядывать разноцветные гладкие камни – тех же мягких, спокойных тонов, что и на древних фресках. Между камнями, прячась, шныряли в воде небольшие, но и немалые налимчики, скользкие, неуловимые. Но – капроновый носок на ладонь, хвать-похвать, и уха на троих. Да ещё – с видом!

Правда, кругом запущенность до одичалости, особенно у границ административных владений. Бездорожье провожало нас в Каргополье, когда мы продвигались на северо-восток по направлению к заветной цели странствия – Кенозеру. Но в Поржинском, первой же деревне этого елово-ощеренного края, имя Федосьи Фёдоровны вызвало изумлённое узнавание. Остановились на дворе у Сергея Григорьевича Емельянова и его жены Павлы, приходил ещё и сосед Гриша подивиться на «Федосьино начальство». Разговор был о нашем броске сюда с днёвкой в Макарьевом монастыре, увы, совсем разрушенном. Сергей Григорьевич пояснил:

– Сказывали, что начальство так распорядилось: «На печки у вас кирпичей не хватает? Разбирай монастырь!» Видели там кирпичи-то складены?

– Видели. Так что ж вы их не забрали?

– Кто ж такую тяжесть по гатям на себе потащит?

– А – лошади?

– Лошадь и туда-то не пойдёт, а уж обратно… Разобрали сколько-то, и всё.

Добыча кирпича по методу Ильича!

* * *

Фенечка свой комментарий добавила позже, по моему возвращению:

– Видел там озеро-то? Раньше, кто приходил, дак три раза по берегу на коленях обползал. А уж только потом в монастырь пускали. Вот так!

Следующим броском через дебри мы вышли к низменной части Кенозера у заколоченной деревни Ведягино, видимо, лишь недавно покинутой жителями. Травянистый мысок, выдающийся в озеро, был ограничен тростниковыми заводями, и ни вправо, ни влево пути не было, хотя там на открытых и весёлых на вид береговых скосах стояли кой-где избы, гуменья, сараи. Вон то – вероятно, Тырышкино! Вдали на водной глади вычерчивались лесистые острова и проливы. Но кругом – ни души. Присев на бревно, я пустился зарисовывать Ведягинскую церковь. Как раз когда я закончил набросок, из-за берегового изгиба показался чёлн, управляемый подростком с одним веслом. Паренёк оказался Федосьиным племянником – нас тут ждали! Умозримая карта местности ожила: та верхняя деревня у леса называлась Бор, а Тырышкино располагалось ниже у озера. Мы причалили у федотовской баньки и поднялись к избе, где хозяйничал теперь младший брат нашей Фенечки – одноногий ветеран Василий Фёдорович с супругою, подрастающим сыном и детной молодою особой, как-то необъясняемо прибившейся к их семейству.

Вид от избы на простор утолял, даже лакомил зрение озёрными и лесными далями, травяными покосами по берегам. «Вот так бы, – утопически мечталось, – и жить, созерцая облачные Парфеноны, отражённые в водной глади. Райская ведь, мирная, покойнейшая обитель, даже комарики не суют сюда носа, – верный признак того, что жильё стоит на своём месте». Что-то в этом роде я высказал и хозяину. Он комплиментов моих решительно не принял:

– Намаешься тут без ноги-то. Зимой до баньки дойти – кувырнёшься раз пяток, дак... Весь свет обматеришь!

Ну конечно, ну разумеется, крестьянский быт тяжёл, я уж не говорю о работе на земле или со скотиной. Вот подходящая к случаю выписка из моего путевого дневника: «В мягкой, тысячу раз перемолотой, перетолчённой пыли среди амбарного городка лежат чёрно-серые овцы. К ним развёрнут своим раскрытым чревом боковой фасад крестьянского дома. Бревенчатый своз, сопровождаемый ладными перилами, ведёт в его недра. Чего там только нет, чего там только не напихано! Бесчисленные деревянные инструменты и ёмкости, ступки, скалки, мутовки, корыта, колодки, мерёжи, рогульки, вилы, бесконечные кадушки, грабли, прялки и невесть ещё что – развешано, заткнуто,

составлено или так просто брошено во внутренности крытого двора, но также и снаружи, за его пределами. И всё, или почти всё – из дерева. Даже щеколда у калитки сделана из какого-то хитро закрученного корня, – это надо ж было такую конструкцию угадать в лесу, в сплетении ветвей и отростков! Каждому движению работающей руки приноровлён свой инструмент, в каждом из окостенелых орудий видна фигура трудового приёма, а сколько их, захватанных, со следами грязи и навоза, замаранных землёй, валяется здесь, составляя беспорядочный арсенал! Видать, сложна крестьянская наука. Что мы можем противопоставить ей – трактор?»

Под спальники нам постелили на пол свежей соломы в той же части избы, где мы праздновали наше прибытие:

к чугуну дымящейся картошки от хозяев добавив банку тушёнки, да ещё плеснув на дно кружек заветного спирту, настоенного на можжевеловых ягодах. Из огородной зелени здесь сажали только лук.

Я проснулся от розовых зарниц, играющих на дощатом потолке. Очаровательный белокурый путти бегал голышом по чистому полу и, любопытствуя, заглядывал в лица спящих. Жарким золотом вдруг озарились и стены – это хозяйка шуровала в поду уже вытопленной печи, вытаскивая из раскалённого зева горшок топлёного молока с зарумяненной пенкой. Не веря своим чувствам, я замер в тёплой утробе избяного рая, – да вправду ли я слышу аромат испекаемого хлеба, или же он только снится? Нет, желание впиться зубами в хрустящую корку, в запашисто-свежую мякоть пробудило и моих приятелей, которые заворочались на слежавшейся за ночь соломе.

Само Тырышкино, как и весь куст близлежащих деревень, было почти безлюдно. И без того немногочисленное население административно гуртовалось теперь в Семёнове, весьма безликом селе, расположенном не столько даже на озере, сколько вдоль своей скудной инфраструктуры – дороги да линии электропередачи. Впрочем, озеро всё равно оставалось главным единением этой округи.

Сговорившись разведать остатки местной старины, мы решили пройти налегке, сколько сможем, вдоль озера. Но и в Тырышкине было на что посмотреть: не очень-то давняя, но ладная часовня Параскевы Пятницы стояла почти спрятанная в стволах соснового бора. Она была на замке. А у кого ключ-то?

– У почталионихи, – ответствовал Василий Фёдорович.

– А где она сама?

– А леший её знает.

Почему-то не смогли или не захотели пустить нас туда. Ну,

мы и сами заглянули: ставень-то был оторван, крыша прогнила. Большие золотисто-коричневые доски деисуса с надеждой и даже, кажется, с мольбой о помощи взглянули на нас. Протечка пришлась аккурат на икону Нерукотворного Спаса. Левкас разбух, краска обваливалась. Глаза Его были слепы. Всё-всё, похоже, было обречено, хотя и символически охранялось от чужаков...

* * *

Позднее я пытался сообщить об увиденном в Обществе по охране памятников, говорил с их активистом Юрием Новиковым, «бил тревогу», – чем, наверное, его не удивил. Удивил он меня:

– Да, многое гибнет. Но правильно, что на местах сохраняют наше наследие от фарцовщиков!

– Да где же правильно? Пусть кто-то и наживётся, так они же своё отрабатывают, у себя на горбу тяжести эти вывозят! Продадут коллекционерам, и хорошо: те их ценить будут, отреставрируют...

– Так ведь они ж иностранцам продают, за валюту. Россией, по-существу, торгуют. И – безвозвратно для народа и нашей культуры при этом.

– И – ладно, и пусть! Народ, значит, культуры своей не стоит.

Замолчал. В глазах – стена патриотического недоумения.

На выходе из Тырышкина перед нами открылась ещё одна безмолвно вопиющая трагедия, а то и мистерия. В окружении вековых елей стояла крохотная, всего на человек трёх, никак не больше, придорожная часовенка. Очарование! Замшела от древности, как эти ели, но крепка и цела. Внутри – иконостасец, действительно, слегка пограбленный, огарки, позеленевшие пятаки. Приглашает путника: зайди перед дорогой, оберегись молитвой от зверя, от непогоды, от другой беды. Да вот сама часовенка в окружении еловых великанов едва не погибла. Громадные эти деревья вдруг начали умирать, сохнуть: их корни, растущие не столько вглубь, сколько вширь, под дорогой, уцелевшие под копытами и сапогами, ободами да полозьями, перемололи гусеницы трактора. Однажды дохнула буря, деревья вывернуло и повалило, но как! Они рухнули крест на крест, страшно изломанными сучьями вонзившись в землю, но в середине оставили часовенку совершенно нетронутой. Ну не чудо ли? Что же ещё, как не чудо!

Много диковинного испытали и видели мы в северных странствиях.

* * *

По возвращении образовались у меня с Федосьей, вдобавок к домашним отношениям, как бы ещё и земляческие: с каждым письмом оттуда передавала она мне «приветы», делилась деревенскими новостями. Тырышкино действительно почти совсем опустело, осталось всего три мужика: её одноногий брат, старик-вдовец и ещё один, молодой мужик после армии. Вскоре в тишайшем этом месте разожглась лютая вражда. Старик тайно накосил для своей коровы травы с колхозной «ничьей» делянки, а молодой подсмотрел и сообщил об этом в сельсовет. Старика подержали в кутузке и сверх того оштрафовали, задержав ему выплату пенсии на полгода вперёд. Старик зарядил ружьё, подстерёг молодого и уложил его двумя выстрелами, как медведя. Присудили ему за это как рецидивисту расстрел.

Не знаю, долго ли там продержался последний тырышкинский мужик Василий Фёдорович. Да и сохранилась ли деревня? Спросить некого: нет теперь и Фенечки. Но вот ей моя память.

ФЕДОСЬЯ ФЕДОРОВНА ФЕДОТОВА
(1920 – 1998)
Свет Фёдоровна, мне тебя забыть ли?
Архангельская няня, ты была
для нас – душа домашнего событья:
похода в лес, накрытия стола.

Ты знала верный час для самовара,для пилки дров и для закупки впроккочней капустных, – и меня, бывало,гоняла не один втащить мешок.Могла сослать на дедову могилу:ограду красить, помянуть, прибрать…Твои-то детки, не родясь, погибли.Война им не позволила. Мой брат,да мы с сестрою сделались твоимипри матери красивой, занятой,при отчиме, которому за имяя тоже благодарен. Но – не то…Какая избяная да печнаябыла ты, Фенечка; твой – строг уют.А кто ко мне зашёл, садись-ка с нами:– Ешь, парень! Девка, ешь, пока дают!И, разойдясь перед писакой, тожетуда же сочиняла (кто – о чём)получастушки и полуколлажи,складушки-неладушки, калачом:«Ведягино да Семёновок лешему уведено,Бор да Тарасовок небу

привязано,Шишкино да Тырышкиношишками запинано».То – все твои гулянки-посиделкина Кенозере. Там я побывал.Краса, но вся – на выдох, как и девки,что хороводом – на лесоповал.В семью пойти – кормёжка даровая,ночлег. Из окон – липы. В бочке – груздь,под кой и выпить, вилкой поддевая!Да не за кого… Вот какая грусть.Свет Фёдоровна, где теперь ты? В весях,должно быть, трудно-праведных, где – высь,где также – низ и погреб, корень вепскийи староверский нарост – все сошлись.Тырышкино, лесоповал, Таврига,стряпня да стирка, окуни-лещи,на даче – огород. И жизнь – как книгав две-три страницы, сколько ни лищи…Как ни ищи, не много выйдет смысла,кто грамотен. А если не сильна…А если был тот смысл, пятном размылся.Но есть душа. И ты для нас – она.

ДЕЛО ШВЕЙГОЛЬЦА

В первой книге этих воспоминаний несколько раз промелькнуло имя Володи Швейгольца: сначала как предприимчивого юноши, навязавшегося мне в попутчики в крымскую поездку, а затем ставшего пляжным приятелем по Евпатории, обучавшим меня плаванию по методике Джонни Вейсмюллера, и соперником в наших не вполне напрасных ухаживаниях за соломенноволосой Светланой, а также моим ранним оппонентом в литературных спорах.

Сопровождал он меня и в поездке в Мисхор к Евгению Рейну, когда мы втроём, переночевав прямо на земле в парке Чаир, прошлись с широкоплёночным фотоаппаратом «Любитель» по основным красотам побережья. Я выстраивал композицию, состоящую из Симеизской скалы, из волны, накатывающей на крупную гальку, и двух поэтов, которые выпячивали обнажённые торсы (у одного – сутулый и бочкообразный, у другого – весьма даже атлетический, угадайте, кто есть кто?), я выставлял диафрагму и выдержку, а Швейгольц завершал: щёлк! В результате получилось несколько примечательных снимков.

Все эти солнечные пятна в моей памяти окружены, однако, мрачным ореолом, отброшенным событиями последующей жизни, и я дал знать о том после первых же упоминаний о Швейгольце: в дальнейшем он стал убийцей. Но в те времена какой-либо зловещей тени ни в его облике, ни в поведении не замечалось, был он общительным и компанейским парнем, познакомил меня в Питере со Славинским и его полубогемной бражкой. Все они немного писали, немного рисовали, слегка диссиденствовали и витийствовали и, как все мы, искали в наступающих и уходящих днях и вечерах жизни свой кайф, то есть удовольствия, находя их в труднодоступном или же вовсе запретном чтении, в музыке (и не только джазовой), во флирте, более или менее в выпивке, а кое-кто и начал уже «торчать», «ширять» и «задвигаться». Что касается этих последних радостей, то я раз навсегда постановил для себя: с этим не экспериментировать, потому что опасался чрезмерно ими увлечься, и это было одним из моих лучших жизненных решений.

Их бражка в коловращениях своих создавала среду, но не могла напитать полновесный талант, – попросту не хватало у неё интеллектуальных, волевых силёнок, и потому люди с умом и сердцем вовлекались туда лишь временно, по касательной. Анри Волохонский ткал схоластические узоры стихов и трактатов по образцам ископаемых философий. Леонид Аронзон из воздуха

выстригал косые силуэты своего условного мира. Появился добрый молодец Алёша Хвостенко и тоже стал теоретизировать на авангардные темы, подкрепляя теории бессвязицей текстов, порою забавных. Образовалась субкультура, позднее обретшая легендарное имя «Сайгон». Но вот Алёша взял в руки гитару, и всё-всё отозвалось на свои имена и клички:

Хочу лежать с любимой рядом,
а на работу не хочу.

Действительно, кто бы в таком предпочтении, положа руку на сердце, не признался? Но в том-то и дело, что свобода эта райская достигалась лишь через зависимость, унижения и труды, пусть даже и не свои. Военком засылает повестки? На время отлова призывников можно «слинять», а то и «закосить» под язву желудка или дефект позвоночника, под бруцеллёз, под психа, наконец. Не исключено, что дадут инвалидность и даже пенсию, – разумеется, грошовую, да ещё и с контрольными перепроверками. В общем, при такой жизни на ежедневное тисканье музы остаётся мало пороху. Швейгольц весь свой заряд вложил в математику, но экзамен на физмат провалил и своё фиаско объяснял только антисемитизмом. Так это или нет, попробуй докажи, особенно если и русские, и евреи были по обе стороны экзаменационного стола. Я тоже слишком хорошо помнил своего рыжего математика из ЛЭТИ, влепившего мне двойку «ни за что»... Но Швейк, такое прозвище прочно закрепилось за ним, из гордости отказался держать экзамен в Педагогический институт и сыграл в солдаты.

Служба, к счастью, не подорвала его здоровья, но у него сложилось убеждение, может быть истинное, хотя и не совпадающее с принятым, что свой гражданский долг он выполнил до шпента. Его отстаивание бытовой свободы, не поддержанное теперь ни математическим, ни каким-либо художественным призванием, пошло по тем же кругам: нелёгкая, долгая и унизительная добыча статуса инвалидности и пенсии... Не знаю, как скоро, но он в конце концов это получил. Мы стали редко пересекаться, его шутки при разговорах стали заменяться экстремальными философемами, – ну например, из «Эристики» Шопенгауэра: «Если твой противник застенчив или туп, смело обвиняй его в невежестве». Или же выкопанное из Ницше: «Идя к женщине, не забудь взять с собой плётку». Надо же, – не букет, не бутыль, не конфеты, не пару презервативов, наконец, а – плётку! Ну хоть стой, хоть падай.

Случайно столкнулись на Кирочной. Я шёл домой на Таврическую, он пустился меня провожать. В ту пору я сменил

своё пальтецо на рыбьем меху, «построив» себе новое, утеплённое, со вшитым под подкладку выношенным джемпером, и чувствовал себя от этого превосходно. Швейк, поёживаясь от ветерка со снежной крупой, явно находился по другую сторону гоголевской «Шинели». Глаза его угрюмо, а может быть, даже голодно блестели, щёки голубели запущенной небритостью. Вдобавок к такому контрасту, я нёс ещё портфель польской жёлтой кожи, купленный недавно за упоительную дешёвку, но вид у него был щегольской.

Впервые Швейк попрекнул меня:

– Ты ведь поэт, Деметр, как можешь ты инженерить?

– Что ж тут такого? Всё равно не печатают. А так я хотя бы не бегаю по редакциям в поисках халтуры.

– Да это ж – филистерство, буржуазность...

Слова его неожиданно озадачили и даже задели меня осуждением – одновременно как с советской, так и с антисоветской стороны.

И – опять в районе Кирочной и Восстания. Я провожаю рыжеволосую сотрудницу, живущую где-то в этих краях, и, затягивая прощанье, приглашаю её зайти куда-нибудь в кафе на чашечку кофе или бокал шампанского. Ничего подходящего поблизости нет, только это, с дурацким названием «Буратино», к тому же работает как столовая. Но моя знакомая непрочь и пообедать. Зелёные щи с желтком, котлета с ячневой кашей, кисель. Через столик от нас – Швейгольц со спутницей, они заканчивают тот же набор блюд. Она – блондинка с недовольным, надутым лицом, на него вообще страшно смотреть: налит угрозой. Идут через проход мимо нас, он меня как бы не видит, и я чувствую облегчение, словно от миновавшей опасности.

Через день:

– Швейк-то убил! И сам, похоже, того... В больнице.

– Да кого убил-то? Как?

– Просто зарезал, и всё. Последнюю подружку свою, любовницу, что ли – какую-то парикмахершу. И – себя пытался...

Это было весной 1965-го. А осенью: «Суд идёт!» Сочувствующих зрителей собралось много, несмотря на рабочее время. Да и у меня теперь почти свободное расписание. И – свой интерес: как сумел человек, мой приятель, превратиться в кровавого монстра? По опыту, мне к тому времени доставшемуся, я считал, что покусившийся на другого прежде всего смертельно увечит свою душу. А тут ни о какой презумпции не было и сомнения – сам ведь сознался. Он сидел наголо остриженный, с белым шрамиком на затылке. Оглядывался, знакомым кивал. Кивнул и мне. Я не ответил. Он понял это и как бы принял к

сведению.

Из обвинения, из допроса подсудимого и первых свидетельских показаний получалась такая картина: Лахта, низкий берег Маркизовой Лужи с причалом и мостками, около которых покачиваются зачехлённые лодки и несколько яхт. Поодаль – ряд деревянных домов, переходящий в улицу. В одном из них – довольно большая комната, которую снимает Швейгольц со своей (для меня – безымянной) подругой. Хозяйка дома в тот момент во дворе гремит ведром, выгребая оттуда отруби для поросёнка. У Швейка – гости: поэт Леонид Аронзон, владелец лодки, который держит её поблизости под присмотром приятеля, и Валерий Шедов по кличке Курт, он же Понтила, по профессии электромонтёр, владелец и капитан яхты, между прочим, крейсерского класса, стоящей на ремонте тут же.

На столе – две бутылки, стаканы, пепельница. Рыжеватый и горбоносый Аронзон ходит по комнате прихрамывая, читает с листа свои воздушно-расплывчатые, косо летящие строки:

Хорошо ходить по небу,
вслух читая Аронзона.

Швейк не может не сделать замечания по поводу стихотворения: синтаксис прихрамывает тоже. Зато образность, образность – замечательна! Теперь читает свою мутноватую бредоватую прозу Швейгольц, его слушает только Аронзон. Безымянная подруга строит глазки Понтиле, тот расправляет свой могучий торс, треплется об очередном восхождении на Эльбрус. Понтила хорош собой, да просто-напросто мужественно красив – куда только смотрит Ленфильм? – синеглазый блондин, тёмные брови, рост. Словом, Курт. После своих восхождений он обычно подрабатывает на обратный билет тем, что на черноморских пляжах даёт с собой фотографироваться дамочкам из Караганды и Сольвычегодска – за трёшку кадр.

Швейк выпаливает тираду о женском непостоянстве и о трёхрублёвых заработках, за которые кой-кого давить бы надо. В раздражении хлопает дверью, уходит. «Опять натрескались, тунеядцы!» – бурчит из-за стенки хозяйка. Поэт догоняет друга уже на мостках.

– Ну что ты, Володя, раскипятился? Пойдём-ка с ребятами зачифирим.

– Вот у меня для них что! – в руке Швейгольца оказывается садовый кривой нож.

– Что ты, что ты, отдай-ка ты мне это лучше…

Аронзон мягко отбирает нож и, размахнувшись, далеко

забрасывает его в воду. Друзья возвращаются в накуренную комнату, их встречают приветственными криками:

– Мир! Мир! Выкурим трубку мира!

Забивают косяк. Делается смешно, потом странно, предметы на столе оказываются исполнены космического значения: бутылка, стаканы, консервная банка в качестве пепельницы. От их расположения зависят судьбы вселенной: уберёшь один, и – весь мир на краю гибели; переставишь, и вновь наступает Золотой век человечества.

Откинувшись на кровать, Швейгольц тяжело задремал. Аронзон слинял ещё раньше. Сговорённые любовники отправились ночевать на яхту Курта.

Как там у Пушкина? *Вдруг: виденье гробовое, Незапный мрак...* На следующий день Швейк запорол подругу раскрытыми парикмахерскими ножницами. Ткнул и в себя между рёбер. Обожгло. Ткнул туда же ещё, но глубже не смог. Хозяйка обнаружила его сидящим на крыльце в крови и полуобмороке. А наверху – «всё в кровище, прости господи!»

Мать убитой оказалась на месте раньше милиции и скорой. Вот её-то стало очень остро жаль – каково матери всё это было видеть! Сквозь надсадное рыданье её, впрочем, прослеживалась настойчивая версия: над кроватью с растерзанным телом дочери были якобы начертаны кровью на обоях кресты «и ещё какие-то знаки».

Обвинитель, надо отдать ему должное, этот подталкивающий намёк на ритуальное убийство не поддержал. Так же отбросил он и объяснение, которое, например, складывалось у меня в голове: о том, что был замысел двойного самоубийства, осуществлённый лишь наполовину, а точнее – на три четверти... Да, смесь Метерлинка, Ницше и Достоевского в одном уме могла привести к гремучим выводам, но напарница Швейка была для такого сюжета всё-таки простовата... Следственная версия склонялась к эффектной, почти голливудской мелодраме, подтверждаемой не домыслами, а фактами: адюльтер на борту яхты, задуманная месть, вспышка ревности и насилия...

Аронзон всем своим видом вполне вписывался в кинематографическую фабулу: лёгкий серый костюм, твёрдые манжеты и воротничок, галстук в тон. Выброшенный в воду нож описал длинную дугу в его рассказе. Приятелю своему он давал лучшие характеристики:

– Мухи не обидит! То есть буквально, идёт по земле – на муравья, на жука какого-нибудь не наступит, перешагнёт...

Для многих в зале это уже было слишком – мол, свою бабу зарезал, а муравья пожалел. Ну, а Шедову киногеройства было не

занимать: внешность, Эльбрус, яхта... Судьиха лишь сочувственно кивала его рассказу.

Вмешался адвокат с требованием экспертизы для подсудимого. Эксперт, интеллигентный полковник Военно-медицинской академии, терпеливо объяснял: пациент ранее находился на психиатрическом обследовании, которое показало у него развитие шизофренической болезни. Для специалиста характерные симптомы видны и сейчас, они проявляются в его неадекватных показаниях, в претенциозном поведении на суде. То, что он требовал и читал книги по психиатрии во время следствия, не может служить подтверждением его симуляции, а наоборот, является типичным для больного поведением с его самоуглублённым копанием в своём сознании. Произошедшая трагедия является не актом мести, но скорей попыткой самоуничтожения, разрушения своего мира, значительной частью которого была, увы, несчастная жертва, и всё это завершилось несомненной суицидной попыткой, которая не удалась лишь потому, что после прободения сердечной сумки пациент потерял сознание...

Странное дело, такая внятная разумная речь произвела скорей отрицательное впечатление на суд. Вызвали своего медицинского эксперта, его вывод был прост: подсудимый вменяем. Приговор: 8 лет с отбытием их – где? – если жертва находилась, по швейгольцевым бессвязным словам, в раю, то где ж ему было отбывать наказание, как не в аду? Я, конечно, имею в виду не только советскую пенитенциарную систему, но главным образом ад его внутренней жизни, так убедительно описанный избранным и излюбленным писателем Швейгольца. У его персонажей мой злосчастный знакомец заимствовал многое, если не всё – чуть ли не собственную личность, но, увы, он не усвоил их горестных выводов. Его жизнь оказалась как бы ещё одним, сверхтиражным экземпляром «Преступления и наказания». Странно и страшно было впоследствии узнать, что у всей той компании их молодые жизни покатились в метафизические тартарары. Вот в чём ужас и преимущество моего возраста: я вижу их в тогдашнем времени, но также и в последующем, а сам нахожусь в том, где их уже нет. Свидетели-приятели Швейгольца, так ярко выступившие на суде, кончили сходным и необъяснимым образом – и, причём, добровольно. Аронзон вдруг застрелился из ружья, а Шедов в припадке депрессии влил в себя какую-то мучительную отраву.

Ранее Швейк был помянут в печально знаменитом фельетоне «Окололитературный трутень» в качестве «окружения Бродского» – впрочем, лишь в придаточном предложении: «физиономию

которого не раз можно было обозревать на сатирических плакатах», а также в скобках. Тот, кого он «окружал», всё-таки выразился о случившемся:

Здесь жил Швейгольц, зарезавший свою
любовницу – из чистой показухи.
Он произнёс: «Теперь она в раю».
Тогда о нём курсировали слухи,
что сам он находился на краю
безумия. Враньё! Я восстаю.
Он был позёр...

Конечно, – не «Баллада Редингской тюрьмы», но хоть какая-то память... Швейгольца знали многие, но забыли быстро. Однако, не все. Славинский, упомянутый в том же фельетонном «окружении», переписывался с ним и изредка мне сообщал:

– Швейк-то – в поряде. Устроился прорабом на лесопилке. Зэки его уважают: «мужик в законе».

– Что это значит? Я знаю – «вор в законе», а это?

– Ну, значит «правильный мужик», справедливый.

О его освобождении из лагеря мне сказал кто-то другой, не Славинский (тот по иронии судьбы сам оказался тогда в заключении), и я предпочёл бы не видеться со Швейгольцем даже случайно, хотя и знал, что где-нибудь мы непременно пересечёмся. Это в Москве можно жизнь прожить и кого-то из однажды знакомых потом уж не встретить, вращаясь в разных компаниях; в Питере же – не так.

Однажды мать попросила меня помочь ей: она совсем изнервничалась с моим младшим братом. Костя, крупный голубоглазый блондин, был любимцем всей семьи: и родителей, и Фенечки (для которой он был как свой), да и мне с ним бывало занятно поговорить и перед «младшеньким» порисоваться. Его отец, а мой отчим, души в нём не чаял, пустил его после школы по стезе приборостроения, запихнул в институт Бонч-Бруевича, а дальше уже предполагалось ему шагать след в след по отцовским стопам. Но в этом целостном замысле возникла трещина: Константин всерьёз увлёкся художеством, и я его зауважал, увидев в нём способности, стал показывать свои стихи, делился тем, что успел узнать сам. Отчим старался отвадить меня, оградить от «дурного влияния» своего сына, и это противостояние закончилось плохо: Костя заболел. Домашние, естественно, обвинили меня. Он действительно бредил отрывками из моих поэм, в частности «Диалогами Фауста», видел во мне повелителя таинственных сил, искал и ловил повсюду знаки потустороннего

мира. Психиатр затребовал мои тексты для исследования, пришлось дать безо всякой гарантии, что изучать их будут только в научных целях. Как бы то ни было, врач заключил, что они могли спровоцировать обострение, стать предлогом, но никак не причиной болезни. Это уменьшало, но не снимало чувства вины не вины, но всё же моей причастности к этой беде, а во-вторых, тяжёлого изумления, вроде стояния с раззявленным ртом и растопыренными руками перед вовсе не доброй или, лучше сказать, вне-доброй силой своих же словес, действовавших за пределами авторской воли.

В период обострения болезни мать попросила меня отвезти Костю на домашний приём к женщине-психиатру, куда-то далеко на Московский проспект за «Электросилу», поэтому лучше было поехать с утра… Но с утра я не мог и, вымотавшись на своей Чапыгина-6, приехал автобусом через весь город на Таврическую и, взяв Костю, отправился с ним на метро. Глаза его, покрасневшие от бессонницы, смотрели с тревожным напряжением, мой контакт с ним, если и был, мог непредсказуемо оборваться. Тем временем в метро наступил час пик, хлынула толпа. У Техноложки нас вынесло из вагона, я с трудом провёл больного, маневрируя между снующих сограждан, к противоположной платформе на пересадку. Последний перегон, и мы будем у цели.

Поезд что-то задерживался, толпа всё уплотнялась, нервозность больного, моя тревога за него и раздражение от людского множества всё возрастали. Но вот пахнуло резиной и ветром, толпа прибывших смешивается с толпой стремящихся уехать, и я слышу, как кто-то зовёт меня сверху в этом набитом людьми мраморном подземелье. Кругом незнакомые люди, а голос – знакомый. Снова: «Дима!» Поднимаю голову, вижу: стоит на переходе, свесившись через перила – Швейгольц… Чур меня! В коротком широком пальто, наподобие средневековой накидки, с какой-то по-мефистофельски подправленной небритостью на лице, но в глазах радость, чуть ли не умиление. Миг, и я вталкиваю брата в вагон, двери закрываются, и мы уезжаем.

И – вот ещё одна писательская помета на этой теме: повесть Бориса Ивановича Иванова «Подонок», написанная по горячим следам дела Швейгольца. Я познакомился с автором повести в начале семидесятых, но ещё раньше в нём произошла знаменательная метаморфоза: писатель, член Союза с абсолютно советским прошлым (служил в чине капитана оккупационных войск в Германии, был, разумеется, членом партии) вдруг рассорился с официозом и полностью перешёл в самиздатское существование. Его повесть, даже судя по заглавию, давала лишь

плоский и сугубо негативный (близкий к фельетонному) образ нашего знакомца – молодого негодяя и манипулятора, докатившегося до столь мрачного преступления. Позднее во время прогулок по Васильевскому острову я расспрашивал Бориса Ивановича, почему он дал известному прототипу столь однозначное толкование; он ответил, что искал в нём лишь определённый социальный тип.

И автору, и его антигерою пришлось ещё раз пересечься на литературной почве. Пока Швейгольц отбывал свой срок, Иванов превратился в активиста, одного из лидеров, а затем и в патриарха ленинградского самиздата. Он годами издавал подпольную периодику и притом умело соблюдал дистанцию враждебного нейтралитета по отношению к властям. Придумал даже литературный приз для авторов андеграунда, пародирующий официальные награды: премию имени Андрея Белого и ежегодно вручал кому-то карнавальную бутылку водки («белого вина» по-простонародному), яблоко и рубль денег. С наступлением дальнейших свобод этим курьёзом стали забавляться журналисты, он был особенно комичен на фоне появившихся тогда частных и государственных премий размером в тысячи и десятки тысяч долларов. В конце концов приз, за его яркость и дешевизну, переняло одно крупное издательство, сохранившее за Борисом Ивановичем как основателем премии право вручать её победителям. Большая газетная помпа уравновешивала неизбежный плебейский оттенок награды и восполняла её ничтожное материальное выражение. Однако после финансового обвала, мягко именуемого дефолтом, как раз рубль-то практически исчез из обращения, сменившись купюрами с нулями; его стало трудно найти. Однажды искомое пришлось занять у небезызвестного Швейгольца, который «постоянно лежит на набережной» – как говаривал Борис-Иванычев подручный.

Да возможно ли это – постоянно лежать на набережной – ввиду петербургского климата, не говоря уж о милиции? Воображал ли он себя парижским клошаром, лондонским хобо или сан-францисским бамом – вольным жителем городов, в которых ему никогда не суждено было побывать? Уже и не спросишь.

ПРИКЛАДНАЯ ГЕНИАЛЬНОСТЬ

Тема шизофрении, или раздвоения личности подступала к жизни вплотную, хотя, к величайшей удаче, душевные болезни меня самого не коснулись. Постучу по дереву своего бюро, купленного за полгроша на американской гаражной распродаже и отлакированного мной собственноручно, и на всякий случай добавлю осторожное слово «пока», потому что никто не знает, когда и в какую часть тела поразит его очередной перун. «Весь мир безумен. Кай является его частью. Следовательно...» А следовал из этого силлогизма и в самом деле неутешительный вывод: сознание раздваивалось на незаметное, одинокое и мало кем востребованное «служенье муз», которое, как известно, суеты не терпит, и на эту самую небезопасную суету, в которой всё трудней становилось увиливать, изворачиваться и увёртываться от пропагандного «падения тяжестей». Правда, я редко брался за сценарии, не рвался в эфир, но идеология висла над головой гроздьями начальственных предписаний.

Я как-то сказал об этом Довлатову, и он тут же отстукал на своём «ундервуде»: «Бобышев жалуется на неудобства работы на телевидении. Приходится всё время проверять свой зад на вертлявость. Мол, а не вертляв ли он?»

Потом вычеркнул. В заводских многотиражках пришлось ему и не так вертеться. Рассказывал с отчаянным цинизмом, как он писал антиалкогольные статьи, и гонорары от них шли целиком на пропой души, а если верней, так на её отмыв. А когда не хватало, собирал дань у всегда чуть виноватой писательской общественности для помощи несчастному Риду Грачёву-Вите (с одним «т»), который почти не вылезал из жёлтого дома. Представляю себе несколько запущенного «со вчерашнего», но всё ещё обаятельного динозавра в дверях какой-нибудь литературной дамы, Линецкой или Хмельницкой, когда он излагает убедительную просьбу оказать помощь нуждающемуся молодому писателю, уникальному таланту, может быть, гению, попавшему в тенёта душевной болезни... Ну как не оказать, как не сунуть такому пятёрку, ну как не добавить, подумав, ещё и трёшку!

Между тем именно эти две дамы реально помогали Риду Грачёву, и не только пятёрками-трёшками, но главным образом тем, что создавали ему репутацию литературного самородка и гения, свежей надежды шестидесятых. Его прозу всерьёз расхваливал Дар, о его переводах из Сент-Экзюпери и Камю многозначительно и возвышенно отзывался Рейн, поздней я услышал о каких-то эссе, которые, если бы их напечатать

вовремя, имели бы общественный резонанс не меньший, чем «Жизнь не по лжи» Солженицына. Да, именно так говорилось, – скорей всего, преувеличенно. Но автор в самиздат их не пускал, а его репутация, не подкреплённая текстами, превращалась в легенду, что, впрочем, действовало на окололитературную публику с пущей силой.

Меня в те годы одолевала идея солидарности и, по тогдашнему временному ощущению не меньше, чем за двести лет до Леха Валенсы, я мечтал о совместной судьбе (и – борьбе?) литературных неофициалов. Как же, мол, так – официалы в спайке, а мы нет, и потому мы бесправны: солидарность, кричу, солидарность!

Так начиналось одно из моих тогдашних стихотворений. Напрасные мечты: сам не умел я кучковать, гуртовать людей, давать им направление или ими манипулировать, но и не терпел, чтобы это проделывали со мной. Как раз в то время ко мне обратился Довлатов (как вначале мне показалось, всерьёз) с идеей самиздатского сборника, наподобие несбывшихся «Горожан»:

– В общих чертах всё уже «обмозговано», извините за этот советизм, – надо только изобрести хорошее название.

– Название? Вот оно: «Быть или не быть» без вопросительного знака!

– Зачем же, к чему здесь пессимистическое «не быть»? Мы как раз хотим именно «быть».

– Это же «Гамлет», а символически – все мы принцы датские. К тому же, у меня есть стихотворение, дающее на знаменитый вопрос ответ, и не только мой личный: «Быть и противобыть». Такая строчка могла бы даже стать девизом...

Приставка «противо» Довлатова явно не устраивала. Он был нацелен на профессионализм, на гонорары, наверное, даже на членство в СП, отнюдь не на солидарность отверженных. А ответил окольно:

– Вы хотите назвать общий сборник по вашему стихотворению? Не слишком ли это... нескромно?

Затея сама по себе оказалась ещё одним дохлым номером. Впрочем, она состоялась, но не тогда и не там. И – без меня. Однако «нескромность» стала уместной, когда величали другого автора. Второго ноября 1979 года я буквально с неба свалился в Нью-Йорке, и уже через неделю, полный планов и ожиданий, с запасом рукописей, своих и чужих, объёмом на несколько альманахов, я связался с Довлатовым, а он меня познакомил со своим соседом, застенчивым и лысоватым Гришей Поляком, работавшим в башнях-близнецах механиком по системам

вентиляции и одновременно создавал своё издательство «Серебряный век». Типичная американская мечта, не правда ли? И, что самое интересное, она уже сбывалась. Первый блин был некоей «Кукхой» Ремизова, но дальше Поляк готовил к выпуску новый литературный альманах, – «так не хотели бы вы поучаствовать?» Ещё бы! Очень бы даже хотел.

– Я пока не уверен относительно названия… Как вы думаете: «Шум времени» подходит для альманаха?

– Замечательно подходит! Мандельштам на обложке нового периодического издания – что может быть лучше? Это объединит многих.

Но нашлось лучше, гораздо лучше по мнению Довлатова и редколлегии, где были, конечно, «все свои» и все единомышленники. Барышников вложил деньги, и альманах вышел под названием «Часть речи» с портретом Бродского на обложке. Разумеется, своих материалов я туда не давал, а последующих выпусков уже и не видел.

Перенесу память обратно, в тот ленинградский денёк, когда я шёл познакомиться поближе с легендарным Ридом Грачёвым. Погода отсутствовала начисто, как это нередко бывает у нас в Ингерманландии, заменясь на сырую сквозящую серость, выраженную не только состоянием неба, но и нашей демисезонной одеждой. Цвет мокрого асфальта, присущий эпохе, был даже моден в те годы и назывался «маренго». Ну что сказать о нашей встрече? Мой собеседник был с виду неказист, если не сказать мозгляв. Белесыми проницательными глазами бывшего детдомовца он окинул меня и сразу предложил:

– Пойдёмте-ка поедим где-нибудь, а то я проголодался. Поищем какую-нибудь пельменную, что ли…

Пельменная, конечно, оказалась рядом, за полквартала. Да на шашлычную я бы и не потянул. Прикидывая свой бюджет, я соображал: если он заплатит за себя, то у меня должно будет хватить на порцию «сибирских» плюс пиво. Тогда интеллектуальная беседа польётся сама собой, весело и витиевато закучерявливаясь жигулёвской пеной. Рид безжалостно окоротил мои фантазии:

– Но денег у меня, увы, уже который день – того-с…

– Что вы, что вы, я заплачу, какие тут могут быть сомнения?

Я заказал две порции скользких, дымящихся в холодном воздухе пельменей и, уже смирясь с отсутствием пива, стал смешивать горчицу уксусом для подливы, как вдруг услышал Рида, нюхающего свою порцию:

– Пахнет только что изверженной спермой.

Отодвинув тарелку, я вышел, выпустив порцию пара из двери

забегаловки, и больше уже никогда не видел этого человека.

Использование своего дара или, если хотите, своей «гениальности» (в кавычках и без) не ради служения литературе, а ради личных целей – явление не новое. В конце концов, это и есть профессионализм, не правда ли? Но верно и то, что цели могут быть вовсе неблаговидные, даже шкурные:

принудить женщину к близости или отомстить ей за отказ, очернить репутацию противнику, – да чем это лучше общераспространённого чиновничьего греха «использования служебного положения»? Ну разве что тем, что исходит от «гения». При этом надо кивать на пушкинский тезис о несовместности его со злодейством. А если этот гений безо всяких кавычек пользуется семейным гостеприимством, а потом пишет на хозяйку сальную эпиграмму «Один имел мою Аглаю»? Трудный вопрос, который заставляет задуматься о том, кому даётся и кому принадлежит божественный дар – неужели вон тому чернявому живчику? Или же это – надмирное понятие, дух извне, который свободно облюбовывает избранника и, садясь ему на плечо, нашёптывает то «Гильгамеш», то «Кубла-Хан», то оду «Бог», то «Пророка», или же «На воздушном океане», или «О чём ты веешь, ветр ночной?», либо даже диковинное «Кикапу», а то и вовсе неведомое критикам и историкам литературы «Пели-пели-пели, пили-пили-пили»? Разумеется, на чьём-то плече гамаюн засидится подольше, вот и песен появится больше, но оттого и у певца будет больше иллюзий о своей запредельности относительно добра и зла, а то и, наоборот, о своём праве судить и даже карать неугодных – ведь слово есть власть.

Эпиграмма – изящное средство, в чём-то подобное фехтованию, с той только разницей, что о рапирных наскоках и выпадах противник узнаёт одним из последних, когда уж проколот. Конечно, можно и проще: обозвать пожилую сплетницу «трупердой» и получить в ответ диплом рогоносца, – действия, лишь с большой натяжкой относящиеся к литературным. Впрочем, собственно литература вооружена и более сильными средствами, и пародия – одно из сравнительно добродушных. Басня, сатира – вот крупнокалиберные жанры, палящие картечью, но не по личностям, а по обобщённым мишеням, которые скорей прячут, чем обличают караемую персону, потому как тут подвергаются бичеванию не люди, а их пороки.

Ну а если ты гений и жаждешь отмстить конкретным лицам, то о правилах забудь, этику-эстетику тоже, бери в руки суковатую дубину и, в духе Гая Валерия Катулла (не путать с Валерием Туром!), гвозди ею, дубась по мозгам – и свою ветреную возлюбленную, и кого там она предпочтёт тебе – всех внуков

Рима, которых тешит она по подворотням, вплоть до Гая Юлия Цезаря:

Чудно спелись два мерзких негодяя:
кот Мамурра и с ним распутник Цезарь!
Оба в тех же валяются постелях,
друг у друга девчонок отбивают…

Вот это уже будет не иносказание, а прямая инвектива, порицание, персональное поношение, и кого? – величайшего властелина и его главинтенданта. На такое, как выразился когда-то Кирилл Косцинский, у современных поэтов «кишка тонка», но это смотря у кого. Например, Маяковский официально именовался тогда «наш современник», а как он лупцевал дубиной по головам, и не только буржуазным, но и литераторским – Корнея Чуковского, Игоря Северянина, Ильи Сельвинского, Георгия Шенгели, и всё – внутри текстов, постранично проштемпелёванных «гениально», «гениально», «гениально». Пусть трижды три так, и даже в квадрате и кубе, но всё-таки разрушительно и, что надо обязательно отметить, саморазрушительно как в переносном, так и в буквальнейшем смысле.

Властелина, однако, он почтительнейше похвалил. А вот у Мандельштама хватило-таки куражу – он, как Давид из пращи, влепил свою сатиру не в бровь, а в глаз даже не Голиафу, а Полифему власти. И жизнь смельчака стремительно сократилась.

В нашу пору ничего подобного не было – дерзили разве что в анекдотах. Но вот Андрей Сергеев переложил в стихах на русский лоренс-даррелово поношение адмирала Нельсона, и мы подивились заново открываемому перед нами жанру. Ни на Голиафа, ни на Полифема, ни тем паче на маршала Жукова (сухопутный вариант Нельсона) никто, разумеется, пойти не решился. Разве что Волохонский полыхнул спичечной вспышкой негодования и приложил её к общему нашему приятелю:

Германцев, ты за что меня хулишь?
Германцев, ты об этом пожалеешь!

А тому и жалеть-то было не о чем. Между тем, рядом с нами тайно рождалась великая книга о ГУЛАГе с таким зарядом правды, что легионерская поступь государства о неё споткнулась. Полифем засеменил, замахал руками и в конце концов рухнул, развалившись на части. Но то было позднее.

Вернувшийся из архангельской ссылки Иосиф в числе своих литературных сюжетов принялся и за меня. А поскольку я написал «Новые диалоги доктора Фауста», он вдарил по первоисточнику: «Их бин антифашист и антифауст» и далее в том же макароническом стиле прошёлся, пародируя Гёте.

«Искусство есть искусство, есть искусство».
Какая мысль! Какая бездна вкуса.
Немедленно внести её в анналы.
И вывести чрез нижние каналы… —

здесь уже я цитирую свой ответ на его нападение, в котором привожу ту пародию. Забавная штука поэзия: палимпсест, да и только.

В пору своих метаний Марина, она же Марианна Павловна, сказала мне:

– У Жозефа есть теперь новый принцип в стихах. Он называет его «ярость».

Чуждое ей словцо, произнесённое её губами-устами, её нежным шелестящим говором, взорвало меня.

– «Ярость»! Она же ослепляет. Это же – неистовство. Нет, моим принципом будет истовость. Истовость!

Какие результаты приносит новый принцип Иосифа, я долгое время не мог узнать: только намёки, только сочувственные взгляды знакомых. Марина ни на какие расспросы разъяснений не давала: «не помню, не знаю», и всё. Сказала лишь название стихов – «Феликс». Почему именно так? Во-первых, по-латыни это значит «счастливец». А во-вторых, так звали Дзержинского. Наконец, появился у меня друг «Германцев», восполняя возникший, сознательно или случайно, многомесячный перерыв в наших общеньях, пришедшийся как раз на разгар нашего конфликта с Бродским. Он сказал:

– Хочу тебя предупредить. Или – просто сообщить, что Иосиф написал стихотворение и, кажется, не одно, которое он адресует тебе. Очень, очень отрицательное…

– Я догадываюсь, но ничего толком не знаю. Пожалуйста, достань, дай мне его прочитать! Пойми, мне необходимо знать, что делается за моей спиной…

– Понимаю. Но текста уже не существует. Мне вчера удалось убедить Иосифа, что эти стихи действуют не в его интересах. Точней – против него же. Он при мне порвал оригинал.

– Да, чтоб какой-нибудь Б. Б. собрал, благоговейно расправил и склеил клочки воедино?

Германцев лишь воздел глаза к потолку, но так, или

приблизительно так оно и было: текст сохранился. И вот наконец я эти стихи увидел. Иосиф уже уехал, и со времени их написания прошло, наверное, лет десять. Владимир Марамзин предпринял тогда амбициозную затею выпустить в самиздате «Полное академическое собрание стихотворений Бродского». В пяти томах. С вариантами и разночтениями. С комментариями. Самым смелым здесь было словцо «академическое» и, конечно, коммерческий размах предприятия, которое оплачивалось солидной подпиской.

Я тогда только что въехал в образовавшуюся у меня в результате семейного обмена комнату в коммуналке на Петроградской стороне, рядом с «домом Горького». Как раз между этим и моим домами обитал бывший ихтиолог Женя Егельский, которого я встречал в компании литераторов-универсантов выпуска Арьева и Чирскова, – среди них бывал и Довлатов. Их приятель Егельский, семьянин, любитель коньячка и заменяющих его средств – от настойки календулы до стихов Бродского – оказался моим добрым соседом. Вот он-то и принёс мне машинописные коленкоровые тома драгоценного издания, на которое он подписался в пай с кем-то ещё. Я прочёл стихотворение «Феликс», и кровь застарелого негодования бросилась мне в голову. Нет, я не то чтобы «узнал себя и ужаснулся» – вот именно что наоборот: ничего похожего, и более того – такие пошлые гадости, которые мне и в ум-то не приходили, а в его опыте, возможно, существовали. Ну, например, стакан, который его антигерой прикладывает к стенке, чтобы лучше услышать звуки совершающегося по соседству соития. Отражённо почувствовав прилив той самой ранее упомянутой «ярости», я стал набрасывать ответ «Счастливцев – Несчастливцеву» с подзаголовком «Анти-Феликс»:

Десятилетие ко мне ползущий,
твой пасквиль я прочёл. Теперь послушай.

И дальше – по пунктам. Разумеется, я не стал широко пускать эти стихи, показал лишь тем из общих знакомых, кто мог быть подвержен действию изначального атакующего текста, прежде всех – Егельскому. Я даже передал ему экземпляр для Марамзина с предложением, чтобы тот учёл мою «кумулятивность» и принял к сведению способность к самозащите. Это, кажется, было усвоено.

Но Германцев оказался прав: Бродский одним этим текстом не ограничился, и толкователи «академического» издания то казали перстом в мою сторону, то тыкали другим ещё куда-то

внутрь тома. Ну и что? Пусть их, пройдёт и забудется – напрашивается разумное замечание. Но наступила пора исследователей, копающих глубоко, – чьи выводы, однако, бывают плоски. С другой стороны, и друзья не упускают случая подчеркнуть какую-нибудь питательную цитату. Вот что писал мне Давид из города Провиденс, штат Род-Айленд, в октябре 1997 года:

> Дима, дорогой, я знал эти стихи с момента их публикации. Я не хотел тебя огорчать. Но ни один из его и твоих братьев по сиротству не то чтобы не ответил ему или оскорбился за тебя, они продолжали кормиться из его рук. А ты их славил. Может, и теперь не надо было тебе показывать эти стихи. Он не был евреем и не был христианином. Он был дьяволом, и потому – гением. Я не двусмысленен. Я только вижу в нём гения и скорблю.
>
> Твой любящий друг, которого ты никогда не понимал.

Я ему тогда же ответил:

> Милый Додя, спасибо за дружеские чувства. Спасибо также за указание на враждебный намёк, направленный против меня. Ставлю его в разряд многих и порой очень практических выпадов, к которым я почти привык. Когда я узнаю о подобных вещах, я стараюсь выработать противоядие и затем принять свои меры. Я ведь человек с пером, с этим надо считаться. Где-то в последние годы Иосифа (и думая о конце своих лет) я печатно попросил у него прощения и простил ему сам. Также и Толю, и Женю. Как можно было предугадать, Иосиф это проигнорировал.
>
> Да, известная сцена из «Фауста» в ранней жизни Иосифа вполне могла быть разыграна. Но «гениальность» Бродского могу признать лишь условно – отнеся её к тому же типу, что и «гениальность» Брюсова: бриллианты, оказывающиеся углями.
>
> Присутствовавший на «венецианской инсталляции» Германцев подвергся пинкам Женечки и Сашечки. Под впечатлением этого он позвонил мне (из Москвы!) и сказал, что он почувствовал, как трудно быть мной. Я думаю, трудно быть собой – каждому, поскольку, пока жив, не знаешь, кто ты есть в окончательном смысле.
>
> Будь счастлив и здоров.

Давидов сын тоже пошёл по литературной стезе и стал славистом. Его заинтересовала эта конфликтная тема из хронологического и географического далека, и он сделал доклад на ежегодной встрече Ассоциации американских славистов. Там он дерзко сопоставил произведение Бродского «Похороны Бобо» (а Бродский ведь ни с кем не сопоставим!) с циклом моих «Траурных октав», уверяя, что и то и другое адресовано памяти Ахматовой. Ну, «Октавы» – это точно, этого и подтверждать незачем, но из сопоставления выходит, что Ахматова для Бродского и есть «Бобо». Какой ужас! Я бросился спасать молодого человека, прежде чем он вздумает переделать доклад в статью и где-нибудь её напечатать:

> Милый Максим! Спасибо за тёплое письмо и за учёную, умную статью. Есть с чем поздравить автора: материал совершенно новый, и его много. К тому же научное внимание для меня непривычно и интересно. Вообще по моей части всё в порядке – «Тр. Октавы» проанализированы весьма тщательно: и по форме, и по содержанию. Непонятно лишь одно толкование, касающееся стихов Бродского: неужели «Бобо» – это Ахматова? Как же он мог дать ей такую собачью кличку? Неужели в таком гаерском тоне можно писать о смерти великой поэтессы, дарившей его при жизни своим вниманием и участием, посвятившей ему, наконец, великолепные стихи? Кем надо быть, чтобы по ней проливать шутовские «сырные» слёзы? Или писать о ней в строку с какими-то «Кики или Заза», напоминающими прозвища жеманных кокоток? Нет, Максим, не верю. Здесь не может быть Ахматова, дело в другом. Рискну предложить Вам моё понимание – слишком, может быть, личное, но более правдоподобное. Вы, вероятно, слышали, что мы были с Иосифом не только литературными соперниками. Также в то время любителями интересных слухов распространялось повсюду, что некая особа, увы, никак не могла остановить свой выбор на одном из нас. Однажды я решил, что это – всё, баста, и один из её уходов посчитал последним. Вероятно, Бродский торжествовал, узнав, что соперник устранился, или, выражаясь иронически, «бобик сдох». Не надо обладать особенным воображением, чтобы вывести бобика из моей фамилии. А чтоб звучало ещё обидней – Бобо, к тому же женского рода. Однако «шапки не долой», то есть торжество не

полное. Во-первых, всё-таки жив, а во-вторых пишет, и пишет интересно – например, сращивая свой текст с текстом Пушкина. Значит, надо прочесть назидание: негоже, мол, прокалывать бабочек адмиралтейской иглой. А главное – надо высмеять, то есть магически превратить соперника в жалкий объект и затем убить его словесно. Тут-то и появляется «новый Дант», который ставит своё заключительное «слово». Но какое и как? Конечно, так, чтобы рифмовалось, то есть – «херово».

И Вы, Максим, продолжаете думать, что всё это – о похоронах Ахматовой? Лучше уж я сам окажусь мишенью насмешек, чем подставлять её имя. Впрочем, я не хотел бы делать это объектом новых научных изысканий.

Увы, письмо это не было принято ко вниманию, и статья появилась в одном из «Славянских обозрений».

Возвращаясь к тем временам, когда шла вторая, литературная фаза нашей распри с Иосифом, я замечал, что он не только стремится прочь из культуры, его породившей, но порой даже атакует её. Поздней я говорил об этом публично. В январе 1988 года отмечалось семидесятилетие Солженицына. Коллекционер и общественный активист Александр Глезер собрал довольно большой форум в нью-йоркском Хантер-колледже и пригласил меня. В своём докладе я сделал сопоставление, которое уже давно просилось быть высказанным.

ДВА ЛАУРЕАТА

1970 – 1987: семнадцать лет, целая литературная эпоха разделяет эти два русских нобеля, два лауреатства, столь непохожие между собой. Проза и поэзия как бы поменялись местами. Окажись оба в одном измерении, напористый идеализм прозаика встретил бы скептический отпор поэта – настолько они разны. А ведь, кажется, и пространство у них одно, российско-американское, мировое, да и время то же, что у нас, их скромных читателей и современников. И хотя «технически» наши лауреаты принадлежат к разным поколениям, все геройства, злодейства и затяжные мерзости эпохи стали для каждого из них персональным опытом.

Даже война, которую один встретил воином, а другой младенцем, могла оказаться убийственной для обоих – душевные травмы, как известно, бывают тем глубже и болезненней, чем нежнее возраст. Да и младенцы в войну мрут почти столь же часто, что и новобранцы…

Был и ГУЛАГ у обоих, и тоже, по их соответствию, разный.

Однако я хотел бы сравнить не творческие биографии, а лишь литературные репутации, то есть сопоставить два умозримых памятника, которые уже существуют, вылепленные и отлитые, во мнениях неравнодушных современников.

Конечно, у каждого писателя есть свой читательский круг (что – трюизм), и не обязательно кругам этим совпадать или пересекаться. Так, в сущности, и бывает, но только не в этих двух случаях, которые переросли из событий литературных в жизненные и общественные события, захватившие разом все читательские, и даже не читательские круги. Одним важней текст, другим – судьба, и не так-то легко отделить одно от другого. Часто именно внелитературные обстоятельств влияют сильней всего на восприятие – как, например, романтическая дуэль Пушкина, открывающая сочувствующие сердца юношества ещё, собственно, до сознательного прочтения стихотворных строк. Эту мысль очень точно, хотя и несколько картинно выразил в нобелевской речи Альбер Камю, сравнивший писателя с гладиатором на арене, от которого публика требует крови.

Действительно, если не буквально крови, то, можно предположить, пота и слёз пролил лауреат-прозаик достаточно, чтобы защитить от посягательств властей свой труд, и жизнь, и личное достоинство и, главное, чтобы стать и оставаться голосом миллионов замученных душ, причём после премии ещё более громогласным, чем до неё. Его вызов чудовищу непомерно

сконцентрированной власти, вызов смелый, праведный и почти одинокий заставил всех нас, затаив дыхание, следить за перипетиями той заведомо неравной борьбы.

Необычно и его нобелевское лауреатство. Ведь чаще всего эта премия оказывается пышным надгробием для осчастливленных авторов, после чего они просто тонут в лаврах. В его случае премия пришла вовремя, в самый разгар поединка. Тексты – само собой, но на уровне простых символов важнее, чтобы добро победило зло. При этом силы добра, конечно, персонифицировались в героической личности автора.

К тому времени масштабы его писательской мысли раздвинулись и вширь, и вглубь: уже не только трагедийный *архипелаг,* но весь катастрофический *материк* русской новой истории стал темой и содержанием грандиозного замысла романиста. Тем не менее (и здесь-то начинается непонятное) в западной и эмигрантской прессе прокатился какой-то холодок, как от хорошей сплетни, чувства заметно смешались, стали противоречивыми. Прозаик-лауреат начал впадать в немилость если не к читателям, то к некоторому, всё умножающемуся числу критиков. В мировой публицистике наметились попытки дегероизации писателя, едва ли не скоординированная кампания, сходная с волной клеветы, обрушившейся на него в советской прессе десятилетием раньше.

Параллельно этому (или даже в связи с этим) происходило стремительное восхождение другого нашего лауреата, поэта, к высшим литературным почестям. С ранних шестидесятых всё ему споспешествовало: он вошёл в узкий кружок независимых интеллектуалов, где взыскал, да и снискал себе репутацию будущего гения, его представили Анне Ахматовой, даже гонения обернулись ему в конечном счёте на пользу, а вступление к книге его стихов, изданной на Западе, начиналось с немыслимо выспренней фразы о том, что он «впервые возводит русскую поэзию в сан мировой». Если в этом странном утверждении был какой-то толк, он заключался лишь в том, что поэт действительно лез из своего языка и культуры, как из кожи. Его ранние поэмы имели местом действия некий общеевропейский ландшафт. Да и в дальнейшем, если освободить «космополитизм» от советского осмысления, именно это свойство всё больше стало определять манеру и лексику поэта: латинские названия и эпиграфы, английские посвящения и заимствования стали ему присущи и характерны.

И язык поэм стал всё более отходить от слова – к фразе, строфе, периоду…

У лауреата-прозаика, наоборот, слог становится всё

«узловатей», каждое важное слово он делает наиболее русским, даже областным «по Далю», что полностью соответствует его замыслу, сосредоточенному на узловых моментах русской культуры и истории, а также на его симпатии к земским формам народной жизни. Соответственно с этим, западная либеральная и русскоязычная эмигрантская пресса усиливают нападки на писателя: «монархист», «враг демократии», «русский аятолла», «антисемит».

В полную противоположность прозаику, поэт в лучшем случае равнодушен, а то и саркастичен по отношению к русским культурным ценностям и даже святыням: князья-великомученики Борис и Глеб у него «в морду просют», или «хочут», уж не помню, как там точно... В прессе по этому поводу ему не было высказано ни упрёка – он был вообще вне критики. Всё же некоторые моменты шокируют даже самых горячих поклонников поэта, как, например, Льва Лосева, который попытался задним числом сгладить, чуть ли не влезая в черновики, замазать слишком уродливую строчку, например, в описании отечественной вечеринки, заменив «кучу» на «кучера». Представленный публике через отзыв поэта-лауреата о нём, Лосев оказался тем критиком, который разом высказывался о двух русских живых памятниках. Поэтому его суждения можно взять за «общее измерение» для этих, иначе никак не пересекающихся, фигур. Он издаёт ряд статей о творчестве увенчанного лаврами стихотворца, редактирует целый сборник исследований на эту тему. Но даже если Лосев-критик пишет о чём-то другом, то любая тема оказывается для него предлогом, чтобы послать комплимент поэту.

Не исключением в этом смысле было и его исследование о лауреате-прозаике, названное, по-видимому, с иронией: «Великолепное будущее России». Напечатанное в виде статьи в «Континенте» в 1984 году и вскоре транслировавшееся по радио «Свобода», это эссе вызвало целую бурю в различных инстанциях. Дело в том, что по виду оно являло литературоведческий разбор одного из главных эпизодов исторической эпопеи прозаика, а по сути имело совсем иные, публицистические цели, что совершенно ясно становится видно из логики статьи, а также из полунасмешек её обрамления.

Сам замысел романа ставится тут под сомнение, снижается ухмылкой над тем, что «грандиозность проекта вызывает комические протесты у студентов и преподавателей...» На это же снижение работает и эпиграф из «Мёртвых душ» о колесе дрянной чичиковской брички, явно выбранный по аналогии с «Колесом» эпопеи. Поэтому читатель уже подготовлен, когда критик берёт

один из важнейших эпизодов романа (но всё же не единственный и не центральный) и ставит его в самый центр романа: убийство русского премьер-министра Столыпина евреем-террористом Богровым. Учитывая мнение писателя (а критик с ним по-своему согласен), что вместе со Столыпиным были убиты тогда и великие реформы, и «великолепное будущее России», можно понять, что Лосев навязывает повествователю некий композиционный намёк: смотрите, мол, кто погубил Россию! Но критик осторожничает и не хочет сам тыкать в великого писателя. Для этого достаточно сослаться на соответствующие страницы других экспертов-обвинителей. Если не лениться их полистать, можно прочесть такое: «Писатель поступает как заправский советский журналист, что выкуривает с наслаждением жида из благопристойно звучащего русского имени». И даже ещё похлеще. Лосев же, наоборот, пытается из прозаика «выкурить антисемита», для чего он, переставив композиционные акценты, обостряет еврейскую тему. Однако этого мало: он хочет показать «зоологический» антисемитизм прозаика, – тогда читатель сам сможет ткнуть в него пальцем.

И он приступает к этому занятию: выстраивает столбцы эпитетов, сравнивает описания жертвы и убийцы, сопоставляет и – к чему же он клонит? Как заметил Жорж Нива, известный швейцарский славист, «…Речь идёт о мифологеме змеи: молодой еврей-убийца уподобляется – через размышление о змее – Сатане… Вот, по Лосеву, ещё одно свидетельство мифологемы змеи: он извивается!» Спрашивается: а чему же ещё уподобить терроризм, это зло в чистом виде, как не библейской змее, «в пяту жалящей»? Нет, Лосев уверяет нас, что этот Змий заимствован прозаиком из «Протоколов Сионских мудрецов»!

Так и представляешь сцену: писатель клянётся в верности фактам, положив руку на Библию, а критик выхватывает из-под руки клянущегося Книгу книг и подсовывает вместо неё «Протоколы».

Итак, логика рассуждений этого критика пытается привести нас на самый порог довольно гнусного вывода о великом писателе, в то время как стиль и слог статьи маскируют это намерение побочными рассуждениями и даже рассеянными комплиментами, однако – какими? Да, в одном месте Лосеву понравилась фраза из романа, но он тут же эту похвалу отнимает у прозаика и передаёт своему любимцу-поэту, у которого сходная фраза была, кажется, лучше (или раньше)…

И всё-таки, даже в контексте других нападок на писателя – откровенных, оголтелых – эта попытка Лосева кажется настолько опасной из-за её коварства, что хочется ещё и ещё проверить себя

по другому источнику: нет ли тут ошибки, так ли уж предубеждён этот ядовитый критик против писателя?

Увы, в других сочинениях «нового Вяземского», как его рекомендовал поэт-лауреат, любивший сравнивать своё окружение с пушкинским, неприязнь выражена ещё резче. Вот, например, стихотворение «Один день Льва Владимировича», – не правда ли, это название чем-то нам знакомо? Мы читаем:

...За окном Вермонт...
Какую ни увидишь там обитель:
в одной укрылся нелюдимый дед,
он в бороду толстовскую одет
и в сталинский полувоенный китель.

Здесь уже, что ни слово, то деталь злой карикатуры на знаменитого «вермонтского отшельника», изображённого как гибрид Толстого и Сталина с накладной бородой... Что ж, Лосев-стихотворец выражается вполне откровенно, а вот Лосев-критик, адресуясь к «не-читающим» кругам публики, как мне кажется, перемудрил. Отсюда и скандал на радио «Свобода», когда в результате его самого обвинили в антисемитизме, что, конечно, нелепо. Как выразился по этому поводу мой давний друг, хорошо знакомый с кухней пропагандных заведений: «Своя своих не познаша...»

В конечном счёте, нельзя не задать этот горький вопрос: почему? Отчего с таким остервенением критики набрасываются на прозаика-гиганта? Не действует ли здесь, по Крылову, комплекс маленькой и очень злой собачонки? Возможно и это... Но главное в чём-то другом. Любопытно, что многие обвинения против писателя строятся вокруг такого вопроса, как его национализм, хотя он себя националистом и не провозглашал. Само это понятие трактуется настолько широко, что границы его определения расплываются.

Тем больше неразберихи в оценке различных национализмов: например, так ли уж великолепен польский национализм? А эстонский, латышский, литовский? Существует ли национализм еврейский, а также хорош ли украинский, и чем плох русский? И почему за одним народом он признаётся, а другому отказан?

На эти вопросы трудно ответить, хотя чувство подсказывает простую аналогию между достоинством национально-культурным и личным. Иначе говоря, всяк может уважать себя, но только не за счёт унижения других. Если принять это немудрёное правило, то сколько же отпадёт напраслин, обид, желчи, и в особенности пенно кипящего публицистического гнева!

Итак, у нас есть два лауреата, и оба принадлежат как русской литературе, так и советской эмиграции… Однажды Гёте, говоря с Эккерманом о Шиллере, заметил, что в пору его молодой славы Германия разделилась на две, чуть не до драки враждебные, партии: одна за Шиллера, а другая за него, Гёте, – «вместо того чтобы радоваться, что у Германии есть разом два таких молодца, как мы оба».

Не следует ли нам прислушаться к словам великого немца, или же и его следует препарировать по национальному признаку?

РАНЕНОЕ ИМЯ

На моей левой руке, на том месте, где отслужившие на флоте, а порой и вполне сухопутные романтики моря обычно выкалывают голубой якорёк, до сих пор виден тонкий прямой шрам. Нет, это не след от выведенной татуировки, – не настолько я безрассуден, чтобы расписывать глупостями свою шкуру, но происхождение этот шрам имеет действительно романтическое, а следовательно, без любовной истории здесь не обойтись. Однако прежде чем назвать героиню моего затянувшегося на года приключения, я должен оговориться. Её имя – вот в чём загвоздка. Я и хочу, и не могу её назвать по имени, потому что в пору нашей близости я-то был свободен, а она вела, по крайней мере, двойную жизнь, восхитительно ловко улаживая все сложности и деля себя между работой, детьми, среднеарифметическим мужем, домашним хозяйством и влюблённым в неё по уши воздыхателем, то есть мною. Ничего не путала, всё помнила, никогда не торопилась и всюду успевала. Мясник, например, через головы толпящихся протягивал ей свёрток с вырезкой и коротко бросал:

– Столько-то в кассу!

Дело в том, что была она ослепительна, и не только для мужского взгляда, а как бы объективно, в сравнении с неким эталоном красоты, который, конечно, совершенно объективным быть не может. Для меня, например, таковой осталась на всю жизнь наша негласная «Мисс Техноложка» Вава Френкель, и, платя ей, целиком оставшейся в той поре, дань восхищения, я, пожалуй, займу у неё не совсем обычное имя для своей героини с непременной оговоркой, что она ею никак не является, но лишь подобна.

«Виктория, Ва-ва», – произношу я по слогам, и в моём сердце, сердце литератора открывается сладкая ранка, вместе томящая и утоляющая. Полное имя выражает собой мнимую неприступность и притом победительность моей недотроги, в то время как детская кличка в точности повторяет рисунок её губ, обращённых ко мне при встрече. Имя – это её законченная эмблема, это и есть её облик, сильный и нежный, в котором нет ни грана пошлости, как, например, у того литературного гурмана и сладострастника, кого вы сейчас вспомнили.

И – даже более. Когда я поджидал её с работы, а служила она в одном из учебных заведений за Александро-Невской лаврой, то, томясь на троллейбусной остановке среди окраинной унылости и запущенности, я вдруг поразился контрасту этого безобразного фона с нею самой, вдруг появившейся, как «соименница зари».

Нет, не зари, а именно Вавы, до боли разъедающей меня, как, может быть, душа – осчастливленное ею тело. И не только меня. Вышла – и прямо полыхнула красой по этим заборам, виадукам, складским сараям.

* * *

Мы садились в троллейбус, уже изрядно набитый рабочими и служивой публикой, и, довольно скоро миновав индустриальные пейзажи, широкой дугой огибали некрополь и лавру, где рядом чернела полыньями Нева, да и выкатывали на скучноватую в тех местах перспективу Старо-Невского. Притиснутые толпой друг к другу, мы разделяли между собой эту полуневинную близость: я – пожирая глазами предмет моих вожделений, она – позволяя себя пожирать. В этом чаще всего и состояли наши свидания, но иногда мы выходили там, где Суворовский проспект с одной из Советско-Рождественских улиц образует косой угол на переломе Старо-Невского в Невский. В том месте, как раз на углу, стояла двухэтажная стекляшка, которую мы облюбовали для наших бестелесных общений.

Вечерами в кафешке, по слухам, собирались наркоманы и клиентура с Московского вокзала, но в дневные часы это было вполне гигиенически опрятное заведение. Надо сказать, даже днём на паву мою здорово пялились, и пока я брал у стойки мороженое или шампанское, она успевала отшить двух-трёх непрошеных кавалеров. Да я и сам приступал к ней настойчиво:

– Ну пойдём же ко мне!

Но, честно говоря, идти было некуда. Я, правда, старался заманить её ближе к родовой Тавриге и даже уговорил однажды зайти в мой кубометр. Но открывшая нам Фенечка с первого взгляда всю ситуацию прочла и, надувшись, своё отношение к даме выказала с помощью кастрюльных бряков. Гостья, даже не сняв шубку, развернулась, и мы ушли.

Но пора уже рассказать и предысторию. К тому времени стаж нашего знакомства был довольно продолжительным. Ухаживать за ней, ещё незамужней, я начал давно, причём настойчиво и всерьёз. Увы, именно это её тогда не устроило, она вышла за своего среднематематического и родила двух детей. Я утешился, но мой первый брак вскоре развалился, а второй не состоялся, и, следуя своей «теории красивых женщин», о которой я, может быть, ещё расскажу, я позванивал иногда этой, из них несомненнейшей. Расспрашивал. Рассказывал о себе. Вздыхал. И вдруг получил от неё звонок:

– Что ты сейчас делаешь? Если хочешь – можешь зайти.

Час был поздний, дети уже спали. Муж на военных сборах, в отлучке. Ну, решайся же, кабальеро, иначе зачем ты был зван? Но она капризничает, что-то ей не нравится, чем-то она недовольна: собой, мной, стремительностью событий? Что ж тогда было звонить? Об этом я и спрашиваю с досадой.

– Ах, я себя чувствую такой дрянью…

– Поцелуй же меня, дрянь.

Тот вкус я буду помнить с благоговением до конца дней. А тогда мне было его недостаточно, началась возня.

– Ты всё теперь испортил. Уйди.

С тяжёлым чувством непоправимого проигрыша я ушёл. Томился. Злился на себя, на неё. Пытался выбросить всё из головы. Но на губах остался вкус райского яблочка. И вот – звонит опять, голос – чуть со вздрогом, а тембр наполнен уверенной нежностью, силой:

– Эй, как ты? Можешь сегодня встретить меня у работы!

И начались наши лирико-эпические шляния по городу, который, собственно говоря, полновесно участвовал в них сам-третей, но не лишний, дразня и отталкивая закоулками лестниц, изгибами каналов, проходными дворами и порой убогим уютом стекляшки на углу Суворовского и Первой. Разумеется, какая-либо телесная разнузданность между нами была исключена, но доставались мне время от времени знаки её нежности, срывался иногда поцелуй, грозящий разразиться сценою у фонтана или же у балкона, но тут же ею бывал остановлен.

В этом смысле многочисленные ленинградские музеи были спасительным убежищем для бродячих любовников, особенно в ненастную пору. Впрочем, мы были разборчивы: идеологическая и связанная с ней военно-патриотическая тематика нам не подходила. Ни на борт крейсера «Аврора», ни в особняк Кшесинской, где был Музей Революции, мы – ни ногой, а вот в Летний дворец Петра зайти было можно. Даже музей почвоведения имени Докучаева между Биржей и Пушкинским домом годился в качестве укрывища, чтобы переждать заряд мокрого снега. Но настоящими заповедниками для наших прогулок, конечно, были почти бесплатные тогда Зимний дворец и Эрмитаж. Километры и километры озлащённых, омраморенных, малахитовых и златотканых залов стлали перед нами улицы и площади своих узорных паркетов. В окнах открывались прославленнейшие виды, на которые из дворцового тепла можно было глядеть, не дрожа от холода.

Конечно, я и прежде бывал здесь в лирических путешествиях и, натолкнувшись на какой-либо знакомый шедевр, испытывал

укол ностальгии, нанесённый мне из прошлого. Смущаясь, я обходил стороной укоряющие меня картины или скульптуры, но тени былых переживаний растворялись в наступившем «сейчас», которым распоряжалась она, та, которую я почему-то не хочу называть даже её заёмным именем Вава. Соименница Вавы.

Даже в современном облике она была не чужда дворцовому стилю, но избегала наиболее посещаемых залов, опасаясь, возможно, кем-то быть узнанной. Мы заходили в римские и греческие интерьеры первого этажа, уставленные бюстами и чернофигурными вазами, и мне казалось, что стати моей подруги и Венеры Таврической столь схожи, что последняя представлялась её каменной тавтологией. Другое дело – узкие, как пирамидальные коридоры, зальцы Древнего Египта, где я не бывал со времён школьных экскурсий. Фигура сидящей царицы из чёрного базальта со львиной головой прикрыла нас на мгновение от наблюдательных сторожих. Спасибо, Ваше фараонское величество! Из таких мгновений и состояли наши экскурсии. Вот мы у мраморного медальона ещё одной Афродиты – на этот раз ренессансной, французской. Или – во дворцовой церкви, где выставлены камеи и мелкая пластика из фарфора и фаянса. На всё это, как и на нас самих, вдруг брызжет солнце сквозь верхние окна из разорвавшихся где то над нами балтийских туч. Позолота убранства, в этот миг совсем не излишняя, вызывает счастливое, до слёз, ослепленье.

А вот мы стоим перед «Амуром и Психеей» Кановы, куда её тянуло больше и чаще всего. Белый почти до свечения мрамор. Сверхискусное изображение тел, сияющая их нагота. Наверное, даже слишком балетное изящество поз и пропорций. Прежде я этот ренессансный китч за версту обходил. Но сейчас она говорит:

– Смотри!

И я вижу: душа. Действительно, Психея. Тонкие до полупрозрачности пальцы любовного бога держат нечто ещё более хрупкое: бабочку, тоже из мрамора. Душа, или душенька, или же Псиша, нежнейше склонилась над своей эфемерной эмблемой. И я изменил прежним заветам. Хватит. Красивое – это и есть красота.

БОЛЬШИЕ МАНЁВРЫ

И вдруг наше паломничество по афродитам и амурам насильственным образом прервалось: меня вызвали в военкомат. То, что я посещал военную кафедру в институтские годы, даже во время академического отпуска, дало свой результат, меня выпустили, присвоив звание офицера запаса, освободив таким образом от солдатчины. Это лишь изредка обременяло «переподготовкой», от которой несложно было и отлынивать. Но не в этот раз! Мне дали два часа на сборы, пригрозили на всякий случай серьёзными неприятностями за уклонение от исполнения «священного долга», да и отправили на общевойсковые манёвры. Пусть игрушечная, но война, и вместе с тёплыми носками и бритвенным прибором я бросил в сумку «Илиаду» в переводе – кого ж? – Гнедича, конечно, справедливо полагая, что и на войне могут случиться периоды ожидания и скуки, когда уместно будет стряхнуть пыль со старика Гомера. Учения назывались «Двина», а которая из двух Двин, имеющихся на карте, это мало кто знал на отдалённой платформе Московского вокзала, где стояли толпой такие же, как я, отловленные недобровольцы. Кто-то читал в газете, что «Двина» эта – Западная, но когда подали поезд и все рассовались по бесплацкартным местам, выяснилось, что мы едем как раз на Север. Не на Северную Двину, однако, а ещё дальше к полярному кругу, на Кольский полуостров, а именно – в Колу. Должно быть, весьма многоумно с точки зрения стратегической было замыслено наше передвижение.

Клочья ни городского, ни сельского, а именно железнодорожного пейзажа отбрасывались назад. Столбы, будка, мелколесье, заснеженное болотце, снова столбы, мост. Спать, спать, не считать же столбы! А зачем я взял с собой «Илиаду»? Забавно было читать эти великие гекзаметры, подскакивающие на каждом стыке рельс и оттого образующие непредусмотренные цезуры и спондеи. Я стал помогать себе, произнося их вполголоса, и тут они точно сели в размер колеи и воистину заговорили. Ахейские генералы собачились высокопарно по поводу полонённых особей женского полу и дележа прочей добычи. Повелитель мужей Агамемнон явно злоупотребил положением главнокомандующего; теперь Ахиллес богоравный его шантажировал, то грозя дезертировать со своим войском, обнажив ему фланг, то напуская на него походного прорицателя. На провокацию повелитель мужей не пошёл, хотя озлился ужасно, поносил богоравного так и эдак и позорил всячески. Всё ж пришлось ему согласиться на передел, хотя и частичный.

Компромисс многомудрый достигнув.

Кто-то придумал слащаво, что гениальный слепец свои ритмы подслушал у плеска эгейских волн. Цезуру это как-то объясняет, не спорю, но спондеи? Их можно услышать скорей в перестуках и перелязгах колёс по рельсовым стыкам, в скрипах и скрежетах буферов на разъездах.

Между тем вот и Мурманск. Буро-заснеженные сопки, силикатного кирпича многоэтажки, чернота Баренцева моря и траулеры у пирса. И – круглая, как земной шар, туча с пятиминутным зарядом мокрого снега, залепляющим этот вид.

В самой Коле и того нет: сопки да заборы. За один из них и поместили прибывших. Тут мне предстала армейская структура во всей наглядности. Ну, иерархия – это понятное следствие единоначалия. Но какая к тому же сословность, даже кастовость: белая кость и чёрная, баре и крепостные, даром что все тебе товарищи, и товарищ генерал в первую голову. Сдали мы одежду, в обмен получили: офицеры – стёганные на вате штаны и овчинные полушубки, солдаты – шинельки, но все – без погон. Назначен был непосредственный начальник – строевой капитан, глядевший на беспогонных «офицеров» с холодным презреньем. Солдат увели в работы, господа офицеры остались играть в солдатики. Набравши в грудь воздуху, заходили в палатку, наполненную якобы отравляющим газом, где, не дыша, должны были натянуть противогаз и сделать несколько приседаний. Потом заведены были в шатёр, пахнувший резиновым клеем и морозом, где получили под расписку личное оружие: пистолет Макарова в портупее. Пока назначались стрельбы, один из господ офицеров забился в падучей. На лицах у сгрудившихся с болезненным любопытством был написан один вопрос: не симулянт ли? Нет, пена во рту мелко пузырилась, заведённые под лоб глаза зияли белками. Наконец, отвели его куда-то под руки. Оружие велели чистить и сдавать: завтра в поход, а на теперь назначен был смотр и присяга.

Долго стояли, переминаясь на морозе. Тут, в лучших традициях отечественной прозы, вдоль строя протрепетало: «генерал, генерал», и вышел некто плотный, самодовольный и самоуверенный, в привычной для него обстановке. Боевые задачи, понимаете ли, передислокация и дисциплина, дисциплина, дисциплина. Использовать только по назначению. Строжайше! Ткнул:

– Рядовой! Что у вас во фляге?

Взял, отвинтил крышку, понюхал, отшатнулся. Отведя руку, вылил содержимое в снег. Строй сочувственно охнул. Как это он так угадал?

После таких сокрушительных впечатлений всего несколько часов душного вповалку сна, и – подъём! Торопили, вывели в темноте к железнодорожным путям, а теперь вот стой в строю при крепчайшем морозе. Кругозор непроницаем, заперт с боков сопками, слабые фонари лишь усиливают тёмные нагроможденья, а над головой – запрокинутая глубина, воистину ломоносовская бездна, полная звезд. Обе Медведицы прямо под куполом, Полярная чуть не в зените, вся звёздная карта неузнаваемо развёрнута из-за близости полюса. Млечный Путь, как никогда контрастно яркий, пересекает прозрачную черноту от одной кромки сопок до другой, но я отыскиваю в нём горсть Плеяд и стараюсь пересчитать их: семь или девять? От мороза набегает слеза, созвездьице мерцает и расплывается. Гигантская судорога вдруг, засветясь, пробежала по бедру Андромеды к перевёрнутой вместе с троном Кассиопее, исчезла, дёрнулась снова, повисла по бокам кисеями, завесила на миг Ориона, препоясанного трёхзвёздно и всю мелко сверкающую свору его Гончих Псов. Вот заходила, загримасничала холодным светом небесная твердь, а земная осталась стоять, как была, и потому от всего спектакля упрочилось чувство несерьёза, небесного капустника, в который пустились играть звёздные боги, цари и чудовища. К тому же, увы, он давался в нецветном варианте. И грудь богини, укушенная младенцем, проливалась Млечным Путём над гаснущим зрелищем.

Был подан состав из дощатых теплушек для нас, военной скотины, да из платформ для тягачей и тяжёлой техники. Что ж, делать нечего, надо лезть внутрь, ведь мы с маршалом Гречко играем в войну. Господа офицеры, прежде чем возлечь на нарах, изловили дневального из солдат и приставили его к печурке подбрасывать угли. И застучали опять железнодорожные гекзаметры. Стал наконец понятен глобальный замысел этих передвижений между двумя Двинами: запутать гипотетического противника, развернуть склады у северных границ и перебросить их к линии манёвров «западного фронта». Ирония судьбы, между тем, состояла в том, что поезд полным ходом приближался к нашему пункту отправки. Замелькали знакомые названия пригородных станций, сквозь отодвинутую створку двери можно было узнать пейзажи окраин. Теперь уже с долгими остановками состав судорожно маневрировал где-то между «Сортировочной» и «Навалочной» уже, собственно, в черте города, вызывая нестерпимую, до ломоты в черепе, тоску по дому. А ведь день-то какой: 8 Марта! И никуда не уйти, – сколько ещё стоять будет этот поезд, наверное, и машинисту неведомо. Стал я туда-сюда рыскать между путей в поисках телефона, а у самого и монетки

нет. Ткнулся в какую-то дверь, там диспетчерская.

– Лапушки и братцы, с Восьмым марта вас всех! Разрешите воспользоваться телефоном земляку и защитнику отечества!

– Вообще-то нельзя, но уж ради такого дня – звоните.

Первым делом – на Таврическую. Мать, всегда такая выдержанная, звучит растерянно: где я, куда, насколько? А я и сам не знаю. С Международным женским днём тебя, мама, и Фенечку, и Танюшу... И сейчас ни казёнщины советского праздника, ни затёртости этих слов я нисколько не чувствую.

Теперь звоню по заветному номеру, помню его наизусть. Муж. Ну, тут официальный праздник как раз кстати, предлог совершенно невинный. Вот и она. Обрадовалась, голос напряжён до звона. И в сердце оттукнулось: ты, ты, ты.

После этого – хоть на край света.

И опять застучало, заскрипело, залязгало, но уже гораздо веселей. В белорусских перелесках начали выгрузку, в воздухе уже витала подтаявшая влага, но сугробы ещё залегали исполинские. Тяжёлая техника их разворотила, начадив соляркой, солнце уже начало ноздреватить снег сверху, но к вечеру всё схватилось ледяной коркой. Господа офицеры старались до темноты установить свой шатёр для ночлега. Увы, бока его морщило, углы торчали косо-криво. А солдаты в свою ладную брезентовую палату, на которую было любо-дорого взглянуть, уже начали затаскивать мешки и раскладушки.

– Молодцы, ребята! – похвалил их откуда-то взявшийся капитан. – Постарались для своих офицеров. Правильно. А теперь ставьте свою палатку. Живо, пока не стемнело!

Вместе с остальными господами я ринулся занимать чужой, уже приготовленный ночлег, мне повезло захватить покойную раскладушку в углу, и через минуту я спал.

Резкий свет фонаря, направленный в лицо, разбудил меня, и сознание всплыло из глубокого сна вместе с запомненным отрывком чужого разговора:

– Может, всё-таки неудобно? Мне бы где-нибудь на мешках, что ли...

– Зачем на мешках? Щас на раскладушке будешь спать, как король.

Не понимая, какое отношение этот разговор имеет ко мне, я открыл глаза.

Всё тот же неумолимый капитан стоял надо мной, а с ним ещё кто-то, тоже в погонах.

– Лейтенант, получаете боевое задание.

Когда я вышел в морозный мрак, на раскладушке, нагретой моим телом, уже кто-то дрых, так что принцип, на коем зиждется

армейская служба, был усвоен мной до потрохов.

Между смутно белеющими сугробами ещё днём были разъезжены глубокие колеи, которые ночью накрепко схватились льдом. Ковыляя и оскальзываясь, идти можно было по одной из них, словно по жёлобу для бобслея, но уступить дорогу, случись какой-нибудь транспорт, вряд ли было возможным. Да никакого транспорта и не случилось, все спали, и только я, проклиная злодея-капитана, тащился, с трудом соображая куда и зачем, зная лишь, что надо мне двигаться, а не то пропаду. Одинокой пульсирующей точкой я продвигался в пространстве, переходя от густой темноты к более разряжённой. Наконец желоба превратились в накатанную поверхность, и я понял, что это дорога, а вдали показался просвет. В сущности, если б не абсурдное ночное время и не раскладушка, угретая для кого-то, моё псевдобоевое задание имело бы видимость смысла: я послан был сопровождать колонну грузовиков, доставляющих якобы боеприпасы к якобы передовой линии фронта.

И я нашёл эту колонну, зачехлённо и без огней стоящую у дороги, нашёл по гулу их работающих на холостом ходу двигателей, притом что водители непробудно спали в кабинах. Пока ходил, хлопая трёхпалой рукавицей по дверкам, дёргал за ручки, пока кто-то, зевая, наконец проснулся, – глядишь, и занялся рассвет, высветил заснеженный склон холма с грудой тёмных изб, откуда, не торопясь, выползло немногочисленное офицерство, ночевавшее там с клопиным, должно быть, комфортом, но и не без стопаря самогона на ужин, на сон грядущий, ныне уже испаряющийся, улетающий в морозный воздух вместе с дизельными выхлопами тягачей. Разобрались со мной, распределились по кабинам, и – в путь!

Разумеется, из высших тактико-стратегических соображений путь был проложен не по большаку, а по лесным и просёлочным дорогам, где на ухабах подбрасывало так, что не то чтоб вздремнуть – голову приходилось беречь от ударов о потолок кабины. А каково было «боеприпасам» в кузове? Так же, наверное, как Иву Монтану, подрядившемуся доставить тонну взрывчатки в увлекательной ленте «Плата за страх», где рядом с водителем покачивался коротко стриженый блондин Питер ван Эйк, точная копия Курта Шедова из главы «Дело Швейгольца», погибшего как в кино, так и в реальности. Вот вам и человекофильм внутри человекотекста! Наша колонна выехала на Витебское шоссе и влилась в поток колёсной и гусеничной техники; движение то и дело начало стопориться, и любопытно было глядеть на движущуюся мешанину железа, людей и снега, отстранясь от неё, хотя бы условно, окошком кабины.

– Больше всего давят регулировщиков, особенно танки, – откомментировал мой водила одну из таких заминок. – Ну, и солдат плющат без счёту при пехотно-танковом наступлении, особенно, если по снегу.

Тут же мы убедились, что и танкистам достаётся неслабо: из проломленного льда у края озера торчала лишь башня танка, корпус был весь под водой, и пара таких же проломов зияла чуть дальше от берега, там уже с головой.

Вот и Витебск мелькнул уже не шагаловым захолустьем, а силикатно-кирпичным, и наконец-то – Двина! Причём Западная, которую надо форсировать по наведённой из понтонов переправе. Шаткое, однако, сооружение, ёрзает под колесом, вода рядом с бортом, водила мой нервничает, но дело своё знает он туго, опытный шоферище, из таксёров, даром что выдернутый, как и я, на эти расперепроклятые игрища.

Всё ж миновали благополучно большую и чёрную воду, и отрегулировали нас опять на просёлок, на ухабный тряс, но тут был уже и конец, в смысле: достижение цели.

Прибыли мы, привезли свой груз и остановились на поле, заставленном сплошь такими же зачехлёнными кузовами вперемешку с цистернами для горюче-смазочных материалов. Уж не знаю, содержали они что-либо горючее или являлись такой же имитацией, как наши боеприпасы, но если бы это было всерьёз, одной какой-нибудь случайной вражеской мины хватило б, чтобы всё это поле лепестком пепла взлетело и долго кружило бы в поднебесье.

Не буду откручивать ленту назад, скажу лишь, что тем же колёсным и рельсовым путём вернулись мы к исходному месту – в Колу, где в обмен на изгвазданные полушубки и ватники получили свои изрядно помятые шапки и польта. И – всё. Манёвры окончены. А как же добраться до дому? Ничего не знаем, никакого приказу не поступало... Пришлось штурмовать плацкартный поезд; оробевшие проводники не смели противостоять оскорблённым в своей правоте безбилетникам, которые в остальном вели себя мирно, продрыхнув на багажных полках весь путь до города-героя.

Но какая-то декоративная виньетка, чувствую я, всё-таки требуется, чтобы завершить это жанровое отступление от моего, в общем и целом, литературо-центрического описания. Это же чувство испытывал, видимо, и военкомат, откуда мне вновь принесли повестку. Первое движение возмущённой души – выбросить её прочь! Второе движение – прочитать, в чём там дело. Оказывается, за моё мученичество мне причитается с них медаль. Правда, юбилейная, с профилем лысого кесаря, – кому

она нужна? Их выдавали тогда поголовно всему начальству с их шестёрками. Но, с другой стороны, моя будет не «За трудовую», а «За воинскую доблесть», а это уже кое-что. Да, но выдавать-то станут на собрании, где надо стоять навытяжку перед каким-нибудь генералом, да ещё под «Союз нерушимый», а потом щёлкнуть каблуками и гаркнуть «Служу Советскому Союзу!» Не дождётесь. А что если получить медаль раньше, до собрания, да и подарить её Федосье Фёдоровне, няньке нашей семейной, у неё как раз день рождения, а денег на подарок, как всегда, ни шиша?

Не помню, что я наплёл в военкомате, – наверное, что срочно вылетаю в Москву на киносъёмку в Министерстве обороны. Полковник с сомнением покачал головой, вышел. Через минуту, гляжу, возвращается торжественный, как на параде, в руках – коробочка.

– Лейтенант такой-то-сякой-то, за такие-то и сякие-то качества, проявленные при участии в общевойсковых манёврах «Двина», вы награждаетесь Ленинской юбилейной медалью с гравировкой «За воинскую доблесть». Поздравляю вас, такой-то-сякой-то!

Я щёлкнул каблуками и произнёс:

– Служу Отечеству!

– Советскому Союзу? – подсказал полковник.

И получил мой ответ:

– Ну!

Словечко это лишь недавно появилось в городском лексиконе, привезённое, видимо, геологами из уральских деревень, и означать оно могло множество противоречащих друг другу понятий: и «да», и «нет», и «а как же», и «предположим», вплоть до «не на того напали», или даже «не утомляй, начальник».

Полковник выбрал то, что более отвечало его вкусу и обстановке, с чем и вручил мне медаль.

ДОМ НА ПЕСКЕ

Дороже была другая награда: она, та самая, кого называю я заимствованным именем, подарила мне ночь.

В поздних сумерках начинающейся весны я поворачиваю налево с моста (как ахматовский «гость из будущего», только в другую сторону, чем он, да и сам я скорее гощу сейчас у своего прошлого), идя по гранитным сносившимся плитам. Чугунный узор парапета складывается в особенный ритм, под который подстраиваются клапаны моего сердца. Высаженные гуськом и геометрически подстриженные липы этот лад подтверждают. Далее река и набережная делают лёгкий перелом вправо, восхитительно повторяемый строем деревьев. Именно здесь я вхожу в арку ворот проходного двора, и там, на задах придворцового сада, есть заветные двери подъезда и лестница, ведущая на самый верх.

Были, была. Уже их нет. То самое место, семейное гнездовье, куда я тайно входил, выдрано железом экскаваторов, его больше не существует. Там как-то наперекосяк стоит теперь некий бетонный изыск, служащий целям развлекательной индустрии, не то просвещения, а на самом деле уже послуживший поводом и прикрытием для вбухивания городских средств и, в конечном-то счёте, для отмывания средств ещё более грандиозных, пошедших в партийные карманы.

Стало быть, никаких гламурных купаний, касаний, нашампуненных красот и дальнейших крахмальных торосов здесь не будет, ибо места этого нет. Но всё-таки было, и кое-что осталось, быть может, в буквах наиболее удачных строк, в общем просветлении, в опыте краткого счастья и длительного любованья. Всё это переживалось как приключения духа, как увлекательные полёты на батуте, да и сама плоть стала радужно зрячей, даже зоркой. Обнажение превращалось в гениальный спектакль для одного зрителя. Одного ли? По определению – нет. Я стал её ревновать, требовал видеться чаще, и она выдумывала поводы для прогулок. Одна из них, во время затянувшейся примерки у портнихи, пока я ждал её эдаким Макаром Девушкиным у канала, куря, глядя в мутную воду, превратилась из праздника в самомученье: я вдруг вообразил, что сопровождаю её на свидание с другим, ещё одним тайным любовником, и она сейчас с ним. Ревность застлала глаза, расписала картины, развернула сюжет, раскопала пещеры с провалами, колодцами и пиками, воткнутыми в их днища. Я встряхнул головой и, вспомнив, откуда бред этот мог приплыть, отправил его обратно в

зощенковскую книгу по психолечению. Я уже и сам исцелился, когда она вышла из подъезда, и мы зашагали по ледяной петербургской грязце на граните.

Надо было что-то решать, и я этот шаг сделал: пошёл для начала к Львиному мостику на том же канале. Там собирался рынок обмена и сдачи жилья. Раз в неделю небольшая толпа, многие с объявлениями, приколотыми прямо на груди ватных пальто, топтались, циркулируя и перемешиваясь, часа два-три кряду. Этого было достаточно, чтобы всё наличествующее высмотреть, выспросить и узнать.

Бабка из Купчина сдавала угол двум работающим девушкам. Комнату для студентки в двухкомнатной квартире на Выборгской стороне предлагал сорокапятилетний вдовец. Полноватая блондинка, сильно за тридцать, рекламировала сходный вариант для одинокого офицера. Сразу несколько отдельных квартир предлагались семейным военнослужащим. Вот примерно и всё.

Мне там не грело, поэтому я обзвонил всех знакомых, кого считал достаточно практичными, а также объявил на работе о том, что ищу себе комнату. Тут же появились варианты. Один был восхитительный: крошечная до клаустрофобии квартирка на первом этаже перед входом в Капеллу. Места там было ещё меньше, чем в моём кубометре, не повернуться, зато наличествовало всё, что нужно для суверенного существования. Но главное – в другом: шаг за дверь, через Певческий мост, и ты на Дворцовой площади, а ведь это, помимо всех архитектурных и исторических смыслов, самое эротическое место в городе, если не вообще на земле. В смысле – красивейшее. После стольких лирических прогулок по Эрмитажу я стал вкладывать в это слово тот смысл, который из него просто выпирал, как из лосин кавалергардского подпоручика. Да куда там! Гранитный дрын ведь не спрячешь, особенно в виду соседства его с недвусмысленной аркой, которая так восхитительно замыкается своим выгибом перед триумфальным показом. Ну, а эта стенная дуга, образующая всю площадь, не намекает ли на что-то никак не припоминаемое, протоженственное?

Кто-то здесь может нехорошее сказать про автора, даже пальцем покрутить у виска. Ну, доктора Фрейда совать всюду я не люблю, в особенности за пределами его клиники. Но вот Маяковский, не старый ведь был мужчина, когда эротизировал Париж, воплощённый для него в сладостном лоне Татьяны Яковлевой. Да и свою мужественность подчеркнул он неслабо:

Если б был я Вандомская колонна,
Я женился б на Place de la Concorde.

Правда, согласия от неё так и не получил. А брутальный Буонарроти получил-таки согласие, даже благословение, при этом крепкое, папское, и совершил нечто неслыханное по дерзости, что перешибить никогда уж не смогут тома и тома русского фольклора, хоть бы и наставить их многоэтажно выше собора Святого Петра: взял и изобразил в наисвятейшем месте Ватикана, на стене Сикстинской капеллы, самое сокровенное, женское – матку. Ну, если хотите, то лоно прародительницы. Однако анатомически. Видно, недаром ковырялся в мертвецких, потрошил кадавров, исследуя их внутри и снаружи. И вывел точно дугу её свода, и цвет передал – не мясной, а пурпурный, чуть лиловатый, характерный для внутренностей. Смотришь на фреску, и голос внутри убеждает: это правда. Причём, не только анатомическая, а и художественная. И философская. И, конечно, религиозная, то есть уже не правда, а истина. А иначе откуда всё человечество взялось, кроме, конечно, Адама, включая и кардиналов, и пап, и папских гвардейцев, – оттуда ж, зачатое брызгами возбуждённого отцовства, и – в жизнь, в миллиардоголосицу её биостройки, давки, воспроизводства, чтобы в конце концов провалиться в тартарары на Страшном судище Христовом...

Его коренастая фигура с подъятой десницей исключала возможность судебных ошибок, кассационных жалоб и пересмотров, и всё-таки некая группа была отделена от гибнущего человеческого хлама. Да, святые и праведники десяти блаженств, но ведь люди, не из воздуха, не из газа аргона возникшие и не бесполые же! Вот и святой Франциск из Ассизи тело своё «братцем ослом» иронически называл за его утреннее, должно быть, крепкое упрямство. Знаю: молитва, воздержание, пост. Всё это было, а воздержания даже слишком много. Я бы особо добавил сюда избирательность. Также – приверженность этому выбору. И ещё обнаружение красоты в ближнем. В ближней, ближайшей.

Стихи, цветы – это понятно. Остановленное мгновение? А что это, как оно получается? Много поздней из окна моего американского жилья с видом на пучок декоративной пампасской травы и на соседский дом я увидел зримый образ этого абстрактного понятия. Две птички, кажется, просто воробьи, трепеща, совокуплялись в воздухе и, упав на стриженную мной лужайку, остались лежать неподвижно рядом. Они остановили своё мгновение, валяясь в блаженном обмороке. Я даже подумал: вот, умерли от любви. И вдруг они разом вспорхнули. Время

затикало снова.

Апофеозом была тайная неделя каникул в Прибалтике с чётко продуманным планом встретиться на перроне в Клайпеде, куда мы должны были добраться порознь, и дальше уже только вместе проникнуть в закрытое для туризма место, легендарное тем, что, по интеллигентским преданиям, там была «дача Томаса Манна», особняки прусской элиты и вообще янтарная кладовая германского гения. А сейчас – погранзона, так что наткнуться на кого-то более знакомого, чем Генрих Манн, брат Томаса, вероятность была невелика, разве что на его героя Феликса Круля, но роль этого авантюриста играл в поездке я.

Путь к месту встречи я избрал через Вильнюс и Каунас – в первом пункте я намеревался остановиться у Томаса, нет, не Манна, конечно, а Венцловы, не менее, пожалуй, знаменитого в тех местах, чем оба прославленных брата-писателя, поскольку его отец – недавно почивший классик соцреализма, литовская версия Фадеева, сын же, наоборот, диссидент, и тоже писал, сам становясь постепенно классиком. Ну а из Каунаса я должен был добраться поездом до Клайпеды.

С Томасом я до этого не был знаком, хотя наслышан был свыше всякой меры: кто только у него не перегостил и каких только легенд о нём не рассказывал: и о его щедром гостеприимстве, и о беспробудной гульбе, и об экстравагантных женитьбах на общих подругах. Кстати, в качестве рекомендаций я вёз ему из Питера письма от сразу двух его бывших жён. Одна была первой женой моего друга, поэта, формально я их и свёл, но разошлись они сами, а затем, после недолгого счастья с Томасом, ей был дан развод, а у него наступила иная эра, тоже, впрочем, короткая, и у этой второй его разведёнки я снимал клетушку на Петроградской. Сама она с сыном, которого Томас так и не признал, жили в чуть большей клетушке, и обе эти комнаты входили в состав лабиринта огромной коммунальной квартиры, в которой даже уборная, оснащённая ещё и ванной, и биде, была гораздо шикарней и больше, чем те две клетушки, вместе взятые. Кажется, у хозяйки ум был нацелен на какие-то обменные комбинации, связанные с жилплощадью, из которых я тут же выпал, но мои две-три квартплаты были достаточным поводом для рекомендательного письма её бывшему мужу.

К нему я прибыл как очень припозднившийся гость, города в темноте не рассмотрел, а мои рекомендации вызвали у него ревнивые подозрения – впрочем, лишь на мгновение. Время было неподходящим даже для ужина, и я мгновенно заснул в раскладной, но очень комфортабельной койке для гостей.

– Хотите чем-нибудь позавтракать? Кофе? – спросил он меня

утром.

– Конечно, хочу!

– Тогда собирайтесь, мы пойдём в одно из моих излюбленных кафе.

А может быть, и ещё в два или три.

В солнечное бодрящее утро Вильнюс, если представить его в человеческом, а не архитектурном образе, представился мне вполне джентльменом, следящим за собой, но позволяющим расслабиться, барственным без заносчивости, с манерами, предлагающими пришельцу вполне положительный спектр отношений: от дружественности до равнодушной любезности, – словом, в облике, более всего схожем с самим Томасом. Улицы вымыты, с лотков продавались цветы и сувениры, протёртые стёкла витрин блестели, черепичные крыши в сочетании со свежей зеленью бульваров приятно оранжевели на склонах городских холмов.

В кафе, отделанном тёмными заркалами в американском стиле, было людно и чисто, а также можно было заметить, что жители этого города следуют общеевропейской привычке питаться вне дома.

– Кофе со сливками? Чёрный? Сэндвичи с ветчиной, оладьи, яичница?

– Мне, пожалуй, омлет со шпинатом…

Думал ли я, что всю последующую неделю омлетами мне и придётся питаться? Заказал бы, наверное, сэндвич. Знал ли, что Томас начинает свой день с элегантного полторастаграммового опрокидона? Пришлось и мне не отставать. Утро раскололось в мелкие блестящие дребезги, особенно когда мы эту дозу повторили в том же кафе, а затем перешли в другое. Впрочем, там я узнал, что мы ничуть не впадаем в загул, а всего лишь дожидаемся, не теряя времени, когда откроется редакция журнала «Флагман юности» (или что-то подобное в переводе с литовского), где мне будет выправлена подорожная в погранзону на Куршскую косу. Вскоре это и произошло.

О чём говорили мы с Томасом, семиотиком и структуралистом, глядя на красно-белый с зелёной кучерявостью город, но не с самого верху (туда, до башни Гедиминиса, мы так и не добрались), а от раннебарочного, как и в Санкт-Петербурге, Петропавловского собора? Конечно, об этом городе, но как о городе-тексте и даже слове, которое он нам сообщает. Слово это, разумеется: «Вильнюс», и вместе с другими литовскими словами и из-за их окончаний оно звучало для меня католической латынью, что, хоть не чуждо, но и не своё. Всё же, если ты здесь родился, место это можно всю жизнь, не краснея, признавать

своей родиной. Значит, в переводе на общеевропейский язык барокко, да ещё с петропавловской подсказкой, слово это – не абсолют и величие, а дом и подробности жизни, её завитушки. Но в речи, кроме славянской латыни, коренится ещё и санскрит, в обиходе не изжиты болотные жмудские культы, отчего, наверное, и обилие чертовщины в сувенирных ларьках.

С Венцловой я впоследствии ещё не раз пересекусь, – правда, мимоходом и вскользь: то на диссидентской вечеринке в Париже, то на конференциях славистов в Нью-Йорке, в Чикаго, где-то ещё. В эпоху зрелого брежневского застоя он стал истым правозащитником, причём не национального, а демократического толка, на него с особой злостью наезжала как местная, так и центральная охранка, но он устоял, добился отъезда и утвердился в одном из лучших американских университетов. А кампус любого, даже не самого престижного университета, по моему глубокому убеждению, это райское место на земле, хотя везде, конечно, водятся сколопендры. Однако Томас имел дело с элитой, с лауреатами, да и сам всячески был выдвигаем. Жизнь наша уже сильно завечерела, громкой славы всё нет, но огни ещё не погашены, и он по сей день не утратил свой шанс.

Ну а тогда, уже в темноте, он сделал широкий жест и отвёз меня на такси в Каунас, откуда я автобусом добрался к утру до условленного места моей тайной встречи.

Красавица приехала в панике от собственной смелости, долго не могла заставить себя выйти из вагона.

– Я сейчас же уеду обратно!

Да куда там… Разве я теперь её отпущу?

– Нам туда не позволят. Это же погранзона!

– А вот – документы, направления от молодёжных журналов… Смотри, на каких шикарных бланках!

– Но они – на твоё имя. А я?

– А ты – со мной.

Только дошли до шлагбаума КПП, тут же подъехал советский джипец, именуемый в народе «козлом», в нём – молодой начальник с шофёром:

– Подвезти?

Это, конечно, из-за её впечатляющей внешности. Теперь будет в дороге липнуть, просить адресок. Ну, это мы ещё посмотрим. В окно «козелка» заглянул пограничник. Я зашуршал, разворачивая и протягивая свои шикарные бумаги. С полувзгляда на них начальник меня остановил.

– Это наши гости, – сказал он солдату.

Липнуть впоследствии не стал, и мы свободно мчались по весьма, даже на удивление, приличному шоссе: чёрный асфальт,

жёлтый песок по обе стороны, слева – шаровая краска залива, справа – кубовая с бурунами Балтика. Пошли песчаные всхолмия, поросшие сосняком, заботливо укреплённые по крутым склонам плетнями. Дюны. Справа мелькнули два домика. Слева ещё один, вполне симпатичный, хоть на коврик его вышивай. Начальник отказался от благодарности и исчез из нашей жизни абсолютно навеки, честь ему и хвала, а мы подошли к неправдоподобно хорошенькому строению под черепичной крышей. Два старых тополя пошевеливали изнанкой листвы симметрично по его сторонам. Куры ходили, квохча, по двору. Старуха мыла ребёнка в тазу перед входом.

Да, комнату они нам, наверное, могут сдать, но она сама не решает.

– Вот придёт зять с работы, с ним и поговорите.

Вещи она, тем не менее, позволила занести в комнату, это уже хорошо. Стол, стулья, окно, два аскетических диванчика, поставленные под прямым углом. Всё равно замечательно.

По песчаной дорожке мы первым делом рванули на пляж, и я понял, о чём я теперь буду писать, – может быть, всю жизнь. Это – волны. Их ритм, их вид, их вольный смысл: порыв, пролёт, провал и никогда не сбывающееся обещание. Их полуигра-полуработа, а можно сказать и так: полупоэзия-полулюбовь – уже исполнялась, и не без успеха, в наперечёт известных местах на Кипре, на Милосе, в Тавриде, да и здесь вот в прохладном её варианте на Балтике: что-то должно же из этих трудов хоть когда-нибудь получиться. Ну, может быть, когда-то и где-то там, за пределами истории...

С хозяином мы договорились, заплатив не только за ночлег, но и за еду на неделю вперёд. Яйца, молоко – неограниченно. Гигантские омлеты стали моими завтраками, столь же колоссальные глазуньи с простоквашей и кисловатым хлебом составляли обеды, а с монотонностью пищи моя проголодь справлялась успешно. Подруга порой и вовсе не дотрагивалась до еды, питаясь морским ветром да запахом смолы, она похудела, посвежела, глаза засветились контрастным блеском.

Вода была холодна для купаний; расслабленного загорания тоже не выходило из-за постоянного, порой свежего ветерка, который мы вбирали не только всей грудью до дна лёгких, но и всей кожей. Гуляли, глядели на неустанное морское чудовище так, что глаза расширяло до висков, и туда неохватно входили несметными, неоглядными, пенно-взбитыми стадами облака и буруны. Сырые клочья великой идеи расплывались на мокром песке. Кроме волн морских были ещё валы песчаные, где среди сосняка вились пешеходные тропы, пересекающие косу от залива

до моря, годные не только для прогулок, но и для внезапных долгих пробежек для двух человекообразных оленей, одуревших от полноты жизни, свободы и безделья.

В темноте, когда мы, как сиамские близнецы, возлежали (одна рука явно мешала), дверь распахнулась, свет из кухни косо осветил потолок, стол, пустующий диванчик и другой с пододеяльными лемурами, глядящими в ужасе и непонимании на происходящее. В проёме стояла хозяйская тёща.

– А! Я так и знала, – сказала она с разоблачительным пафосом.

Тёща заходила по комнате, указывая перстом на оцепеневшую парочку. Нет, ничего режущего, колющего или удушающего в руках она не держала, но казалась агрессивно безумной. Странно было предположить, что она так вдруг в одночасье и съехала. Скорей всего, старуха была в дупель пьяна. Всё-таки Фрейд был не дурак, алкоголь пробудил её либидо. Эта догадка вдруг лишила ведьму магической силы, и она исчезла, оставив лемуров глядеть друг на друга во тьме и трепете.

Больше она не попадалась нам на глаза до самого отъезда.

Укладываясь на верхнюю полку в ночном поезде, возвращающем нас к прежней жизни, я подумал, как больно и скучно мне будет в отсутствии моей подруги. Да и она, бередя ранку своей анонимности, разоткровенничалась со случайной попутчицей, соседкою по купе, – совершенно внезапно и к полному моему изумлению. Мои попытки остановить её исповедание были отклонены, я откинулся на подушку и уже сквозь дремоту, сквозь смягчённые рессорами железнодорожные стыки и стуки слушал доносящиеся снизу отрывки их задушевного, даже со слезой, диалога:

– Главное, чтобы месячные не задержались.

– Уже начались.

– Ну, так и всё...

КОМНАТА НА НЕВСКОМ

К началу семидесятых из нашей былой четвёрки или, как стали пафосно называть нас более молодые поэты, каждый из «квадриги» выработал свою стратегию вольности: как сохранить её максимум при минимальных уступках идеологии. «Минимальных» – подразумевалось «никаких». Ну, почти никаких, иначе с ней были шутки плохи. Она к тому времени заматерела до густопсового маразма, что выражалось эмблематически в гигантских портретах генсека, развешанных сверху и чуть ли не до самого низу на слепых торцах зданий, да ещё в бессмысленных здравицах и призывах, укреплённых громадными буквами на карнизах крыш. Изредка на грудь генсека воздымался художник-верхолаз, который пририсовывал ему очередную звезду героя. Лозунги, конечно, никто не читал, но все их видели, и к вечеру, зажигаясь под лёгким снежком, они внушали огненными письменами копошащимся внизу людишкам: «Вот мы вас ужо!» А людишки являлись на работу в нетрезвом виде, опохмелялись в обед, с обеда и вовсе прогуливали, толпясь у гастрономов. Максимум за минимум – этого принципа придерживалась и очередь в винный отдел, за свои ломаные гроши, покупая крашеную отраву, которую я не мог выносить даже бесплатно. Я ограничивался минимальным с обеих сторон: брал совсем дешевое сухое алжирское, привозимое даже не в бочках, а, по слухам, в цистернах и танкерах, и по ночам, попивая, гнал халтуру, катал сценарии для своей заскорузлой «Трибуны новатора». Это, в дополнение к ста десяти ежемесячным, давало мне скудный припёк, который шёл целиком на оплату комнаты. Мне удалось на несколько месяцев снять довольно просторное жильё – в коммунальной квартире, но в примечательном месте. Выбравшись из толпы, снующей по Невскому через Аничков мост, я, прямо из-под копыт бронзового усмиряемого коня, минуя угловую аптеку, нырял в первые же ворота с Фонтанки. Пройдя по диагонали замусоренный двор, направлялся к чёрной лестнице, куда выходили зады общепита, и, просквозив полчища кошек, терпеливо ждущих подачки, поднимался на самый верх. Дверь открывалась прямо в кухню, порой в самый разгар коммунальных готовок, и – в коридор, где, пока отпираешь свою комнату, из остальных высовывается пять или шесть седокудрых и седопатлатых голов, наблюдающих за порядком. Кроме бдительных старушек жил там ещё тихий алкаш, замордованный ими до совершенно невидимого и неслышимого состояния. От него была единственная докука: необходимость крепко

ошпаривать ванную, прежде чем принимать там душ.

Но комната, несмотря на древтрестовскую мебель, была упоительно отдельной, асимметричной, просторной, двухоконной, с боковым видом на Невский у Аничкова дворца. А с крыши напротив, через узкую улицу Толмачёва (Караванную), зажигалась ночью и глядела мне прямо в мозговую подкорку надпись «Родина». Она светилась валтасаровым красным огнём, но под этим словом имелась в виду не идеологическая прото– (и псевдо-) мать, а всего лишь название кинотеатра, расположенного в глубине улицы. Окна вверху закруглялись по-итальянски, при этом левое – видимо выбитое в блокаду при артобстреле, – было перекрещено обычной фрамугой, а правое осталось как было, из цельного витринного стекла. На нём я поздней обнаружил (чуть не написал «на нём поздней появилась» или «проступила») надпись, а точнее – автограф «Е. Блаватская» и дата начала девяностых соответствующего века. А раз было имя, то в полном согласии с её учением, тайновидица оккультных наук присутствовала сама в моей жизни и влияла на меня символически, а значит, и действенно. Да, то житьё и то жильё, которое я занимал в 1972-м году, были весьма знаменательны.

Не только потому, что прямо на Невском, но – ив двух шагах от гнездовья моей тайной избранницы. По моим распалённым мечтам, она теперь могла забегать ко мне прямо в халате после душа, наскоро завернув мокрые волосы белым махровым полотенцем. Чуть не буквально. Но нет! Здесь подвергалась угрозе конфиденциальность наших свиданий – ведь мои наблюдательные старушки, живущие в том же, что и она, микрорайоне, могли узнать её яркий облик, а узнав, доложить кому следует! Или, точнее, кому не следует...

Как бы то ни было, чувство лёгкого голода (на грани зверского аппетита) сопровождало меня постоянно в основных жизненных проявлениях, начиная с буквального недоеда. Комната на Невском была чрезмерным шиком для моего бюджета, да я и не умел готовить. Идучи от метро, я заходил в Елисеевский гастроном (всё ещё роскошный) и покупал там чего-нибудь себе по карману. Дешёвейшим был паштет из рубленой селёдки, а в сочетании со свежим хлебом из муки грубого помола (так называемым «серым») он был и вкуснейшим. Вдруг прорезалась во мне страсть к маслинам. Их продавали тогда на вес из громадных консервных банок с изображением гречанки на борту, и в неё я параллельно влюбился. Пока шёл мимо «Авроры» (кинотеатра), да мимо Книжной лавки писателей, весь кулёк бывал съеден, и, если в кармане ещё что-то бренчало, приходилось возвращаться за удвоенной порцией, а заодно и

навестить прекрасную гречанку.

Нет, я не стал эротоманом, как Армалинский, – наверное, из-за сильной приверженности к конкретному совершенству. Когда оно являлось ко мне во плоти, я не насыщался им «из кулька», да и сама красавица приходила за чем-то большим, чем связь. Расспросы, любования и комплименты, ритуал обнажения, возгласы и шёпоты – всё, что вело нас к простынному развалу, уже было дегустацией, началом тактильного пиршества с участием всех пяти чувств, включая туда и шестое. Дико расскакавшаяся по жилам кровь делала любое касание радужно-зримым, даже зорким, особенно когда часы свиданий протекали в зыбком заоконном свете петербургского дня, – то был уже не целиком телесный, но и спиритуальный, духовный опыт, потому что тело тут становилось душой.

Ожидание следующей нескорой встречи изощряло мой голод, сублимировало его в поток направленных мыслей, толкая ум в странствие за каким-то дальним и сладостным средоточием истины, за неким Граалем (книга сэра Томаса Мэллори вышла тогда в прекраснейшем переводе), а это было уже первой побудкой для последующего обращения. Ну хорошо хоть не с горя.

– Читать, читать и писать! – звучали мои императивы. Неслышимо для других, но звучали настойчиво. Да даже и слышимо. Вот, например, Пётр Мордовченко, режиссёр из Алтайского научпопа, поставленый на мои передачи для рационализаторов и изобретателей, – кто б мог представить? – вдруг выпалил мне навскидку:

– Давайте параллельно изучать Канта и вместе его преодолевать!

– Зачем же, Петя, ставить себе искусственные препятствия – тем более, зная, что они преодолимы?

БРАТЬЯ-ПИСАТЕЛИ

В мои императивы не входило непременно публиковать свои произведения, но делать попытки определённо входило. Однако препятствия заступали за пределы чистого разума. Для обсуждения этой темы я нашёл себе собеседника там же, на студии. Это был Александр Шевелёв, вполне готовый советский поэт, не без «есенинки» в виршах, но почему-то ещё не допущенный до широкой печати. Работал он в редакции программ, то есть был стрелочником и обходчиком, проверяльщиком пломб на эшелонах телевещания и, следовательно, хорошо был просвечен на благонадёжность, а вот забраться повыше пока не получалось. Может быть, писал он чуть лучше пресловутых Бронислава Кежуна и Ильи Авраменко, стерегущих впуск на мраморную лестницу, ведущую в официоз? А может быть, старшие товарищи просто выдерживали шевелёвскую злость до нужной кондиции?

С его точки зрения, на чуть-чуть был он впереди меня: у него уже вышла в Лениздате тонюсенькая книжка в «обойме» с ещё четырьмя авторами. Была такая издательская затея с намёком на классовую борьбу и «родную винтовку». Не помню остальных, но двое из той обоймы казались более обнадёживающими – пантеист Александр Рытов и цветаевка Татьяна Галушко. Увы, ранние болезни давным-давно расправились с их жизнями.

Всё же я отыскал в той книжечке у Шевелёва запоминающуюся строчку: «А я хочу, чтобы упала».

Это он о звезде, чтобы, пока она падает, успеть загадать желание. А каково оно, догадаться было несложно – жаль было тратить на него целый метеорит или даже астероид. Много, много позже у меня в цикле «Звёзды и полосы» нашёлся на ту своенравную, аж до космического самодурства, строчку – мой останов: «Я говорю: гори!»

К Шевелёву я заходил в редакцию, как на перекур, чтобы отвлечься от своей редакционной рутины.

– Ну что, поругаем Союз писателей? – предлагал я напрямую, уже заранее забавляясь.

И он с игровой ухмылкой на, видимо, уже партийном лице, заводился с полоборота, разнося в пух и прах то раболепство «старших товарищей», то коррупцию их печатных органов. Клялся, что книги издают только за взятки, и то – лишь между своими. Приводил случаи, совершенно аховые, называл имена и суммы. За первую книгу весь гонорар идёт главреду, с последующих – определённый процент по договорённости, и –

только в очередь.

– Да что возьмёшь, например, с такого безлошадного поэта, как я?

– Тебя и не издают, – парировал он.

Вскоре Шевелёв как-то замкнулся. Стал ходить по коридору с кожаной папочкой, словно инструктор райкома. Вдруг обратился ко мне по фамилии:

– Бобышев, почему бы тебе не выступить у нас в Доме писателей на вечере молодых поэтов?

Действительно, почему бы и не выступить? У них, в Доме писателей...

Начало ноября. Шереметевский особняк – тот, что в двух шагах от Большого дома. Сбор не в зале, и не в одной из нарядных гостиных, а в помещении на задах. Стулья полукругом, на полу стоит гипсовый Ленин, крашенный ещё в тридцатых, подновлённый в сороковых бронзовой краской, которая теперь от него отслаивается. Ясно: я вляпался в мероприятие, посвящённое очередному юбилею Октября.

Вечер ведут – дружной парочкой – Шевелёв и Кежун! Набирается немало литературной молодёжи, – среди них усмешливый крепыш Петя Чейгин, сошедший прямо с ораниенбаумской электрички, затем добрый молодец Олег Охапкин, возможно, где-то в толпе находится ещё царскосельский отрок Боря Куприянов и, конечно, держащийся их атаманом Виктор Кривулин. Этих я признаю и ценю, но для ведущих они ещё не поэты, а только слушатели. Шевелёв выпускает других, уже отстоявшихся в накопителе: например, ещё одну умеренную цветаевку – Раису Вдовину.

Наконец, моя очередь. Я читаю:

– Бортнянский. Хор с оркестром. И – Россия...

Это – об исполнении его итальянских хоралов в Капелле, куда мы ходили вместе с Галей Руби. С ней мы не теряли дружбы, поддерживая отношения хотя бы на филармоническом уровне. Когда выходили с того концерта, стоял крепкий мороз, был чёрный декабрьский вечер, яркая звезда горела над Певческим мостом, над Дворцовой. То была Альфа созвездия Возничего, Капелла.

– Смотри, как рифмуется, – сказал я Гале. – Тут певческая, а там звёздная...

Снег хрустел, наподобие паркета на жарко натопленных хорах, где мы только что стояли. Мне представилась та колесница, которую Возничий возгонял с натугой на звёздные кручи, со скрипами, с пением подпруг...

...кренясь на серафических ветрах.

Прежде чем начать следующее, я слышу громкий шёпот Шевелёва:

– Что это – «серафических»?

– Имя прилагательное от «серафима». Ну тот, который шестипалый или, простите, шестикрылый... – поясняет Кежун.

– Понятно...

Шевелёв выходит из зала. Я начинаю следующее:
Ты не забыла о дворцовой церкви,
где, отсвет люстры взяв за образец,
по изразцу скользнув, к царям, бывало,
входил нарядный Бог?

В зале вдруг гаснет свет, слушатели ропщут. Я останавливаюсь.

– Видимо, пробки перегорели, – эпически сообщает голос Шевелёва.

– Ничего. Я буду читать по памяти.

Темнота сообщает доверительность обстановке, и, если не обращать внимания на клопиные пакости братьев-писателей, то можно эту тьму перебороть голосом, ритмом, светимостью самих строк. Ещё и ещё.

Зрит ледяное болото явление светлой богини...

Это я начинаю «Венеру в луже», мой коронный номер, «хит» – сказали бы теперь. Но тут в качестве Вечерней звезды является Петя Чейгин со здоровенной парафиновой свечой. Прикрывая пламя ладонью, отчего его пальцы просвечивают красным, он с комической торжественностью проходит к Ленину и устанавливает свечку в аккурат меж его ног. Язык пламени озаряет ложно-бронзовый гульфик ленинских брюк, слегка облупленную жилетку, зловеще подсвечивает снизу скулы и подбровья вождя. Юбилейное мероприятие начинает всё больше напоминать политическую пародию. Тут же вспыхивает электричество.

А Шевелёв так и пошёл в дальнейшем чиновничать по писательскому ведомству. В один из моих приездов в Питер уже в качестве заморского гостя я услыхал: Шевелёв умер. Как умер? Так. Скоропостижно. Упала его звезда, и всё.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИГРЫ

На улице Бродского (не Иосифа, конечно, а Исаака), почти на самом углу с Невским, находился магазин с неблагозвучным наименованием «Концентраты». Он славился отнюдь не сухими питаниями, а буфетом, где филармоническая публика, пришедшая с утра за входным билетиком на хоры, могла подкрепиться вкуснейшей гречневой кашей, а вечером перед концертом выпить крепкого ароматного кофе, и всё – за сущие гроши.

Исаак Бродский, именем которого называлась улица, был до революции вполне успешным и весьма приличным художником-мирискусником, автором изящных пейзажей и эффектных портретов. После известной исторической заварушки он слегка скурвился (ну, может быть, просто питал иллюзии относительно социальной справедливости) и стал рисовать советских вождей. Известен его портрет румяного маршала Ворошилова на лыжной прогулке. Бродский жил на Михайловской площади (площадь Искусств) как раз между «Бродячей собакой» и Малым оперным, и, выходя из квартиры, мог отправиться по соседству в любую сторону. Туда же, вероятно, заходил и первый маршал после балетных премьер, чтобы позировать художнику. А Киров-то наверняка, и не раз. И Горький, и весь синклит любимцев партии. Эти заслуги перед отечеством не были забыты после преждевременной смерти популярного мастера – в квартире был устроен музей. Там была выставлена классная коллекция живописи – не только покойного хозяина, но и его менее удачливых в карьере, полузапрещённых коллег и современников: странная вольность среди официоза!

К тому времени, когда стали рушиться стены империи и всплывать старые названия, об Исааке уже прочно забыли, зато Иосиф (успевший дожить до этого) находился в зените прославления – настолько, что его фанаты всерьёз предлагали не трогать названия улицы Бродского, но уже иметь в виду не того, а этого. В пику всем я был за переименование, хотя и в честь другого, весьма и даже более приличного театрального художника-импрессиониста М. П. Бобышова, моего чуть-чуть не однофамильца. Уж в Малом-то оперном он наверняка поработал! Тем не менее, улице вернули историческое и великокняжеское, но увы, ничуть не выразительное название – Михайловская...

Если правая сторона улицы, глядя с Невского, представлялась неразрывной с интеллектуальной аскезой («суворовское» пирожное, билет на хоры), то левая связывалась с фарцой,

интуристами, сыском и кучерявыми загулами преуспевших литераторов. Там находились шикарный отель и несколько ресторанов.

Ужин в «Европейской», внизу, считался вообще чем-то запредельным. Сам я лишь однажды привёл туда мою Наталью, чтоб после могла «отчитаться» перед подружками, – да и то в дневное время, да и то натужась финансово, путаясь в жёстком крахмале салфеток и мельхиоре приборов. «Крыша» была ещё одной кутёжной площадкой. То Рейн, то Найман поочерёдно рассказывали о красочных застольях там со знаменитым Аксёновым. Но с ним самим не знакомили. Пересеклись мы лишь много позже, в Лос-Анджелесе, в не менее шикарном месте на Беверли-Хиллз. Аксёнов спросил, перейдя ради этой фразы на ты:

– Слушай, старик, отчего же мы до сих пор не знакомы? Ведь оба, считай, ленинградцы. И у нас так много общих друзей!

– Вот именно из-за них, Василий Павлович!

Более доступным местом был расположенный рядом с «Европейской» ресторан «Восточный», впоследствии – «Садко». Туда можно было зайти даже просто на чашку кофе с коньяком (послав привет «Концентратам») после какого-нибудь сногсшибательного концерта Артура Рубинштейна, чтобы отблагодарить Галю Руби, его однофамилицу, за бесплатный билет. Там кроме нижнего зала с эстрадой можно было всегда найти столик на балконной галерее, где ещё далее располагались интимные выгородки со шторами.

Мы с Галей нашли себе место как раз поблизости. Оттуда неслись то женские взвизги, то разгорячённые здравицы, то крупный обмен комплиментами. Наш чопорный разговор о концерте заглушался такими возгласами:

– Лёня, друг, ты же на сегодня самый крупный поэт в России!

– Олежек, это ты наш гений. Я счастлив, что я твой современник и, заметь, верный товарищ во всех обстоятельствах!

– Володя, скажи, кто сейчас пишет стихи лучше тебя? Да никто!

Мы были заинтригованы: кто же они, эти светочи? Наконец, занавеска откинулась, из кабинета вышли двое полнокровных мужских особей, держащих третьего, несколько зеленоватого. Я узнал их: то были широко печатаемые поэты Шестинский и Торопыгин, и Хаустов с ними тож. Нетвёрдыми шагами троица направилась к уборной.

Что ж, у меня тиражей не было вовсе, но всё же удавалось получать за стихи комплименты, хотя и посдержаннее. Впрочем, прецеденты имели место. Так, Серёжа Гуревич, другой мой филармонический знакомый, не пропускавший также и

литературных событий, передавал мне восторги Татьяны Галушко («гений, новый Дант») после одного из чтений в Доме писателей. Ну, «гениальность» – это всего лишь тусовочный термин тех дней, знак качества. Впрочем, каждый из пишущих держал при себе (если не про себя) это словцо как рабочую гипотезу. И, право же, мнить себя гением во время работы было полезным приёмом, чтобы получилось что-то путное на бумаге. Весь фокус был в том, чтоб не забыть его выкинуть, когда дело закончено. А по поводу Данте я ломал голову, пока не вспомнил, что читал тогда стихотворение «Трое», написанное терцинами: в нём упоминались три дуба, удушаемые плющом, как Лаокоон с сыновьями. Где терцины, там и Данте, это понятно. Вот я и разобрался в тех полупустых похвалах, увы мне!

Но выступление было памятно главным образом из-за многообещающего разговора, который последовал за ним. На площадке мраморной лестницы подошла ко мне деловая широкотелая дама, назвалась поэтессой Надеждой Поляковой («фронтовая лирика» – зажглась у меня в голове надпись), сказала, что она рекомендует меня редактору «Лениздата» Нине Чечулиной, оказавшейся прямо тут же, и та предложила опубликовать у них книгу стихов.

Чудо! Неужели оно совершается так просто? Нет, конечно. Обе предупреждают:

– Никаких гарантий, что книга выйдет. У нас в издательстве всё решает один человек, а он бывает очень неуступчив. Но – давайте попробуем...

Зашевелил я напластованиями самиздатских текстов, неоконченных рукописей, полусобранных циклов, заиграл во мне булатовский оркестрик надежды под управлением – не столько, может быть, любви, сколько честолюбия, ну и что? Хватит уже ходить в литературных мальчиках. Принёс рукопись в стеклянное здание на Фонтанке, набитое редакциями газет, охраняемое милицией, сдал под расписку. Жду: месяц, другой, третий. Звоню. «Отдали на рецензию. Когда будет готово, неизвестно. Позвоните ещё через месяц, а лучше – через два». Я знал такое правило: надо совсем перестать звонить, перестать ждать и хотеть, тогда ожидаемое и случается. Но и это не действовало. И я стал проникаться отравленной, мне самому противной идеей: они это делают нарочно. Чтоб ждал, помнил, зависел и хорошо себя вёл. Никаких чтоб не было дерзких выступлений, эпиграмм, политических заявлений, потому что иначе – сами понимаете... Даже Надежду Полякову, которую я поначалу воспринимал как добрую фею, стал теперь считать частью этой идеологической терзаловки.

Наконец: «Приходите!» Готовы две внутренние рецензии, я могу их тут же прочитать, но ни в коем разе не унести с собой.

Вадим Шефнер, косенький тихий лирик из «приличных», пишет: «Я убедился, что в лице автора рукописи мы имеем дело с настоящим поэтом, у которого своя точка зрения на мир и своя манера для выражения этой точки зрения. Особенно приятно поразило меня в стихах Бобышева его чутьё русского языка, его отношение к слову не только как к кирпичику для построения стиха, но как к категории, имеющей самодостаточную ценность. Бобышев чувствует вкус и вес слова – качество, необходимое для поэта, но не столь уж часто встречающееся».

Что же ещё надо? Шефнер – за издание книги. Зато Сергей Орлов, танкист со страшным обожжённым лицом, решительно против:

«Вот что Бобышев пишет:

Дадено мне работы
поворачивать одну ручку.
Есть там одна ручка,
так надо её поворачивать.

Следует ли тратиться на издание таких стихов и выплачивать автору гонорар? Конечно нет. Этим средствам можно найти лучшее применение».

Надо же, я о гонораре и не думал, а славный фронтовик уже позаботился, в чей карман его предпочтительней отправить! Чечулина считает, что после такой рецензии шанс у меня остаётся неважнецкий. Да я и сам больше не хочу ждать неизвестно чего, быть в подвешенном состоянии… Я забираю рукопись. Мне уже обещана поддержка в другом издательстве. В каком? Нечего и гадать, их в Питере всего два, публикующих книги стихов, – «Лениздат» и «Советский писатель».

В «СП» выходили также альманахи, и в виде редчайшего исключения мне давали в них поучаствовать. Ещё в 69-м, когда у всей страны загодя пестрело в глазах от очередного юбилейного кумача, «мне голос был, он звал утешно». Голос был с низкими тяжёлыми модуляциями, как у булгаковского Воланда, но принадлежал Владимиру Бахтину, фольклористу и функционеру, а звучал по телефону, когда я жил ещё на Таврической:

– Здравствуйте, Дима, можно я вас буду так называть? Мне поручили составить очередной альманах «Молодой Ленинград». Вот я и подумал: почему вас так мало печатают? Вы же пишете яркие, интересные стихи. Давайте вместе сделаем хорошую, большую подборку. Приносите к нам лучшее, что у вас есть. Вы не

против?

Ещё бы я был против!

– Вот и договорились. Альманах выйдет где-то в апреле, как раз к 100-летнему юбилею В. И. Ленина. Ну и, конечно, чтобы ваша подборка открыла собой весь сборник, её необходимо предварить стихотворением на юбилейную тему. Нет, совсем не нужно писать в таком фанфарном, газетно-парадном стиле, знаете ли... Напишите по-своему, искренне, в виде глубоких философских раздумий. Время ещё есть.

– Боюсь, Владимир Соломонович, что у меня на такую тему просто ничего не выйдет. Увы.

– Ну, как знаете...

* * *

Во время перестройки я упомянул об этом искушении в одном из газетных интервью и даже, поколебавшись, назвал имя искусителя. Он тут же обнаружился, мы встретились, я побывал у него в гостях на Петроградской, об инциденте не было сказано ни слова. Он собирал и печатал фарсовый перестроечный фольклор, оказался милейшим, забавнейшим собеседником. Ничего демонического в нём уже не было. Испарилось вместе с советской властью.

А через год после того воистину фарсового юбилея, на который народ ответил серией анекдотов про «Кулича», у альманаха «Молодой Ленинград» был уже другой составитель. Моя подборка включала стихи с посвящением Иосифу «Жизнь достигает порой», написанные уже после нашего разрыва, и мне было важно их напечатать, чтоб они до него дошли, притом что друзья разделились, словно при разводе, на его и мои, не было иного прямого способа для таких сообщений. С периода дружбы я ему задолжал по крайней мере два посвящения и теперь свёл их к одному ответному. Меня вызвонили для правки в Дом книги, где находилось издательство. Вот они, столь желанные – неровно обрезанные листы корректуры! Я так разволновался, что с трудом мог читать собственный текст. Всё же замечаю, что последняя строчка стихотворения читается не так. У меня: «...основатель пустот? чемпион? идиот? космонавт?..» А там напечатано: «...основатель пустот? идиот? чемпион? космонавт?..»

Казалось бы, разница небольшая, но для такого случая я не мог ею поступиться. Находившийся там Семён Ботвинник подошёл, склонился надо мной:

– Хорошие стихи. Крепко, честно написано.

– Спасибо. Только вот слова переставили, и смысл уже не тот.

– А... Космонавтов от критики оберегают, а то у нас публика их дрессированными обезьянами считает. Оставьте пока как есть. Цензура утвердит, а потом вы в гранках переставите слова обратно.

Семён – тоже «поэт-фронтовик», но не замыкается в их бронированную медалями ветеранскую когорту, не вытаптывает все поросли вокруг. Я даже нашёл в его сборнике стихи по вкусу, наподобие любезных моему сердцу терцин:

Чугунные цепи скрипят на мосту,
последний гудок замирает в порту,
уходит река в темноту...

Ничего не скажешь, он дал умный совет, вот бы и взять его на вооружение, вилять, лавировать, обманывать обманщиков, становиться профессиональным писателем, но... В смятении я не заметил пропущенную строфу в другом стихотворении, выправил-таки космонавта по-своему, и в результате его, конечно, выкинули. Это посвящение было напечатано десятилетие спустя, в моём парижском сборнике «Зияния». Уж не знаю, дошло ли оно когда-либо до адресата...

В «СП» мне ещё сочувствовала Фрида Кацас, седовласая женщина с молодым лицом и скорбным взглядом. Принимая рукопись, она трагически заглянула мне «прямо в душу» и заверила:

– Делом моей жизни будет выпустить вашу книгу!

И началась уже знакомая канитель, растянувшаяся на месяцы и даже годы.

Сколько книг было выпущено за это время там, где без движения лежала моя, – кто знает, не по шевелёвским ли рецептам? Наконец изнурённая Фрида сдалась:

– Я передаю рукопись Дикман, нашему старшему редактору. Минна Исаевна кандидат наук, и к её мнению начальство скорее прислушается, чем к моему.

Имя мне было известно: редактор ахматовского «Бега времени». Уже это давало шанс на большее понимание. При встрече, однако, держалась она сухо. Лицо интеллигентное, но замкнутое, глаз за очками не видно. Я бросил пробную фразу:

– Вы работали с Ахматовой. Я тоже у неё бывал.

– Да, Анна Андреевна кого только не принимала в последние годы! – отбрила меня редакторша.

Помариновав в этом уксусе ещё несколько месяцев, она перекинула рукопись Игорю Кузьмичёву. Я настоял на скорейшем

разговоре с ним. Он сказал:

– Я редактировал книги Горбовского. У него, конечно, есть стихи получше, похуже, а есть и так себе. Но это везде Горбовский. Похожее с книгами Кушнера. Это всё-таки Кушнер. А в вашей рукописи – и не Горбовский, и не Кушнер.

– Так, может быть, всё-таки Бобышев?

– Не вижу такого поэта!

НЕБЕСНОЕ НАШЕСТВИЕ

Я шёл по городу, не видя его красы. Воздушная перспектива заполнялась пухлыми сумерками, испещрялась, будто помехами на экране, влажным снегопадом. Кругом угрюмо сновали человеческие особи, по существу – тени, шагами разбрызгивавшие солёную слякоть, которой пропитывалась худая обувь. Я думал вчуже: «Зачем я, что я здесь делаю?»

Я, разумеется, заглядывал из интереса в те умственные книги, которые изредка попадались на моей читательской тропе, пытался вникнуть. То были сочинения классических немецких любомудров, и меня отталкивала их скрипучая неторопливость, их незаинтересованность в конечных ответах. Критика других школ бывала ещё ничего, но когда на полкниги шли дефиниции и их уточнения, это уже казалось слишком. Русская литература оставалась истинным питанием для изголодавшегося ума, и не только светочи Золотого века, но и их наследники на новом переломе времени. То роман Мережковского, статья Гиппиус, книга Бердяева, то сразу трёхтомная мемуарная эпопея Андрея Белого выстраивали всё более проясняющуюся мозаику, лишь вначале казавшуюся головоломной. Священное писание, увы, читалось от случая к случаю, его скупые сюжеты наполнялись смыслом из уже знакомых книг, картин, стихотворений, а не наоборот. У меня не было своей Библии, у меня не было пишущей машинки, не было доступа в Публичную библиотеку (только в зал технической литературы), писчую бумагу приходилось таскать с работы, иначе её просто не достанешь! Интеллектуальным выживанием занимался не только Петя Мордовченко, приклеившийся к Канту из-за элегантного названия его основного труда, но и многие мои сверстники, включая меня, передававшие друг другу мозаичные куски самиздата, тамиздата, книги досоветской и эмигрантской печати.

Ворох слепых машинописных листов с наименованием «Доктор Живаго» мне дали на два дня и одну ночь. Проглотил, долго переваривал, с неудовольствием слушая снобистскую пронабоковскую критику, не в силах ещё возражать ей. А когда переварил, понял: это же не роман, а свежее целостное мировоззрение, изложенное в романно-стихотворной форме. Это же – философия общего дела, символически преодолевающая смерть, – ну хотя бы на условных примерах, в беллетристических картинах, как Евангелие в притчах! Конечно, могила на Переделкинском кладбище выглядит убедительнее романа, а всё-таки совместный со стихами текст передаёт читательской душе

предощущение Пасхи.

Или же – «Вехи»! Каким было облегчением вдруг узнать, что не все в стране были ослеплены идеей благого насилия, не все верили в его неизбежность и якобы даже туда «подталкивали». Нет, нашлись светлые головы, которые трезво оценили происходившее, угадали последствия и вовремя предупредили общество. И как продолжение «Вех» – в основном тех же авторов – «Из глубины», коллегиальное пророчество обо всём, что было и будет на десятилетия вперёд.

А для меня, может быть, полезней всего была скромная, чуть не «ликбезовская» антология, составленная по намёткам уже умирающего Семёна Франка его сыном Виктором «Из истории русской философской мысли». Как хорошо, что они присоединили к философам и писателей тоже! Получилась единая картина, весьма впечатляющая для таких, как я, – тех, кто был наслышан, что русской философии не существует. Нет, существует и представляет из себя оригинальную школу религиозного философствования или же светского богословия, отличающегося от церковной традиции лишь динамичностью. «Мир не сотворён, но сотворяется!» – вот стержневая идея, на которой, как на посохе Аарона, расцвели учения Фёдорова, Соловьёва, Мережковского, Лосского, Бердяева, Булгакова, Шестова, Франка, Флоренского, Карсавина, а также их продолжателей в собственно философии, в литературе и других свободных искусствах и науках. Символизм, похороненный в своём «акмэ», оставил россыпи неиспользованных идей на двести, на триста лет вперёд. Художник, открывай страницы Вячеслава Иванова, Николая Бердяева, Павла Флоренского, и – черпай для своего творчества! Там всё есть – и о смысле жизни, и о назначении человека, и о границах искусства, и о свободном завете сотрудничества между человеком и Богом.

Даже язык этого динамического мышления, отброшенный литературой, обнаруживал живость и неисчерпанность. Как можно преодолеть символизм, если человечество извека мыслит его категориями? Правда, грамоту едва разбирает – надо бы в школах ввести такую дисциплину. Азбука фигуративных и числовых знаков содержится в оккультных источниках, и этих знаний стоит ли нам чураться? Далее, может быть, нужна каббала, хотя бы факультативно, затем символика алхимии и масонства, геральдика, Фрейд, Юнг, политическая и, наконец, религиозная эмблематика. Вот тогда нам по силам будет впериться взорами в мировой текст и, может быть, прочитать его по складам!

Автограф Блаватской на окне моего временного жилища

скреплял собой эти соображения и одновременно оставлял загадку. При каких обстоятельствах он здесь появился? И как был нанесён на стекло? Ведь округлость почерка исключала возможность пользования алмазом, он обязательно дал бы угловатость. Оставались лишь – золотое перо и царская водка в качестве чернил, а то и плавиковая кислота... Либо же – какое-нибудь теософское чудодействие!

Как бы то ни было, в комнате этой произошло важнейшее событие моей внутренней жизни. Я даже помню тот день: это случилось в пятницу, на первой неделе марта 1972 года. После рутинного, хотя и довольно утомительного дня на ТВ я вернулся «домой» и, даже не заметив, где и как я пообедал, обнаружил, что вечер стремительно сокращается, не принеся мне ни развлечений, ни сил для полезных занятий. Я довольно рано и как-то безрадостно уснул. И на меня напали сновидения. Навалились, словно ватага лохматых псевдоразбойников, пустились колошматить по голове мягкими кулаками. Я прежде читал, что сны бывают медленные, в которых действие протекает в течение всей ночи, а бывают мгновенные, скрученные в пружину, которая разворачивается в сюжет уже после пробуждения. Так вот – это было, как говорят англоязычные американцы, «оба». Всю ночь мой мозг бомбардировали скрученные спиралями сюжеты. Они летели фронтом, как низкие облака над Невой, когда сильный западный ветер несёт на тебя разом всё небо с устрашающей мощью и скоростью. Теперь всё это мчалось под сводом моего черепа, и, проскваживая мозг, сюжеты наспех прочитывались как важнейшие, желанные сообщения в виде цепи образов или же сладостных гармонических текстов, которые, успей я их прочитать и запомнить, сложились бы, как «Кубла-Хан» Кольриджа, в авторские поэмы. Но они вытеснялись новыми, ещё и ещё, и так всю ночь, до позднего пробуждения.

«Поднимите мне веки!» – захотелось мне кликнуть вчерашний ночной сброд, но из лохматых разбойников не оказалось вокруг никого. После пролетевшей мозговой бури в голове не было ни мысли, ни желания – полная изнурённость да время от времени уже утихающий колотун возбуждения. Я вышел в душевую, плеснул воды на лицо и, вернувшись в комнату, рухнул на прежнее место. Попытался осмыслить, что же происходило здесь ночью, и не мог – ещё на какое-то время отдался расслабленному безволию. Наконец силы стали возвращаться, я почувствовал голод, да уже и было-то время закрытия столовок!

Кратчайший путь к еде лежал по диагонали от моего жилища – но для этого нужно было пересечь двор, Аничков мост и Невский проспект – там находился на углу с улицей Рубинштейна

кафе-автомат, где за минимальную цену можно было заглотить максимальное число пищевых калорий. Не раз меня там выручала тарелка солянки, где густо плавали ошмётки ветчины, обрезки сосисок и лука, а на дне обжигающей жижи обязательно отыскивались две маслины, причём одна съедалась в начале пиршества, а другая в конце. Заглотнул, вернулся, и снова меня окутал вечер. Как в мёртвую воду, я рухнул в бездоннейший и целительный сон.

Когда я всплыл из чёрного провала, наступало раннее воскресное утро. Это пришло 5 марта. Дата уже что-то значила в моей жизни, какие-то грозные или благие события, но что именно, я тогда не стал вспоминать. И вдруг почувствовал прилив необорных сил и какой-то нездешней свежести. К моему изумлению – некоторые сюжеты, застрявшие в мозгу с позапрошлой ночи, раскрыли свои скрученные свитки так, что их можно было прочесть. Меня рвануло к письменному столу, я стал лихорадочно набрасывать на бумагу крупные куски того, что успевал в них разобрать, пытался, следуя выхваченному сюжету, разворачивать свиток дальше, но стал терять другие и наконец пустился переносить на листы всё, что всплывало в памяти, уже не различая, что я считываю с готовых текстов, а что добавляю к ним на ходу.

Далеко-далеко за полдень, когда воскресенье уже хорошо переломилось на вторую половину, я почувствовал умственную усталость и решил, что время разобраться с тем, что я успел записать или хотя бы наметить. Прежде всего, я понял, что затеял работу сразу над несколькими большими вещами, чего, с учётом редакционной службы, я бы не потянул. Значит, надо было определиться, что-то отложить на потом, а что-то совсем отбросить. Я разложил листки на группы. Получились три разновеликие горки плюс разрозненные несгруппированные клочья, которые я сразу же смахнул без сожаления в мусор.

Меньшая горка представляла собой наброски к чему-то, из коих могла бы выйти петербургская повесть с фривольным сюжетом на тему приставаний прозаика-семьянина к свояченице, которая рассказывала об этих притязаниях в подробностях – нет, не мужу, но более удачливому поэту. Там дело должно было заключаться не в сюжете, а в отступлениях и авторских комментариях, и если бы эта штука вышла, она бы имела своими образцами (пусть недосягаемыми) «Графа Нулина» или «Домик в Коломне». С некоторым сожалением я отправил эти наброски тоже в корзину.

Довольно большое напластование бумаги относилось к замыслу, ещё не вполне мною осознаваемому, но в то же время

связанному с какими-то парениями и вершинами, которые я предчувствовал, но был ещё не готов. Впоследствии (и довольно скоро) из этого вышли «Стигматы», а тогда я эту кучку собрал и бережно отложил.

И стал ворошить оставшееся. Там дымился опасными параллелями, политическими и художественными, сюжет поэмы «Чугунный наездник» о строителе Большого дома. Архитектор (меня не оставляли мысли о моём отце), спроектировавший на Литейном «отель будущего», выстроил на самом деле тюрьму, куда его собирались упечь. В ожидании ареста он петляет по улицам, а его преследует броневик с чугунным вождём пролетариата на стальной крышке. Поэма требовала дерзости (это у меня наличествовало), а также некоторых специфических сведений об «отеле», которые и сейчас-то скудны, а тогда я ни за что не сумел бы добыть. Их недостаток мог бы восполнить личный опыт, но он исчерпывался тремя допросами в рамках этого заведения, а знакомиться с ним длительно мне как-то претило. Со вздохом сожаления (но и облегчения) я отложил замысел на потом, где он лежит и сейчас.

Мне оставалось предстать ещё перед одной головокружительной целью, которая оформилась в разбомблённом идеями сознании. Мысль и в самом деле была необмерной, раскрывающей всё сущее, как если бы глаза обрели полный круговой обзор, а тёмный древнегреческий хаос превратился бы в проницаемый радужными лучами космос. Стали видны исходные пределы, отодвинувшиеся далеко назад за границы разума, к кипящему прото-сиянию, ко всеохватному и всеблагому изначалу всего. Ничто отсутствовало, пустоту заполняло Всё, бурно творящее Чудеса ради себя же Другого. От великой полноты этого триединства в нём взыграла истовая ревностность – в столь щедром избытке, что от него образовалась ещё одна сияющая, но вторичная сущность, залюбовавшаяся собой и потщившаяся восторжествовать над всем. Это и был первородный грех. «Дерзай!» – вот слово творения; первым стал акт свободы, светоносная сущность была отпущена по своей воле, сама выплеснулась вовне, и этим оказалась излишня и преткновенна истоку. Так различился свет от тьмы и началось время, но не историческое, и даже не мировое, а надмирное, поскольку мир ещё не существовал. И был в этом времени день первый.

Отделившаяся сущность, ещё недавно – благая, стала катастрофически терять былую духовность, обретая противоположные свойства: тяжесть, косность, материальность, с одной стороны обращаясь в природные элементы, с другой же –

сохраняя оставшуюся духовность в искажённом, буйном и гневном виде. Дантовские образы титанов, беснующихся и по пояс закопанных в землю, передают этот этап творения наиболее зримо. Таков был материал, пошедший на строительство Вселенной – порченый... А между тем именно эта порча, заключённая в воде и в суше, в небесной тверди и даже в светилах, должна по замыслу свободно себя изжить в веществе, чтобы материя в конце времени и в преображённом виде вернулась к изначалу.

В помощь этому – жизнь, растительная и животная, началась творящим вдохом, и вещество в ответ задышало, но и жизни в её миллионолетиях оказалось мало, чтобы образумить материю. И был сотворён человек. Даже если многое в нём, как и в иной твари, совершилось развитием материи и жизни, самым главным актом было чудесное – уста в уста – обретение души, то есть самосознания и чувств любви и долга. Такая двуприродность человека сделала его божественной лабораторией по претворению падшей материи в благую духовность. В этом заключается его практическое, с точки зрения вселенского процесса, назначение. В этом также смысл его жизни. Конечно, и люди не исключение, и на них пошёл тот же порченый материал – в этом причина их греховности. То, что называется грехопадением Адама и Евы, в сущности, было предопределено их составом. Да и какой же это рай без счастья? Вот и Джон Милтон не сомневался, что наши прародители жили в раю как благочестивые супруги. А острое чувство вины и раскаяния испытывал в них материал – за тот давний первородный грех – и, омываясь их мыслями и чувствами, уже начал преображаться. Страдания, слёзы, пот, кровь, мольбы, гимны, честь, красота, подвиги воздержания, прощения и любви стали человеческой долей в продолжающемся процессе сотворения мира.

Так уж ли мы, людишки, виноваты в своих несовершенствах? Глухонемые демоны природы и общественности дубасят нас немилосердно. Возможно, из снисхождения, сочувствия и даже, вполне вероятно, некоторой доли вины перед человеком, высшие силы ещё раз чудесно вмешались в рутину пошедшей вразнос вселенской машины. Послано было в человечество Слово, разделившее с нами, как ломоть хлеба, земную судьбу.

Это дало не только спасительный пример, но и способ выполнить своё назначение: через причастие, через таинство евхаристии становиться живой клеткой, эритроцитом в крови богочеловеческого тела. Тело это когда-то станет всем миром и, следуя за евангельскими великими и страшными чудесами, преобразится, острадает мучениями, умрёт, воскреснет и вознесёт

мир в новом, одухотворённом виде к первоистоку. Не в этом ли заключается последний (и самый сокрытый) из смыслов притчи о блудном сыне?

Итак, конец Света отодвигается в необозримую даль будущего. Работы невпроворот, цель громадна, ревностные мужи должны трудиться, засучив рукава. Поэма, которую я пишу, неоглядна по замыслу и невыполнима по моим силам. Так не общим ли чудом она движется? Позвоночный ствол поэмы представляет динамическое описание творчества великих преобразователей материи: это – Орфей, Пигмалион, Данте. И ещё – наш великий маг и химик Дмитрий Менделеев, обнаруживший демонические лики в материи и выстроивший их в ряды. Так что же движет этими рядами, объединяя их в гармонию? Правильно! Ритм. Ударим же по струнам, воздребезжим, изображая скованную духовность элементов, их движение навстречу освобождающей силе творчества. Пройдём через теснины, сквозь душную тяжесть и косность материального мира, через его заплаканные ожидальни, протолкнёмся туда, где зазвучат гармонические голоса. В процессе письма мне показалось, что я их уже слышу, и я с облегчением свернул свою «Вещественную комедию», дав ей подзаголовок «Начало поэмы» и поставив на том не окончательную точку, но многоточие.

Словесная глыба осталась незаконченной, и всё-таки работа была не напрасной. На каком-то её этапе я почувствовал благость, умиротворение. Я внутренне огляделся и обнаружил себя в стенах храма. Оставалось только пойти и «оформить наши отношения» с православной церковью.

С НЕМЕЦКОГО НА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ

Придётся несколько затормозить сюжет моего «обращения в лоно», чтобы рассказать о предшествующих событиях, относящихся к моим не столь уж удачным поискам себя, моего места в жизни, времени и пространстве. По небу я уже не блуждал, как Мандельштам в одном из прелестнейших своих стихотворений: увидев в разрывах ночных туч или в пересечении ветвей две-три звезды, я научился определять, где среди них Орион, где Кассиопея и Медведицы, и где находятся стороны света. А вот с землёй оказалось сложней. Хотелось её полюбить, но какая любовь возможна с такой «снеговою уродиной»? Грозит, изгваздывает в супесях и суглинках, никуда не отпускает, морозит, подставляет вместо себя размордевшее начальство и при этом требует беззаветного к ней чувства. Но ведь полюбить можно, только увидев чью-то красоту.

В Петербурге, впрочем, не так уж и сложно: повсюду есть уголки, откуда легко вычитается Ленинград с его кумачом на фасадах. Но подальше от центра – какая уж там краса? Она кончается, условно говоря, по периметру Обводного канала. Дальше – Купчино, Лигово, Мурино, разные выселки, то есть просто земля: ингерманландская, вепская, карело-финская, – словом, русская, умирающая не только к северу и востоку, но и в самой Ленинградской области, где-нибудь между Ладогой и Онегой, не говоря уж про Заонежье. Бывали у меня и в кратких вылазках, и в более продолжительных странствиях с моей широкоспинной командой моменты просветлённых, чуть ли не сквозь слёзы, экстазов, находили вдруг состояния исступлённой жалости к этой земле, которую, не без некоторой вышеупомянутой запинки, считал я своею. А жалость, – подсказал заморский писатель Грин, – это не меньшая страсть, чем любовь. К тому же и Рильке, немец, австриец, а не бородатые родные бахвалы, удесятерил это чувство, дав вместо аршина вертикаль для его измерения: «Россия граничит с Богом!»

И я пустился отыскивать эту грань.

Мне было уже за тридцать, таскаться по литобъединениям было негоже. Вместе с тем, не помню уж через кого, но скорее всего через Арьева, дошла до меня подсказка захаживать в ЛИТО при журнале «Звезда». Подсказка была с нажимом на туманные перспективы в дальнейшем там напечататься. Встречи с этим литературным отстойником проводил Николай Леопольдович

Браун, завпоэзией журнала, седой подтянутый старикан с грубыми, хотя и безвольными морщинами на постном лице и прячущимися от твоего взгляда блёклыми глазами. В редакционной политике он был ультра-, если не более, осторожен, да и вообще как будто ещё слышал партийный окрик Жданова, раздавшийся четверть века назад, но на нечастых собраниях кружка бывал на удивление неформален. Вдруг прочитал наизусть Ходасевича, да так, что я с его голоса сам запомнил на всю жизнь:

Перешагни, переступи, перескачи,
пере – что хочешь...

Тут же устроил мне чтение, посоветовав, разумеется, продемонстрировать «что-нибудь соответствующее журнальному формату». Я и выбрал тишайший цикл о поляне, наименованный «Вся в пятнах». Писалось ещё в честь моей гипотетической, да так и не состоявшейся тёщеньки номер два, тогда иллюстрировавшей книжку для Детгиза с какой-то лабудой на эту тему. Акварельки, впрочем, были милы. И я подложил под них свой текст для «семейного» пользования. Кружковцы слушали невнимательно, каждый думая о своём. Но как бы из другого мира зашедший туда Кушнер профессионально уловил блошку, на неблагозвучие мягко указал, да и удалился.

А Браун, оказывается, был впечатлён, – вытащил потом из редакционного вороха пучок рукописей, предложил посмотреть. Новые переводы из Рильке! Я в них вцепился, выпросил до завтра на дом и ночью переписал их себе в тетрадку: то были переводы Сергея Владимировича Петрова из «Часослова» и «Новых стихотворений». О нём я прежде ничего не слыхал, тем более как об оригинальном поэте, но и как переводчик он заслуживает слёз благодарности и восклицаний восторга, хотя бы вот за эту строфу, зазвучавшую по-русски:

Есть в жизни добро и тепло,
у ней золотые тропинки.
Пойдём же по ним без запинки.
Жить, право же, не тяжело.

Строчки, ставшие на годы вперёд моим заклинанием, равновесным и целительным ответом мастера на 66-й сонет Шекспира!

Вскоре и сам Сергей Владимирович обнаружился, прослышав

о своём горячем поклоннике. Всё ещё поражённый в правах, этот с виду ничем не примечательный всезнаец и словесный виртуоз жил где-то под Новгородом, а в Питер наезжал лишь по литературным делам, которые, впрочем, у него никак не налаживались. Рильке в «Звезде» продолжал удивлять совершенствами лишь особый круг посетителей отдела, но не читателей, а ведь Петров перевёл уже весь «Часослов», да как! «Сам в рубище, а конь в рубинах!» – с гордостью повторял он оттуда строку, похожую на его автопортрет. А тут ещё возьми и выйди в Гослите отдельной книжкой перевод Татьяны Сильман. Конечно, Рильке и в нём узнаваем, но насколько же бледен! А вот – ещё большее недоумение, на грани двусмысленного непоправимого чуда: Дмитрий Дмитриевич Шостакович глянул в ту книжку одним глазом, нахохленно клюнул и выхватил «Лицо мёртвого поэта», сунув его в 14-ю симфонию наряду с другими переводами и подлинным Кюхельбекером. Гений, конечно. В музыкальном отношении – небесно, и за Кюхлю спасибо, но к чему эти небезусловные переводы, неужели у своих ничего подходящего не нашлось?

Рильке мне был нужнее всего и, наверное, другим таким же, «в пустыне мрачной» влачащимся, ибо он утолял. В данном случае – через переводы Сергея Владимировича. Тот переводил и с других языков – немного из великих французов и, считаясь специалистом по скандинавским языкам, очень много – из средневековых скальдов. Здесь он давал себе волю: играл, виртуозничал словами, словно гантелями, а возможно, и мистифицировал – поди проверь. Но скальды эти жажды не утоляли, да и не помогли искуснику пробиться, растолкав невежд, к издательским годовым планам. Наоборот, вовсе даже не невежды, его коррумпированные соперники пускали в ход против конкурентов всё, что ни попадётся: фамилию, имя, отчество, рост, вес, цвет глаз, пол, возраст, национальность, партийность, семейные связи, рекомендации, взятки, а в случае Сергея Владимировича, конечно, и его былую политическую неблагонадёжность.

Я-то с этой индустрией был лишь «ребячески связан»: ещё на ранних порах мне хорошо врезали под дых дорогие собратья, так что многого о закулисной стороне дела мне не пришлось узнать, но хорошо бы кому-нибудь из знающих рассказать внятно и непредвзято, что там, в самом корыте и около, творилось и кишело. Кое-что есть на эту тему в честных по тону воспоминаниях Семёна Липкина, но и они зияют самоцензурой, а, возможно, и родственными или корпоративными изъятиями.

Всё же удалось Петрову пробиться в печать целою книгой

переводов, но не в стихах, а в прозе. То была прелестная историческая повесть «Фру Мария Груббе» о простой и чистой душе в обстоятельствах непростых. Её автор Йенс Петер Якобсен был с нежностью упомянут в записках Рильке, и эта датская «Фру», действительно, воспринималась как сестра его женским характерам в «Мальте Лауридс Бригге». Скорей всего, конкуренты Петрова отпали сами из-за немыслимой трудоёмкости перевода. В книге – несколько стилистических слоёв: повествовательный, разговорно-куртуазный, простонародный и эпистолярный, с переносом всего этого аж в XVI век. В нашей литературе такую сложную стилистику можно найти только у Тынянова. Сергей Владимирович же, во-первых, сумел этот текст адекватно прочесть, а затем и найти лексические аналоги в русском языке, но не XVI века, а двумя столетиями позже, соответственно нашему известному отставанию от Европы, и получился шедевр!

* * *

С ним самим я познакомился у Елены Шварц, с которой тогда эпизодически задружил. Так же, наверное, как и Сергей Владимирович. Не знаю уж, подпал ли он, при его уже некоторой престарелости, под обаяние её женских, а по манере почти подростковых чар, но меня он воспринимал несколько сопернически. Например, прочитал я ему свою «Обнажённую», а он в ответ – целую галерею «Женских портретов», весьма даже пылких, хоть я и не поручился бы, что все они писаны с натуры. Или: заговорили однажды о полифонии, я продемонстрировал одну из своих стихотворных фуг. Оказалось, что и этот приём ему не в новинку. Принёс показать расписанные разными чернилами чуть ли не партитуры, и не двух-трёхголосые, а четырёх, и пяти, и окончательно «добил» меня семиголосой поэмищей, которая так и называлась «Семь Я», где были представлены все ипостаси личности – от аза до последней буквы алфавита. И содержательно, и умно, и образно, а о качестве рифм и говорить не приходилось, но вот именно музыки-то полифония эта не добавляла: слишком уж слышны были стук клавишей и скрип педалей. Сергей Владимирович этого не замечал, а спорить с ним было всё равно, что с Брокгаузом (или Эфроном). Я и не спорил.

– Что нового? – спросил я его как-то при встрече.

– Сова! – ответил он вовсе не по-французски. – Мы с сыном завели в доме сову.

– Мрачная птица…

– Нет, отнюдь. Ласковая, как кошка.

О сыне он упоминал по поводу и без – от одного, видимо, удовольствия. И вот, увы, стряслась беда: сын его утонул в реке Великой. На Сергея Владимировича, вероятно, в ту пору было страшно смотреть. Да он и пропал надолго. А после, чтоб не бередить его горя, о подробностях я не расспрашивал. К его положению подходило больше всего тютчевское «Всё отнял у меня казнящий Бог…» Действительно: искалеченная «кремлёвским горцем» судьба, причём с молодых лет и на всю жизнь, врождённая неказистость, мыканье по ссыльным поселеньям, бедность, убогий быт, а теперь ещё и потеря сына. Было отчего возроптать, как библейскому Иову. Так он и поступал: в переводах молился, а в собственных стихах роптал и богоборствовал.

Настойчивость его постепенно делала своё дело, он получил свою долю комплиментов и как-то воспрял. Разошёлся с новгородской супружницей, которую никто не видел, женился подчёркнуто «на молодой», но и её по литературным компаниям не таскал. А вот уцепиться, оставшись наверху, затеять большую работу себе по плечу ему не удавалось: кто-то неизменно спихивал его переводы вниз, в послесловия, в примечания, в варианты и комментарии – довольно знакомая история! Жизни, между тем, оставалось всё меньше.

«Часослов» Рильке целиком в его переводах вышел лишь в 1998 году, спустя десять лет после кончины Сергея Владимировича – не слишком ли горько и запоздало?

ДЕЛО БРАУНА – БЕРГЕРА

Посещения «Звезды» подарили мне ещё одного стихотворствующего знакомца – Анатолия Бергера. Это был рослый начинающий лысеть брюнет, возможно, отслуживший армейский срок и оттого имевший заметную выправку и закалённость – свойства, впрочем, не столь уж важные в стихосложении, в противовес тому, что думал об этом Даниил Гранин. Что же касается стихов, то те, что были читаны им в кружке, не слишком-то впечатляли, но жестами и междометиями он давал знать, что в запасе имеет нечто посущественней.

Эти обещания плюс два-три комплимента моим сочинениям заставили меня им заинтересоваться. Я побывал у него в одном из южных пригородов Питера, послушал его тайные и пылкие стихи – по тому времени несомненную крамолу. Я этого и ожидал, но предпочёл бы словесное экспериментаторство, дерзкую образность, какие-нибудь языковые находки... Та крамола, увы, была чисто политической, что было тоже интересно, но всё же не так. Одно стихотворение, например, осуждало мятеж декабристов, посягнувших на трон как на воплощение священных жизненных устоев, в другом – прославлялась жертвенность Белого движения, и всё это было написано и читалось в коммунистическом Ленинграде, «колыбели революции», в самый разгар брежневского, не требующего иного эпитета, правления.

И всё ж необычным здесь была не крамола, которой я сам навысказывал и наслушался довольно, но строй мыслей русского государственника и патриота, и при этом – молодого еврея. Даже для меня это было крутовато, не совсем адекватно, или скажем так: небезусловно.

Я заметил Бергеру, что вольное слово само по себе оппозиционно власти, даже без политической нагрузки. Такая нагрузка, конечно, придаёт стихам остроты, но не художественной, а той, что несёт одни беспокойства для автора. Конечно, он был со мной не согласен, усмотрел тут одну осторожность и предложил, с некоторым соревновательным вызовом, устроить у него моё чтение «для узкого круга, для самых доверенных его друзей». Только из-за этого вызова я согласился.

Через неделю я вновь был у Бергера. Небольшая вытянутая от двери к окну комнатуха не позволяла собравшимся создать этот самый «круг». Несколько чужих мне людей итээровского вида уселись в ряд на складном диванчике, я – на стуле напротив и наискосок от них. Прочитал пару последних стихотворений, реакции не почувствовал и, разозлясь, обвалил им на головы,

словно этажерку с книгами, свою многоголосую поэмину с дразнящим подзаголовком «почти молчание» в качестве обозначения жанра. Подразумевались здесь тучи и тучи невысказанных слов из той любовной бури, которую описывала (или лучше – выражала) поэма. Впрочем, я много подробнее высказался об этой истории в первой книге воспоминаний, в тех главах, что крепко разъярили московских и питерских критиков.

И тогда у Бергера тоже возник спор, чуть ли не перебранка, у меня с анонимными (Миша, Саша, Ирина) слушателями – о чём? – хоть убей, не помню, но выражался я, должно быть, весьма хлёстко. По крайней мере, некоторые из моих высказываний, вскоре после этого процитированных кагэбешным следователем, я выслушал с удивлением.

После чтения Толя Бергер пошёл проводить меня, и мы долго стояли на остановке, поджидая запаздывающий автобус. Балтийский с примесью местной гари ветер давно заставил меня съёжиться, запахнуть кашне, поднять воротник пальто. А он, наоборот, выпрямившись с голой шеей, с непокрытой лысеющей головой, всё твердил:

– Ничего, ничего, это ещё что! Выдержим...

Через месяц вдруг – хлоп по голове новостью! Его арестовали, да ещё как-то особенно погано, с мерзкими слухами, с инсинуациями, и к тому же заодно с Николаем Брауном-младшим, сыном Николая Леопольдовича. Подельники обвинялись в культе Гитлера, в ритуальном праздновании его дня рождения, а также в заговоре с целью покушения на жизнь верного ленинца Леонида Ильича Брежнева.

Звучало настолько дико, что не верилось ни единому слову, обвинение казалось натужной шуткой карательных органов, а узнать что-либо из независимых источников представлялось невозможным: как? Глушилки плотно завешивали радиоголоса, словно шторы в бомбёжку. К тому же, после вторжения в Чехословакию бесноватые цензоры стали применять особую технику: поверх монотонного воя накладывали какой-нибудь рок-н-ролл с подпрыгом, отобранный, должно быть, у фарцовщиков, и слушать такое было пыткой для ушей.

Приходилось идти к таким же, как ты, оглушённым. Я в ту пору общался с одной литераторской парой, в квартире на первом этаже на улице Чайковского (но не композитора, а террориста), бывшей Сергиевской, по имени Свято-Сергиевского подворья, когда-то располагавшегося на углу с Литейным. В новейшие времена её так и не переименовали обратно – зачем? Вместо монастыря там построено бюро пропусков в Большой дом, а Чайковский звучит музыкально.

В той квартире жили Севостьяновы, Саша и Мила. Меня с ними познакомил Довлатов, которого они дружно обожали. Саша, худощавый блондин с тоской в голубых глазах, служил сначала простым рабочим, а потом и непростым, театральным, то есть – рабочим сцены, но писал, как и Довлатов, прозу, при этом – психологическую и деревенскую, даже со станичным уклоном, ибо родом был из казаков. Может быть, стиль его рассказов не выглядел или не звучал при устных чтениях особенно самостоятельным, но для казака подражать не Шолохову или Крючкову, а, например, Шервуду Андерсену было очень даже шикарно.

Его кругленькая Мила, всегда с сигаретой в мелких зубах и скифским разрезом глаз, была тоже творческой личностью и работала, опять же, как Довлатов, в одной из многотиражек. И она, и её младшая сестра Ира с обликом и взглядом, как на утреннем автопортрете Серебряковой, происходили из семьи Лансере. Младшая была замужем за театральным художником, у сестры гостила по праздникам, когда приглашалась молодая богема, с которой, иронически посмеиваясь, смешивались старшие, и происходила некоторая вакханалия, в центре которой, как правило, оказывалась Ирочка, импровизирующая сиртаки, да так, словно ей одной удалось воспринять этот танец с последнего незатопленного острова Атлантиды. С чем рифмовался этот танец, с ритмом ноги, с поворотами молодого стана и плечей? С тем, что все греки были юными, не так ли? Не так ли, Ира? Весёлые часы и дни празднеств у Севостьяновых повторялись нередко, как будто каждому из них удавалось родиться по нескольку раз в году.

На более скромных застольях, естественно, делились и слухами, хотя и скудно. Время-то было мрачное, откатное. Год назад вдарили по Праге, а теперь отдачу почувствовали всюду. Вот ещё и дело Брауна… Как-то всё это, в особенности культ Гитлера, не согласуется с тем, что его отец – осторожнейший литературный чиновник, проводящий в «Звезде» сугубо партийную линию.

– Из немцев… – разъяснил Довлатов. – Я Колю Брауна немного знаю, – типичный плейбой. В одной специфической компании предложил всем танцевать голыми. Я, человек от природы стеснительный, не смог ему последовать, а он прыгал так, что его жёлтая пипка шлёпала по животу.

Всё-таки он – мастер ёмкого описания. Но именно это, слишком уж «в струю» со слухами, заставило вспомнить, кем служил Сергей ещё недавно: исполнительно-жевательными мышцами в пенитенциарной системе. И я вдруг перестал доверять

Довлатову.

Между тем моё древо жизни дало сильную боковую ветвь: устыдившись работы в пропагандном ведомстве, я ушёл с телевидения, о котором так исчерпывающе выразилась Н. Я. Мандельштам. Ушёл, но делал вид, что ещё связан. Получилось так: я готовил серию передач под условным названием «Гулливер в стране полимеров» и на заглавную роль приглашал специалистов из родной Техноложки. Один из моих высокоумных ведущих проницательно оглядел нашу редакционную шатию-братию и вдруг предложил:

– Вы знаете, я иногда даю консультации во ВНИИ профтехобразования. Есть такое заведение на улице Черняховского, параллельно Лиговке. Там сейчас как раз освободилось место научного сотрудника. Работа – строго между нами – «не бей лежачего». Изредка – командировки. Почему бы вам не попробовать?

– Весьма заинтересован.

– Сошлитесь на меня, а я им позвоню. И попробуйте отстоять для себя как можно больше библиотечных дней – у вас будет время, чтобы писать.

– Решено!

И мы с Гулливером затрясли друг друга в рукопожатии.

Договариваясь с заведующей отделом на новой работе, я отнюдь не лгал, выторговывая себе свободные дни для ещё не оконченных передач. А когда они всё-таки закончились, договор остался в силе: я ходил скучать на улицу Черняховского за те же деньги, но через день.

Прогулки в обед бывали интересны. Окна заведения выходили на зады Крестовоздвиженского собора, своим фасадом с колонным полукружием и ладной Предтеченской колокольней глядящими на Лиговку. Я обошёл всё это подворье, но ходу внутрь не было: там находились неизвестно что производящие мастерские. «Монумент-скульптура» – смутно всплывает в моей памяти вывеска на жёлтой стене собора. Обогнув квартал по Обводному каналу, я шёл по стыдливо открывающимся задворкам и чувствовал к ним жалость, наподобие тютчевской. Только вместо «бедных селений и скудной природы» я видел неказистую котельную и мусорный контейнер с гипсовым ломом – отходы монументально-декоративного производства. Среди разбитых фрагментов можно было разглядеть пернатые обломки крыльев, задранную кверху белеющую ногу – скорее всего, юношескую. Ангел? Не может быть.

Вернувшись в отдел, я тут же вышел покурить на лестницу, откуда из окна была видна та же свалка, но – сверху. И вдруг

меня осенило: это – Икар. По замыслу скульптора – Икар взлетающий, что было исключительно в жилу для пропаганды выдающихся достижений в космосе и вело к массовому изготовлению садово-парковых изваяний. Но увы, увы! Произошло то, что никакой штукарь-ваятель не мог предусмотреть: авария в космосе, гибель космонавта и, соответственно, падение Икара. Именно его гипсовая нога и торчала из пучины обломков.

Нашла меня заведующая отделом, по виду – типичная училка, может быть, даже заслуженная. Даже какой-нибудь республики: судя по разрезу глаз, Башкирской или Калмыцкой. Почему-то я воображал, что она, вопреки своему положению в научном институте, тайно верующая, может быть – буддистка, и ждал от неё знаков. Действительно, она заметно волновалась, но произнесла всего лишь:

– Вас разыскивает ученый секретарь.

На цырлах – к нему. У того протокольная внешность, да я и раньше слыхал, что на этих должностях все – из Большого дома. Это немедленно подтвердилось:

– Мне сейчас звонили с Литейного... Вас вызывают в КГБ.

– По какому делу?

– Там узнаете. Вот номер телефона, набирайте сейчас и договаривайтесь.

Как театр начинается с вешалки, Мёртвый дом Госбезопасности начинался за квартал от себя, на Сергиевом подворье, перестроенном в бетонный куб: Бюро пропусков. Со страхом и отвращением я вошёл внутрь, но там было на удивление оживлённо. Как в нормальном советском учреждении, в зале ожидания стояла очередь к единственному открытому окошку. Я стал приглядываться к лицам и не увидел ни тени затравленности или замкнутого ожесточения, как это предполагалось бы у жертв. Неужели все они сексоты, стукачи? Вот сейчас, например, пропуск получает, слегка суетясь, какой-то типичный работяга – пьющий водопроводчик, да и только! Войдёт такой к тебе, будто из ЖЭКа, мол, батареи не текут? Стояк по всему зданию проверяем, а сам: зырь-зырь по полкам, по столу. Там корешок «Доктора Живаго» приметит, здесь – пухлую зачитанную машинопись... А за ним в очереди – какая-то тётка из гастронома. Ей-то что здесь делать? На соседа, должно быть, доносит. Так вот же – рядом на стенке висит деревянный ящичек с прорезью «Для заявлений уполномоченному ЛО КГБ». Дощечки – тёплого обжитого цвета, древесина залапана, затрогана множеством рук. Но тётке, – в точности, как та, что у меня за стенкой живёт, – надо же и устно что-нибудь сокровенное

добавить. За ней – интеллигент из служащих, прочая конторская публика, кто-то чуть с богемным оттенком: замшевый пиджак. Все – свои в доску. Прямо передо мной – парень с открытым честным лицом, спокойными глазами. Вот такому так и тянет раскрыть свою душу начистоту, задружить с ним, закорешить, поделиться тем, что душу мутит, вместе во всём разобраться. Между тем парень уже у окошка. Слышу:

– У меня временный пропуск уже истёк, а постоянный ещё не готов. Что делать?

– На стажировке? Выписываю разовый. А постоянный получите в отделе.

Дальше уже мне:

– Вход с Воинова, пятый подъезд.

Прошмыгнул туда, пряча глаза от прохожих, чтоб за стукача не приняли. Потомили меня там, ещё раз проверяя паспорт, провели наверх, оставили в пустом кабинете. В тоскливом ожидании просидел я неизвестно сколько – минут? Часов? Не буду раздувать их на месяцы и годы, но это была часть психологической обработки: время тут – понятие мнимое. Вошёл рыжеватый коротко стриженный рослый военный с хорошими рычагами рук и с твёрдым взглядом. Представился:

– Старший следователь по особо важным делам Лесняков.

И пошло-поехало. Да? Нет. Да? Нет. Не знаю. Не помню. Слышал, но не знаком.

– Почему же не познакомились?

– Дома у них не бывал. С Николаем Леопольдовичем – только в редакции и на заседаниях литературного кружка.

– Ас Бергером?

– То же самое.

– А дома у него разве не были? Утаивать не советую. Он дал нам подробные показания об этом. Вот – протокол допроса за его подписью. И дополнительно изложил всё вот в этих тетрадях. Можете взглянуть. Узнаёте почерк?

Боже ж ты мой! Как это он успел столько накатать в две толстенных тетради – правда, крупным, как фасоль, почерком? Чего он тут наисповедовал?

– А эти стихи вам знакомы? – суёт ворох машинописи. Вот что-то про посягнувших на трон декабристов, вот нечто про Белое движение, прочее – лирическая лабуда.

– Возможно, я их и слышал, но со слуха как-то не запомнил.

– Как вы их сейчас оцениваете?

– Мне лично они не нравятся. Нехватка художественности восполняется политикой.

– Значит, вы предпочитаете художественность? Бергер

приводит тут ваше высказывание: «Что художник нахаркает, то и есть искусство!» Это ваши слова?

Зазвонил телефон. Я, естественно, слышал только реплики следователя:

– Да, да, здесь. Да как вам сказать? Ни рыба, ни мясо... Хорошо, слушаюсь.

Внутренне я взвился на паршивое выражение, но на подначку его не пошёл, слишком уж явно это было сработано. А по поводу «харкающего искусством художника» ответил:

– Знаете, это высказывание не в моём стиле. Если я и произнёс такую фразу, то, наверное, кого-то процитировал, а кого – не помню.

Вышел я на Литейный не только в полном изнурении, но и с гадким чувством опозоренности. Зря, конечно, разозлился на бедного Толю. Но вроде бы лишнего не наговорил, ни ему, ни себе не напортил. Да, «ни рыба, ни мясо», пусть они так и считают. Старшие! Следователи! По особо важным делам! Государственной, видите ли, безопасности! Ахинея какая-то.

Жутко хотелось всё это обсудить, успокоиться, выпить. Я был поблизости от Севостьяновых. Они оказались дома, но когда я пустился рассказывать, оба воззрились на меня с молчаливым упрёком, который, после выразительной паузы, чётко «озвучила» Милочка:

– Димушок! Что же ты нас впутываешь? Ведь под монастырь подводишь!

Наверное, кроме пошлого суффикса, они были по-своему правы, и я тут же ушёл восвояси.

А получили подследственные и затем подсудимые соответственно: Браун – семь лет, и Бергер – четыре года в Мордовии, плюс два года ссылки в Красноярском крае.

В ГОСТЯХ У БАГРОВА-ВНУКА

Мой рекомендатель был не совсем прав: да, новая работёнка оказалась и в самом деле не бей лежачего, но при этом довольно «пыльной». Даже при посещении её через день в голове накапливались, как на книжных шкафах, серые наслоения, и развеивать их было чрезвычайно непросто. Кроме начальницы, якобы верующей, в отделе имелись две блондинки, молодая и молодящаяся, два честолюбца моего возраста из бывших школьных учителей, да ещё юный специалист, модный мальчик общительного нрава: вот с ним-то я чаще всего и разговаривал в перерывах. Он был вполне благовоспитан и даже учтив, но тёмен до чрезвычайности, отчего задавал мне уйму вопросов на разные темы, в том числе и касающиеся общественного и государственного устройства нашей страны. Ну, от ответов без труда можно было уклониться, но с каждым таким вопросом я всё более укреплялся в подозрениях, что мальчик этот скорее всего стукач. Стукач и стукач, мне-то что? Всё ж было досадно, а неподтверждённое подозрение отягощало меня возможной неправотой. Но и это, к счастью, оказалось фантазией: мальчик был-таки молодцом и впоследствии подтвердил это!

Наконец явилось верное средство от скуки и мнительности – послали меня в командировку: город Уфа! В дорогу я взял Сергея Аксакова «Детские годы Багрова-внука», протекшие в тех самых окрестностях, и, конечно, не пожалел. Сама Уфа в своей татарской части показалась мне хаотическим скопищем домишек и переулков, негостеприимно развёрнутых к пешеходу глинобитными задами. Склоны оврагов, заселённые на такой манер, дробились подъёмами и вывертами. Площадь внезапно открывала из-за угла своё пыльное пространство с силуэтом мечети на краю. Самым впечатляющим был крутой скат к реке Белой, поросший кустарником и высоченными осокорями (заимствую это словцо из аксаковских описаний), сама Белая, блестевшая водными разворотами, появляющимися из-за вязовых крон, и в особенности – пойма низкого противоположного берега, уходящая в дымку башкирской лесостепи. И надо всем – беспредельная голубизна.

Химический комбинат, к которому имела отношение моя командировка, располагался выше по течению и, увы, доминировал над мирной и вневременной местностью, и без него уже отмеченной конным монументом с такой идеей, чтоб было национально, но не слишком вызывающе – Салават Юлаев! Из комбината исходило более простое послание этому миру: вонь,

шип, лязг, пыль и пар, что означало загрязнение воды, воздуха и почвы, а также содержало совет являться туда как можно реже. Что я и делал.

Поселившись в полупустой высотной гостинице между городом и комбинатом, я часами смаковал тексты Аксакова и бродил по чащам и рощам, спускающимся к реке. И текст оживал: «Весёлое пение птичек неслось со всех сторон, но все голоса покрывались свистами, раскатами и щёлканьем соловьёв». Правда, «весёлое пение птичек» представляло собой нестерпимый штамп, но зато пассаж насчёт соловьиного пения воспринимался неплохо, и я поставил себе сверхзадачу: наслушаться этого вволю. Я не помнил, слышал ли я соловья раньше, а раз не помнил, так значит и нет. Долго я бродил, вслушиваясь во влажную тишину зарослей. Прощебечет ли какая-нибудь пеночка, зальётся ли трелью малиновка или зяблик, а я уж настороже – не это ли соловей? Наконец солнечные пятна сместились наискось со светло-глинистых тропок на ветви подлеска, стало понемногу смеркаться, и я услышал первую полновесную пробу: тии – вить – тук! И сразу раскрылась акустика леса, как будто опытный настройщик тронул клавиши в концертном зале. Да не настройщик, а мастер! Тю – ит, тю – ит, пуль – пуль – пуль – пуль, клы – клы – клы – клы, пью, пью, ци – фи, цы – фи, фьюиюиюиюю, го – го – го – го – ту! Так записал эти звуки Тургенев. Но как раз сейчас попались они мне в современной записи, сделанной некоей Мариной Гончаровой, причём не где-нибудь ещё, а в моём родном Таврическом саду. Неужели я этого раньше не слышал? – Купил-купил! Пил-пил! Тю-тю! Ить! Ить! – Кувик, кувик! Куписки, куписки! Фитюк, фитюк! Фить! – Чувак, чувак, кулик, кулик! На пески, на пески! Витюк, витюк, вить, фук!

В стороне послышался другой певец, затем в упоении ещё один, так что все иные голоса и в самом деле «покрывались свистами, раскатами и щёлканьем соловьёв». Я захотел приблизиться, чтобы рассмотреть кого-либо из солистов, да и полнее расслышать их звуки, и стал потихоньку подкрадываться. Вот наконец и певун: побольше воробья, но поменьше дрозда, в сером с лёгкой ряпинкой оперении и особым чутким достоинством в осанке, отличающей виртуоза. Мне показалось, что даже развилина веток, где он находился, выбрана была картинно: хоть в раму вставляй. Но – порх! – и он улетел.

Я всё гадал: неужели не сохранился в Уфе дом Аксаковых, тот самый, где зимовал Серёжа Багров, с нетерпением ожидая, когда же вся их семья отправится на лето в любимую им Сергеевку? «А вот как река пойдёт», – обыкновенно отвечал отец и вторил ему старый слуга Евсеич. Текст этот застрял в голове ещё с седьмого

класса, когда опрятный старичок Абрамов строго диктовал его нам, ученикам неполной средней школы на Таврической улице: «Торопливо заглянул Евсеич в мою детскую и тревожно-радостным голосом сказал: “Белая тронулась!” Мать позволила, и в одну минуту, тепло одетый, я уже стоял на крыльце и жадно следил глазами, как шла между неподвижных берегов огромная полоса синего, тёмного, а иногда и жёлтого льда».

Каждая запятая, помнится, должна была стоять на месте в этом почти сакральном пассаже, но вопросы по содержанию так и оставались в памяти невытащенными занозами: ну почему нельзя было наблюдать ледоход из окон, если дом и так стоял на берегу? Зачем нужно было одеваться, выбегать на крыльцо?

Конечно, служащие гостиницы слухом не слыхивали об Аксакове, но дорогу в краеведческий музей они объяснили. Там оказалась прелюбопытная художественная галерея – ведь это был родной город академика живописи Михаила Нестерова. Я увидел эскизы к «Видению отрока Варфоломея», пейзажи, варианты известного портрета дочери в амазонке и разахался. Две служительницы в серых, как у уборщиц, халатах позволили мне заглянуть в их запасник. Помимо Нестерова здесь оставил свой след Леонид Пастернак, отец поэта. Но совсем неожиданной находкой для меня оказалась живопись братьев Бурлюков, Давида, Николая и Владимира, которые отсиживались в тяжёлую эпоху поблизости, в вотчине их отца, акцизного чиновника. Пересидели они там и революционную заварушку, отъедаясь и времени зря не теряя. Все ли трое? Трудно сказать. Наваляли, конечно, множество футуристической мазни, среди которой попадались и сущие шедевры. Перебирать эти холсты оказалось занятием трансцендентным и спиритическим: не хватало лишь запахов олифы и скипидара, чтобы всеми чувствами перенестись в их мастерскую.

Вот, например, баба кирпичного цвета полулежит раскорякой, а на неё с холма сползает зелёная черепаха. Думаю, на выставках барышни будут визжать, глядя на эту «Фантазию», обыватель плеваться, а знатоки, глядишь, и одобрят: «Футуризм – искусство будущего!» Меня привлекла более мастеровитая натура в стиле скорей импрессионистическом, чем «пост»: «Сидящая Маруся» – ню в сиреневых гольфах на лужайке, глядящая на зрителя с выражением чуть попроще, чем у Моны Лизы. Из-за длинных спортивных носков голизна тела казалась особенно дразнящей. Кажется, это была работа Николая. Его же – более реалистический портрет башкирского мальчика и женские головки. Пейзажи деревни Иглино уже неизвестно чьи, но среди них выделялся один с весенней грязью на переднем плане и

домишками, освещёнными сзади горячим солнцем. Грязь была оптимистическая, одухотворённая, как «De profundis», из глубины своих грехов радующаяся весеннему воскресенью.

Я уже стал приписывать удачи одному лишь Николаю, но тут наткнулся на точную атрибуцию: «Д. Д. Бурлюк. Красный полдень». И это был шедевр, достойный любого музея! В нём только что мной увиденная базарная площадь, пыльная и угасшая, вдруг вспыхивала и накалялась солнцем, облака ярко неслись над нею, а нагретая поверхность готова была лопнуть, расколовшись на призмы и пирамиды, но в эдаком предкубистическом состоянии остановилась в момент разлома.

После всего увиденного я вышел оттуда богачом, объевшимся впечатлениями, в придачу оставалось лишь отыскать дом Аксаковых – в музее мне выдали адрес. Правда, с какой-то двусмысленной запинкой.

Длинный одноэтажный дом стоял торцом к береговому срезу, поросшему густо и высоко, и я сразу убедился, что из окон реку никак не увидать за деревьями. А крыльцо, к которому я приближался, действительно выходило на улицу, которая просекой спускалась к самой Белой. Только с крыльца и можно было её увидеть. Величия в доме не обнаруживалось, но была домовитость и укоренённость, как и в самом Аксакове. Внутрь, однако, я не вошёл, но понял музейную запинку: там теперь располагался «Кожно-венерологический диспансер» – так гласила вывеска у входа.

В ПАСМУРНОМ БАКУ

Как я упоминал ранее, в нашем отделе работали две блондинки. Молодая была очень даже миловидна, хорошо сложена, стильно одевалась и вообще подпадала под категорию «почему бы и нет», хотя в категорию «да, это она» всё-таки не входила. Но на всякий случай со мной держалась с некоторой опаской, глянуть в глаза – ни боже мой, разговаривала лишь о работе. И вот выпала ей череда ехать в командировку – причём не одной, а с кем-то ещё из отдела. И этот кто-то, похоже, должен был оказаться мною. Как она, бедная, взволновалась! Закрылась у начальницы, долго её, видимо, убеждала, и что ж? Уехала с тем славным мальчиком, с которым я частенько беседовал на вольные темы.

А мне вскоре пришлось тоже поехать в командировку, но с другой блондинкой. Та, хоть и молодилась, ни под какие мои категории уже не подпадала. Зато у неё оказался могущественный покровитель в Закавказье, куда мы направлялись, и её там встречали как королеву. А мне, соответственно, досталась, ни дать ни взять, роль пажа или, если хотите, адъютанта при ней. К самому покровителю, который был министром (председателем госкомитета) Азербайджана по образованию, мы восходили по ступеням его иерархии.

Сумгаит. Запах мазута и пыли, вдали – Каспий, к водам которого не тянет даже в жару. ПТУ нефтяников, расположенное в стандартном здании школы. Входим к директору. Обстановка – казённая, но с колоритом: накидки, ковры. Массивное лицо, сужающееся кверху, к крутой волне белоснежной шевелюры. Брови же, наоборот, жгуче-черны, как и тоненькая вертикальная полоска усиков под носом. Выражение лица – вельможно-величественное, жестикуляция тоже. Вносится фарфоровый чайник на подносе с набором приталенных стаканчиков. Разливается чай, предлагается косхалва. Ведётся неторопливая беседа, одновременно даются короткие указания беззвучно входящим и выходящим помощникам. Чайная церемония затягивается, но нам дают понять, что всё ещё впереди.

Наконец эскортом из газика и коломбины (версия микроавтобуса) нас подвозят за пару кварталов оттуда к типично советской стекляшке «Фабрика-кухня № 2». Там – пусто, хотя ещё и витает запах общепита. Да в углу торопливо доедают что-то последние посетители. На задах – суета персонала в белых фартуках, доносится волшебный аромат капнувшего на жаровню жирка с маринадом, а в центре уже накрыт пиршественный стол,

уставленный дарами моря, гор и долин. И – виноградников, конечно. Коньяки, водки, вина. Контрабандная белужья икра. Зелень, закуски, маринады и солёности, копчёности. Дипломатические здравицы, имитирующие стиль международных приёмов:

– За советско-азербайджанскую дружбу!

Конечно же, шашлыки из баранины с печёным луком, пряной подливой и маринованным чесноком. И – верх кулинарного совершенства, впервые мною отведанный – шашлык из осетрины с гранатовым соусом нар-шарап.

– За дорогих гостей из прекрасного города на Неве!

– За гостеприимных хозяев. За ваше здоровье, богатый и щедрый Азиз-ага-муэллим!

От аэродромного павильона с надписью «БАКЫ» – мимо придорожных маслин и кедров, по крепкому шоссе со скоростью, ощутимой даже после самолёта – в город. Штрихи пропадающего под дождём снега, сквозные вышки, качающие нефть безлюдно на серо-коричневых склонах, такого же цвета отары овец, чередование холмов с протяжённостью долин – всё это слагается в затейливый и свежий ритм, напоминающий чем-то волю, вольность. Ну, может быть, лишь региональную, местную.

«Совет халгына эшг олсун!» – таким окриком встречает Баку нашу голубую коломбину. Шофёр Айдын в широкоформатном кепи бросает автомобиль в зазор между автобусом и Кразом, мы ахаем и замечаем, что уже мчимся по городу: базар, пустырь, нефтеперегонный завод, шашлычная, – вот из чего складывается на первый взгляд город Бакы.

В центре не без губернского шика, конечно, всё гораздо приглядней и многомерней. Там контрастно сошлись две экзотики: пальмовые ветви гнулись под снегом. От моря с нефтяными вышками, от Девичьей башни с романтической и кровожадной легендой поднимались улицы ступенями и площадками в гору. Чтоб осмотреться, я заходил во дворы, похожие на внутренность бараньих тушек с рёбрами лестниц и галерей. В этом восхождении город виделся мне лишь как дробность, я же искал его цельный образ, эмблему, но она и так подразумевалась: нефть. Вокруг нефти вскипало и пучилось как настоящее, так и былое, где на жаровнях стреляли вдруг жиром и голубыми дымками шашлыки, восседали князья, а потоки квалифицированной рабсилы направлялись на бурение скважин, выкачивание этой самой нефти, её перегонку в ректификационных колоннах, отделяющих чёрное золото от червонного, которое сыпалось в карманы хозяев жизни. И вот на высоком холме в точке схода городских перспектив я увидел

строение с широким обзором. Там, как мне завистливо-мечтательно дали понять местные, была главная столичная ресторация и происходили лукулловы загулы начальства. А над строением, словно на его цоколе, возвышалась громадная фигура крепыша Кирова в ораторской позе, попиравшего весь лежащий под ним ландшафт. Он и был другим, насильственным символом города – даже не рукой, а пятой Москвы.

Когда мы вошли в кабинет, коротышка-министр бросился к моей дебелой спутнице, но бросок его завершился всего лишь рукопожатием. Министр удостоверился, что приём в Сумгаите был по нашей оценке «более чем великолепным», и нас препроводили в гостиницу «для своих». Она представляла из себя просто-напросто квартиру с казённой мебелью, телевизором, пустым холодильником и горкой, укомплектованной двумя дюжинами фужеров. Блондинка тут же упорхнула, а я остался смотреть телевизор.

Как раз передавали финальную игру с чемпионата мира по хоккею. Финалистами стали чехи и наши – и это притом, что менее года прошло с подавления «Пражской весны». Стало быть, на матче ожидалась большая заруба! Советские хоккеисты вышли в красной форме, что ещё определённей указывало: тут не только спорт, а битва символов. Я нечасто смотрю спортивные состязания, а болею за какую-либо команду ещё реже, но в таких случаях переживаю за слабых и оттого всегда бываю разочарован. И здесь я от всей души желал проигрыша нашим, восторженно любовался диагональными проходами битника Недоманского к воротам Пучкова, страстно ненавидел массивного Рагулина, игравшего в тот раз, вопреки своему обыкновению, в шлеме, когда он останавливал стремительные скольжения чехов. Зрелище само по себе было остро динамичным, вратари в страшных масках то и дело отбивали шайбу, то одна, то другая команда вела в счёте, а к концу установилось шаткое равновесие 3:3. Я упивался своим изменничеством, и, мстительно желая проигрыша нашим, оказался заодно с Владимиром Печериным, русским иезуитом и невозвращенцем XIX века:

Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать её уничтоженья,
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного деннщу возрожденья.

Последняя строчка у него, конечно, захромала неуклюжей инверсией, но мысль ясна и в целом выражена хлёстко.

– Г-о-о-о-о-л!!! – это уже кричу я.

Чехи на последней минуте становятся чемпионами.

Но какова оказалась моя коллега и попутчица! Вернувшись с какого-то, по-видимому, министерского угощения (может быть, даже в той самой ресторации у кировского подножья), она сделала мне едва ли скромное предложение – оставить её на какое-то время одну в квартире:

– Дмитрий Васильевич! Сходите куда-нибудь в кино, что ли... Вот вам, – она попыталась сунуть два рубля.

– Что вы, что вы, Вера Назаровна! У меня своих нет, что ли?

Этот её нестерпимо вульгарный жест, не говоря о самой ситуации, заставил меня чуть ли не выбежать наружу. Чёрный автомобиль, стоявший на углу квартала, тронулся с места и медленно двинулся по направлению к нашей «гостинице»... Как в детективе! Долго бродил я по улицам незнакомого города, скудно сдобренным неоновыми огнями. Одна из надписей меня привлекла, я почувствовал зверский голод. Из двери подвальчика слышались ритмически-заунывные звуки, под которые мне тут же представился по меньшей мере танец живота, потянуло оттуда чем-то пряным и съестным, и я оказался внутри накуренного зальца с низким потолком, столиками и невысокой эстрадой.

Странно: ни одной женщины. Кажется, там не было также и ничего спиртного. Между тем солидные мужские компании, сидящие вокруг, явно пришли сюда хорошо провести время. И они веселились, то и дело обращаясь к музыкантам, коих было всего двое, но шум производили они порядочный. Младший поддерживал своим бубном с цимбалами затейливый восточный ритм, а старший с электромандолиной, наоборот, вёл какую-то простенькую мелодию. Он же пел в микрофон куплеты, вызывающие взрывы смеха за столиками. Пел он, разумеется, на здешнем турецком, но звали его грузинским именем Андроник. Время от времени кто-нибудь отваливался от своей компании и поощрял Андроника, но рубль шёл не прямо в смушковую шапку, стоящую ведром на полу, а непременно в руку музыканта, отвлекая её от мандолины на миг, полный торжественного бахвальства. И вдруг – что я слышу? Андроник запел на понятном языке:

Я больная, ты больной,
приходи ко мне домой,
будем вместе стрептоцид глотать,
генацвале!

Обрадовался я, как при встрече с чем-то знакомым, почти родным. Это же антикварная пошлость, как мило, как любезно с

его стороны! Но глотать стрептоцид мне было незачем, да и не с кем, я расплатился за ужин и ушёл.

В ЕРЕВАНЕ БЕЗ АРАРАТА

Утром моя коллега объявила, что она задерживается в Баку на неопределённое время, и я с облегчением вылетел в Ереван один. Вряд ли я побывал бы в столь примечательном, но уж очень далёком городе по собственному почину, без помощи моего НИИ, поэтому, наверное, пора предельно кратко изложить, зачем я туда ездил. Моя контора разрабатывала научно обоснованные методики, как лучше готовить рабочих для промышленности. Например, нефтяников. Наука выдвигала гипотезу: с тренажёрами их готовить гораздо лучше, чем без тренажёров. Мысль очевидная, но для её обоснования нужно поставить эксперимент с учащимися. В профтехучилищах (ПТУ), которые были закреплены за нами, я заключал финансовый договор с преподавателями, и они внедряли методику обучения, обречённую на успех: брали две группы, экспериментальную и контрольную, и одну обучали с тренажёром, а другую без. «Для пущей вящести» в первую набирали сообразительных ребят, а во вторую тупоголовых. Результаты присылали мне с отчётом, я это обрабатывал и сдавал в научную часть, и кто-то там кропал себе «диссер».

Один из двух пэтэушных преподавателей, с кем мне предстояло заключить договор, встречал меня в Ереване на потрёпанном «Москвиче», которым правил его брат Манук.

Небо было затянуто, но склоны холмистого взгорья и без солнца разворачивали желто-коричневые и розово-пурпурные плоскости так, что они казались телесными, тёплыми. Глина и туф – вот на чём и вот из чего высился и раскидывался этот город нежных, естественных тонов и пропорций. Меня, как я понял, везли на дом к другому преподавателю, где как раз сейчас начала готовиться пирушка «в честь дорогого гостя», а потому братья выжидали и со вкусом провезли меня по Еревану, останавливаясь и гордясь достопримечательностями. Правда, Манук не всегда верно находил к ним дорогу, но никогда не разворачивался, а, заехав не туда, головокружительно подавал машину задним ходом.

Холм Эребуни. Влажная глина, впечатывающая каждый шаг в свою трёхтысячелетнюю историю. Дворцовые стены, а точнее – всего лишь полы и фундаменты царя Аргишти. Клинопись на камне: «Я, владыка...» А владыка чего? Глины?

– У нас самая большая история. Первое в мире государство!

– Да, древность... Урарту! Помню со школы.

Оттуда – к центру города, где недавно открылся юбилейный

фонтан, отмечающий, по существу, вечность этой страны: прямоугольник воды в массивных каменных бортах и мириады бьющих кверху струй.

– Здесь столько фонтанов, сколько лет нашему государству. У нас вторая в мире вода, но зато первый в мире камень!

Дальше – новопостроенное розовое здание: Библиотека древних рукописей. Внутрь мы не идём, но у братьев появляется новая тема для национальной гордости: армянский язык.

– Учёные доказали, что он лучше других подходит для мирового языка.

– Какого? Эсперанто?

– Вот этого. Слушай. Если кто родился, мы говорим «цанвецав» – горе. Если плохая жизнь, мы говорим «мецацав» – большое горе. Если кто умер, мы говорим «магацав» – опять горе. Ты понял?

– Понял. Жизнь – юдоль страданий.

– Вот!

Наконец мы в гостях у другого смуглого брюнета. Скромная квартира в новостройке, скромница-жена, даже не присевшая за стол, весь уставленный яствами, которые она же и наготовила. Нет, еда, конечно же, простая, но роскошь! Выпечка с сыром, лаваш, почти чёрная душистая бастурма для закуски, пучки свежей зелени – лука, мяты, киндзы, много маринованных и свежих овощей. И, конечно же, шпаги шашлыков с острой и пряной подливою! И – веселящие запахи и возгласы пирушки! И – коньяк, – причём самый подлинный, с тремя звёздами и Араратом, – лучше и благородней любого многозвёздного, как утверждают знатоки.

За что мне такие почести? Чем я могу за них отплатить? Я ведь не любовница министра!

– Не беспокойся. Ты наш гость. Вот приедем в Ленинград, ты будешь нас принимать.

Я представил себя эту картину и осёкся, решив как-то расплатиться с ними здесь, на месте.

Заключение договора на следующее утро заняло не более двадцати минут, и мы приступили ко второму туру развлечений: Эчмиадзин. По пути сделали крюк и объехали вокруг неменьшей достопримечательности. Трест «Арарат» вместе с заводом и погребами-хранилищами находился внутри внушительной цитадели с мрачными стенами и чуть ли не подъёмными мостами над окружающим рвом. Во всяком случае, было впечатление полной неприступности этой крепости для мародёров и прочих любителей поживиться. Такая же стена отделяла, помнится, и завод шампанских вин в Ленинграде, где я имел честь строить

один из погребов, но можно ли отлучить выпивку от выпивох? Действительно, в ереванских магазинах найти коньяк было немыслимо, между тем как бутылки с Араратом и звёздными наклейками украшали столы жителей розового города.

Но тут ударил час раннего обеда, и мы остановились у придорожной харчевни. Здесь уж я решил, что наступает мой джентльменский черёд, и первым вскочил из-за стола, чтобы расплатиться у кассы. Не тут-то было! Короткая реплика по-армянски, и кассир (это был мужчина) вместо моих денег взял плату, протянутую из-за моего плеча. Я был в отчаянии.

– Успокойся, друг! – признался наконец мой сопровождающий. – Это ведь не мои деньги. Нам специально выдают суммы для приёма гостей из Центра.

И действительно. Я припомнил, что институтец мой, хоть и находился на задах Лиговки, был не просто НИИ, а ВНИИ, то есть Всесоюзным научно-исследовательским центром. Какое облегчение! Больше я об этом не думал.

Стоит ли мне здесь описывать Эчмиадзин? Место, конечно, пленительное, впечатляющее своей духовностью. Это – армянский эквивалент того, чем является Троице-Сергиева лавра для русских или Ватикан для итальянцев, да и для всех католиков. Но мне претят путевые очерки туристов-отпускников и отпускниц с легкомысленным пёрышком в одной руке и пухлым бедекером в другой – менее всего я хотел бы им уподобить свой текст. Лучше отошлю читателя к последнему тому энциклопедии поискать там на букву «Э». Звук этот, между прочим, изображается по-армянски буквой, похожей на пятёрку с высоким жезлом и обозначает слово «Бог». Он-то меня и сберёг на пути обратно.

Наша поездка должна была иметь эффектный финал. Заставили меня любоваться грубыми изваяниями крылатых быков, чья видимая мощь всё-таки была неадекватна реальным возможностям этой небольшой страны, да и конкретно этих вот потомков Ноевых сыновей, моих смуглых сверстников, похожих один на другого как братья, только один с усами, а другой – без. Они были мне симпатичны и для уровня преподавателей ПТУ сообщали достаточно: и об истории армян, и об их окружённости врагами, теперешними и давнишними. Действительно, геноцид 1915 года для них был почти вчерашним событием, и в этом они были схожи с потомками Авраама, Исаака и Иакова. Так же гордились историческими несчастьями, верили в национальную исключительность, знали наперечёт всех своих гениев и чтили диаспору.

Заканчивал поездку по их замыслу вид на Арарат. Подвезли меня к краю обзорной площадки, откуда должна была

развернуться панорама долины (уже – турецкой), а дальше – увы... Пухлая стена тумана заслоняла весь дальнейший вид. Спутники мои были огорчены донельзя, даже извинялись за погоду. Стали утешать:

– Ты второй человек, который не смог увидеть Арарат. Первый был русский царь. Приехал, а здесь дождик идёт...

Гора, красующаяся на государственном гербе Армении и на их наиболее знаменитом продукте (всё-таки он не первый в мире, увы) оказалась за пределами моего зрения.

И вообще – за границей.

АСТРАХАНСКИЕ СУТКИ

Возвращаться мне пришлось рейсом с короткой остановкой в Астрахани, и я, разохотившись на впечатления, жалел, что не успею там ничего увидеть.

Ещё на пути в аэропорт присоседилась ко мне в автобусе разбитная особа, назвавшаяся Людмилой Хамовой, что ей вполне соответствовало. От нечего делать я дал себя вовлечь в её забавную интригу. За ней, оказывается, пустился бурно ухаживать здешний предприниматель (это в советские-то времена), и она просила меня не препятствовать ей изображать перед ним мою жену. Предприниматель тут же и объявился и, подсев к нам в самолёте, назвался мебельным фабрикантом Давидом. Это был рано толстеющий и лысеющий сангвиник примерно моих лет, возбуждённый своими успехами и деньгами, как уже имеющимися, так и предстоящими. И, конечно, кокетливыми ужимками Хамовой, моей мнимой супруги. Меня он беспрерывно угощал коньяком и сигаретами «Филип Моррис», усыпляя супружескую бдительность, закармливал виноградом «дамские пальчики» и внаглую ухаживал за Людмилой. Между тем приближался момент, когда мы все едва не погибли в воздухе.

Дело в том, что после краткой посадки в Астрахани самолёт взлетел (это был, кажется, турбореактивный ИЛ)

и на подъёме врезался в клин перелётных гусей. Гусиный пух вмёртвую залепил ему один двигатель, но, по счастью, не оба, и пилот умудрился развернуть машину обратно и приземлиться. Долго и томительно самолёт продержали на полосе и наконец сообщили, что рейс задерживается «по техническим причинам». Томили, томили, мучили ожиданием, затем объявили, что полёт возобновится лишь утром, а ночлег предоставят в гостинице. Только тогда я узнал об истинной причине задержки.

Мой мнимый брак к тому времени сам собою расторгся, Людмила с Давидом растворились где-то в номерах, а я рванул на автобусе в город, связанный для меня в первую очередь с Председателем Земного Шара. Сюда он стремился перед кончиной, пока Митурич не затащил его под Новгород; здесь его отец, орнитолог, основал птичий заповедник, в результате чего у нас имелся гусь. Но я мечтал закупить вяленых лещей, сколько на то хватит моих подорожных, привезти их целый мешок домой и устроить пивное празднество. Увы, базар уже успел закрыться, и я тем же автобусом доехал до центра.

* * *

Даже астраханский кремль не представлял собой достопримечательность, разве что его стены. Располагались там пукты ДОСААФ и ГРОБ (гражданская оборона), стоял грузовик, пачкающий соляркой булыжную мостовую, и стало мне там пыльно и тоскливо. Автобус вывез меня из города, и, когда стал виден аэропорт, я вышел в степь. Ржавые трубы были кое-как свалены среди сухого былья, поодаль закатилась в приямок мятая металлическая бочка, пятна солярки расплывались на плоской супеси, распространённой на все четыре стороны и переходящей вдали в бледную голубизну неба. И вдруг всё преобразилось, зазолотилось сиянием: я жив! Я ещё увижу чудеса света, свершу великие замыслы, испытаю любовь сверхкрасавиц и звёзд, исполнюсь днями! И главное, духом вознесусь в мировой и словесной гармонии. Да что там – уже возношусь...

Слёзы дикого вдохновения брызнули у меня из глаз, я побежал (побежал!) по степи в направлении аэропорта.

У «РОДИНЫ-МАТЕРИ»

Любезный мой Германцев, оказавшись «на химии» в сибирской ссылке (о причинах этого – чуть позже) бывал осведомлён о культурно-артистической жизни обеих столиц не меньше моего. Вот что он писал из своего пургатория в Новокузнецке от 20 апреля:

> Деметр! На обороте – пастишь Наймана а-ля Элиот с элементами поп-арта, но мне, ей-богу, нравится. Спасибо за письмо, автопортрет и смелую разгадку пушкинского ребуса. «Волны» твои всем нравятся. Мой бывший однокурсник, преподающий в местном ВУЗе теорию литературы, отметил «изысканное сочетание ямба и анапеста, почти не встречающееся в поэзии, а также удачную форму семистишия, насыщенность и афористичность».

Далее он писал о художнике Зеленине, о пирушках с актёрами и актрисами местного театра, а на обороте, действительно, было напечатано стихотворение «Проезд Соломенной сторожки», в котором образная полифония осложнялась введением иноязычных строк на итальянском, французском и английском. Причём очень естественно! Стихи из Умберто Сабы, Бодлера и оперы Перселла «Дидона и Эней» фонетически отражались в русском тексте, и это музыкально обогащало его. Между тем за симфоническим рокотом звучала московская, весьма гротескная историйка:

Средь ветхих на снос идущих дачек
помещичью я увидел усадьбу
с крышей стеклянной и с колоннадой,
с хриплым псом за глухим забором.
Во двор въезжали машины с гипсом
и увозили, укрыв брезентом,
«Перекуём мечи на орала»...
Можно ли верить древним старухам,
писающим посреди тротуара?
Говорят, что хозяин здесь не бывает,
что он ни лепить, ни ваять не умеет,
еврей, выдающий себя за серба.

Заканчивалось всё каким-то английским лимериком в стиле весёлого цинизма, характерного для нашего общего друга.

К тому времени и Рейн, и Найман окончательно обосновались в Москве, где вполне осуществилась для них мечта жить на свободных хлебах: для Рейна сценарно-журналистских, а для Наймана переводческих. Их личные отношения перетасовались не лучшим образом, а в условиях замкнутого сообщества это могло обозначать, да и обозначало только вражду. Разумеется, с некоторыми перемириями. То один, то другой наведывался в Ленинград, – думаю, что с неизбежным ностальгическим чувством, и мы встречались дружески. Рейн даже останавливался в моей коммуналке на Петроградской стороне, по утрам занимал у меня бритву, злословил о знаменитостях, хвастался успехами, клянчил у меня ключи для встреч с какими-то красавицами, получал отказ и затем исчезал.

Найман, видимо, ночевал у младшего брата, пошедшего в инженерию, но мы с ним встречались чаще, полней, живей, сердечней. И длинно переписывались. Наведывался и я к нему в Москву. После одного такого дружеского заседания на Дмитровском шоссе он вышел меня проводить.

Мы отправились к другой ветке метро через полудачный посёлок, неожиданно для меня оказавшийся посреди застроившейся Москвы. Запущенные домики с бузиной в углу забора, узкие проулки, по которым может проехать, раскачиваясь бортами, лишь один грузовик с газовыми баллонами. Заборы были и повыше, и поглуше, а названия совсем диковинные: «Проезд Соломенной сторожки». Что это? Найман увлекательно рассказывал историю посёлка, сам себя перебивая, отвлекаясь даже излишне на заботу, чтоб я не споткнулся, чтоб под ногой не оказалась лужа – вот тут и вон там… Вдруг остановился у сказал:

– Посмотри сейчас вверх! Узнаёшь?

Я чуть не сел. В тесноте проулка над высоченным забором полнеба застилала бетонная туча с чертами человеческого, даже как будто женского лица. С искажённым в крике ртом. Если бы звук соответствовал гримасе, он бы разрушил округу. Но рот был безмолвен.

– А ты загляни за забор! Только осторожно…

Я посмотрел в щель ворот, и сразу же на мой погляд изнутри прыгнули два волкодава с оглушительным лаем. Отскочив, всё же я успел заметить колонный портик усадьбы, каменный торс титанического автоматчика с круглым диском и несколько сравнительно мелких Ильичей. Мастерская Вучетича! А над забором высилась, конечно, голова Родины-матери «в натуральную величину».

Этот громадный монумент на Мамаевом кургане я видел совсем недавно в ещё одной рабочей поездке в город Волжский, соединённый с Волгоградом через плотину электростанции. Плотина была лишь недавно построена и на моей памяти несколько лет служила пропагандной моделью для прессы, так же как, разумеется, и электростанция, и химкомбинат, да и весь Волжский – «самый молодой город в стране». Меня и поселили-то в молодёжном общежитии, причём в женском, но султаном в гареме или петухом в курятнике я себя не чувствовал: мне выделили комнату с семью пустыми койками в изолированном незаселённом этаже. Большей частью мне было жарко, пыльно, голодно и, конечно же, одиноко, и я пытался рассеяться, бродя вдоль Ахтубы, либо уезжая в Волгоград.

Электричка была пущена по верху плотины, и с одной стороны в её грязнущие окна были видны подступающие волны «Волжского моря», а с другой взгляд мутно парил над простором, где далеко внизу возобновляла своё нижнее течение великая река, впадавшая, в конце концов, в Каспийское море.

Оттуда, поднимаясь в её русле, шли против течения косяки осетров, каждый год, многие и многие тысячелетия и даже миллионолетия тянулись каждым хрящом своим вверх, и вдруг – стоп! Бетонная плотина. На ходу электрички видно было, как огромные рыбы выпрыгивали из воды в мезозойском недоумении. Над ними вились чайки, кружили по бурлящей воде моторки браконьеров, кое-где виднелись милицейские фуражки, и всё это копошение происходило в очевидном единении. Последнее, что я заметил из электрички, было тело огромной рыбины, взлетевшее в воздух. Да – так и оставшееся в памяти: далее сквозь муть окна замелькали стены депо, кучи щебня и будки стрелочников.

Волгоград с его помпезным центром и парадным береговым спуском выглядел вполне по-сталински, по-сталинградски, а зияния и пустыри меж домами как бы указывали, чуть не тыкали тебя носом в землю, ради которой разыгрывалось, может быть, самое кровопролитное сражение Великой войны. Земля, прямо сказать, была так себе: сорная, выжженная, пыльная. Ясно, что дело было не в ней.

Родина-мать нависала над редкими насаждениями при подъезде, и весь ландшафт казался опасно свихнувшимся, перешедшим в другое измерение. Там начиналось мифологическое пространство и, поднимаясь к нему, я видел то каменный торс размером с батальон автоматчиков, то, входя в круглый склеп с именами сотен тысяч жертво-героев на стенах, смотрел в оторопи на их коллективную мёртвую руку с факелом, желтовато высунутую из земли.

Сама грозовая, замахнувшаяся мечом Родина представляла гибрид гулливерской Венеры с великанскою Никой: имелся даже тяжеловесный намёк на крыло. Но голова была не античной, а самой что ни на есть советской, с обкорнанными коротко волосами. В полуобороте назад её рот немотно гремел что-то беспощадное, но что? Вот в стихах у Слуцкого вырвалось позднее (пусть даже словами его персонажа):

Волга впадает в Каспийское море...
Не верю!.. Весь мир – пропаганда.

И я не верю. А правду сказать не могу – ещё рано.

ДРУГОЙ ГЕРМАНЦЕВ

Имя Германцева лишь изредка упоминалось на страницах этих заметок, а между тем в каких-то эпизодах моей жизненной оперы ему случалось быть хоровым запевалой. В качестве собирательного и несколько условного персонажа он впервые появился у Анатолия Наймана в романе-эссе «Поэзия и неправда» заодно с такими безусловно реальными фигурами, как Бродский, Рейн, сам Найман или я. Критики впоследствии попрекали Наймана тем, что Германцев его – всего лишь зеркальный образ, отражающий автора в альтернативной реальности, то есть не в самой жизни, а в её поворотах. Ну, во-первых, на допросы в КГБ выдёргивали, как редиску с грядки, наверное, каждого из нас, и вероятность превратиться из свидетеля в обвиняемого выпадала едва ль не на любого третьего или четвёртого. Вот Германцев таким первым-вторым и оказался. А главное, узнаваемым и убедительным был стиль его жизни с неприятием всего, что принудительно насаждалось в обществе. С неприятием аскетическим, надо сказать, и упорным. Иначе говоря, я вижу под этим именем конкретную персону, знакомую мне на протяжении всей жизни, и это лишь нормально, что у Наймана его многосторонняя личность предстала в несколько иных разворотах, чем виделась мне.

Чтобы выразить это различие, я, пожалуй, немного изменю его имя в сторону большего сходства с прототипом. Впрочем, имени своего он не любил, назывался по фамилии и специально для друзей извлёк из неё корень квадратный: Герман. Пусть так.

По своей внешности, да отчасти и по характеру он мог бы успешно играть роль теневого друга-инспиратора при любом Фаусте, буде таковой обрёлся в одной из ленинградских компаний в те годы. Увы, ни Фауста, ни Гёте он не нашёл и потому дружил со многими, составляя по умственным запчастям да шестерёнкам образ своего коллективного напарника, *кореша,* – выражался он исключительно на тогдашнем арго, но без мата, не признавая язык газет и официоза.

Мы стали видеться с ним довольно часто, когда он бросил свой ВТУЗ, тот самый, что чуть позже заканчивал Рейн. Ну, с Рейном понятно: получив диплом, он избежал солдатчины. А вот Германцев решил ни за какими такими зайцами не гоняться, поскольку службе в армии не подлежал из-за позвоночника, якобы повреждённого при падении с дерева. Как его занесло туда наверх, он скромно умалчивал, но ходил коньком-горбунком, подняв плечи и закинув назад голову, как Мандельштам.

Освобождённое от сопроматов и диаматов время Герман бросил на языки, попросту глотая увлекательные материалы сначала только из польских, а потом из итальянских, английских и прочих европейских журналов в Публичке: о кино, выставках, скандалах со знаменитостями, стиле в одежде и поведении. Скоро он стал экспертом-западником, и не только среди деклассированной «сайгонской» богемы – к его острым замечаниям прислушивались и «юноши из интеллигентных семей», тяготеющие к вольному слову. Ну, и девушки, само собой… К счастью, нам были любы девушки разных типов, и это нашу дружбу спасало. Да случись и пересечения, думаю, это нас бы не разобщило. А вот в литературе вкусы почти совпадали. И так и эдак отношения крепли.

Каким-то необъяснимым образом он оказался в Вологде, что-то вкрутил в мозги местным библиотекаршам, и в результате вернулся в Питер с томиком «Фиесты» Хемингуэя. В знак расположения подарил книгу мне, и вот она передо мной с рассыпающимися листами, изданная на худой бумаге в 1935-м, с пометами проверок в 1940, 1947, 1950-м и 1955 году, с печатью: «Вологда. Обязательный экземпляр государственной книжной палаты. Пользоваться бережно». И со штампами на 17-й и последней странице: «Вологодская областная библиотека им. Н. Г. Чернышевского». Добыть такое казалось тогда геройством. Книга запорхала из рук в руки. Считалась шикарнейшей фраза, телеграфированная из Сен-Себастьяна в Памплону, и мы её имитировали и смаковали: «Милый! Мне хорошо и спокойно. Брэт». Назовите, кто б не мечтал получить такую телеграмму? Чтобы вернуть книгу из уже двадцать восьмых рук, я прошёл по всей цепочке, благо, что все собрались на каком-то модном концерте в филармонии. К разъезду я вышел на последнего – им был Володя Герасимов:

– Отдавай книгу!

– В настоящий момент её у меня нет. Я дал почитать матери Лёши Лифшица.

– Так. Это будут уже двадцать девятые руки. Звони ей сейчас же.

– Ты хочешь, чтобы я беспокоил почтенную даму в одиннадцатом часу вечера? Это же варварство!

– А зажиливать книги не варварство? Звони немедленно! – потребовал я беспощадно.

Он мог бы справедливо возразить по поводу явно имеющегося здесь факта библиотечного хищения, но не возразил, и на следующий день книга вернулась. Что общего было у нас с её героями, обеспеченными американскими бездельниками, болтающимися по Европе в поисках удовольствий и развлечений?

Ну, во-первых, молодость, а во-вторых, этот стиль – что в жизни, что в письме. Мы бы и сами были такими, окажись на их месте. Да и не так уж они бездельничали – вкалывали, гнали строку, ну а потом, естественно, «культурно отдыхали», как говорили у нас прежде, или «оттягивались по полной», как говорят сейчас. К тому же, у всех были свои болячки, от которых они пытались отвлечься, участвуя в мужественном и ярком зрелище – бое быков. Фиеста, праздник! Каждый из нас немного играл в эту книгу, особенно это получалось у Германцева, даже внешне: обязательный свитер, непременные американские джинсы (а на что ж тогда знание языков?), короткая битниковская стрижка и непокрытая голова при любой погоде. В стране пыжиков и кроликов это являло собой заметный контраст.

Я попытался играть в фиесту с другим ленинградским денди, Ильёй Авербахом, предложив ему потратить один из выходных с самого утра на посещение злачных мест, выпивку и разговоры об «иронии и жалости». Я предложил зайти для начала в блинную, расположенную в подвальчике на Невском, и его ирония была вот именно что безжалостна. Ещё бы – блинная! Действительно, когда я заказал порцию коньяку (я настаивал именно на «порции»), буфетчик пожелал уточнить:

– А сколько именно: сто пятьдесят или двести? Может быть, начнёте с соточки, а там посмотрим?

В этом счёте на граммы изгонялся сам дух фиесты. Убогость быта карикатурно высмеивала наше западничество, особенно в случае Германцева, да и всего его круга, куда я включил бы и Хвоста, и Енота, и Славинского, да и Швейка, о которых я уже писал или ещё напишу. Последний, по свидетельству Довлатова, заявил при допросе в милиции (его привлекли за тунеядство):

– Да, я работаю мало... Но я ведь и ем мало!

Это полностью относилось и к Герману. Пустая консервная банка, когда-то опустошённая за обедом, теперь служила пепельницей, перевёрнутый ящик годился для застолья. Правда, имел место диван, но спинка от него, распластанная на полу, предоставлялась как ложе для засидевшегося гостя (или гостьи). Зато извлекался откуда-то сам-, а потом уже и тамиздат, могла вдруг возникнуть пачка «Мальборо», а то и бутыль «Столичной» в экспортном исполнении – правда, без закуски. Тогда уже начиналась праздничная роскошь, фиеста с последующей изгагой и интеллектуальным шумом в голове.

* * *

Будучи иногородним, Герман обеспечил себе номинальную прописку, но вынужден был снимать жильё: всякий раз довольно фантастическое. Какое-то время он жил минутах в пятнадцати ходьбы от меня, на 9-й Советско-Рождественской. Странное дело – мои близкие и, прежде всего, мать и Федосья терпеть не могли двух из моих ценимых друзей: его и Горбаневскую. Наверное, чуяли каким-то инстинктом их будущее пребывание «в казённом доме», опасались моей вовлечённости в их дела... Но именно эти двое так ощутимо поддержали меня на Западе! Чей же инстинкт оказался вернее? Как бы то ни было, а Германцев гораздо реже навещал меня на Таврической, чем я его в гротескно-мрачном подвале на Девятой, где он снимал часть дворницкой на совершенно божеских, как он уверял, условиях. Достопримечательностью там была уборная, расположенная, из-за чрезвычайной заглублённости подвала, на возвышении, так что посетители должны были восходить по нужде, как на трон или же на эшафот, что кому больше нравилось.

* * *

У меня в ту пору возникли виды на одну даму. Нельзя сказать, что такую уж прекрасную, хотя звали её как раз Елена. Я знаком был с ней и раньше, она нравилась мне ладной, немного мальчишеской фигуркой и стрижкой «под пажа», сходство с которым усиливалось из-за её увлечения фехтованием. Любо-дорого бывало поздороваться с ней у Зимнего стадиона, спешащей туда с рапирой на тренировку. Но у неё развивался в то время бурный роман, завершившийся браком с преуспевающим (и при этом талантливым) художником. К тому же он был хорош собой и носил совершенно неземное имя! Увы, райского счастья у них не получилось, они драматически расстались, бедняжка лишилась своего (буквально) света в окошке и попыталась наложить на себя руки. Даже после больничных перипетий она оставалась зациклена на нём: свет, свет и свет... Я не выдержал:

– Ну что «свет»? Нужно ведь и самой что-нибудь излучать!

Она вдруг очнулась:

– Что ты сегодня вечером делаешь?

– Обещал зайти к Германцеву.

– Возьми меня! Я хочу с ним познакомиться.

– Хорошо, пойдём вместе.

– Только я буду с подругой!

Как было ей отказать? Но эта зашоренная Елена, эта навязанная попутчица, её ожидание – всё предвещало

испорченный вечер. Наконец подруга явилась (полное невзрачие), и мы добрались до того Девятого подземелья. Герман королевствовал в своём крепко накуренном кругу, шутки уже клонились к абстракции, даже сюру. Изо рта в рот пошла обслюнявленная цигарка: джойнт! Неужели и я приложился? Вряд ли, иначе б запомнил. Зачем же я здесь? Елена сняла с меня обязательства перед ней, и я побрёл по морозцу домой. До работы оставалось ещё часов пять сна.

Не тут-то было! Среди ночи – звонок. Чтобы не перебудить всех, бросаюсь к телефону.

– Кто это? Что надо?

– Где моя дочь? Дайте немедленно адрес притона, куда вы её отвезли!

– Знаете что? Оставьте меня в покое. Дочь ваша – взрослая особа, сама знает, куда ей ходить.

И – шварк трубкой! Звонит опять. Я дал отбой, подержал трубку подольше на коротких гудках, положил. Звонит всё равно:

– Как вы смеете! Я – полковник Советской армии! Я обращусь в КГБ!

– Вот что, полковник: не шумите. Люди спят. Я сейчас пойду по тому адресу и отправлю вашу дочку домой. Больше не звонить.

Что тут было делать? Пришлось идти. Я догадался надеть семейные валенки и захрустел порошей по оледенелой Таврической. Мороз заворачивал крепко, голова прояснилась. Значит, этот ревнивец-папаша, не дождавшись дочурки, стал давить на Елену, и та ему выдала мой номер! Ну, спасибо...

Вот и подвальное окошко. Стучу в него:

– Герман! Герман!

Выскакивает очумело.

– Это ты, Деметр? Забыл чего?

– Девица у тебя?

– Уже час как уехала на такси. А что?

– Её папаша у меня весь телефон оборвал: где дочка? Что ты в ней нашёл, такой замухрышке?

– Не скажи... Кожа у неё хорошая!

* * *

Некоторое время мы с Германом не виделись, а когда встретились, он, оказывается, вдруг «помолодел»: стал опять учащимся, поступил на филфак, да ещё и на английское отделение. Вполусерьёз говаривал он, что из них готовят будущих шпионов, а общий снимок первокурсников на картошке фотограф

мог бы выгодно продать «Интелледжент Сервис», потому что там – все до одного. Острота рискованная, но надо было знать, с кем так шутить.

Кумиром его оставался Стась Красовицкий, а хвалил он при мне больше Наймана, показывал неизвестные мне тексты, читал стихи наизусть. Иногда я мог бы даже ревниво досадовать, если б не был уверен, что и обо мне Герман худого не скажет. Общался он с множеством лиц и, перенося идеи (вместе с байками, шутками, может быть, даже и сплетнями) из компании в компанию, совершал, как пчела, перекрёстное опыление. Создавал общий стиль.

Вдруг объявил:

– Тебе нужно познакомиться с Хвостом!

Я уже и сам был наслышан. От Германа же – от кого ещё? Он и тексты пустотно-абстрактные демонстрировал, и песенки волохонско-хвостенковские напевал. Это было забавно, и я был не прочь полюбоваться на такое чудо света. Пришли мы с ним в коммуналку на Греческом проспекте уже хорошо за полдень, часу во втором. Открывает добрый молодец хипповой наружности и в халате на голое тело. Алёша.

– Рад буду познакомиться, – говорит. – Только подождите минутку у двери.

Постояли мы, два тридцатилетних дуралея, в коридоре, думая, что он брюки тем временем натягивает.

Входим. А там – театр.

ХВОСТ ПРИНИМАЕТ ВИЗИТЁРОВ

Сцена представляет собой захламлённую комнату в типичной ленинградской квартире. Её не убирали уже лет двадцать, а до этого – ещё сорок. Слева – пыльные окна, вокруг – поломанная мебель вперемешку с подрамниками, пустыми бутылками и раздавленными тюбиками красок. Справа стоит мольберт с неумелым наброском женской фигуры зеленовато-кишечных тонов. В центре находится двуспальная кровать, на которой возлежит парочка. Это – Алёша и Элеонора, оба в чём мать родила. Целомудренные зрительницы могут набросить на них лёгкую накидку. Входят Германцев и Бобышев.

Хвостенко *(лёжа)*. Добро пожаловать! Я Алёша Хвостенко. Но можете называть меня просто Хвост.

Элеонора *(лёжа)*. А меня – просто Дунька. Хи-хи! *(Прикрывает ладонью выбитый зуб.)*

Германцев *(дипломатично)*. Мы тут шли мимо, решили заглянуть.

Гости осторожно садятся на ломаные стулья.

Хвостенко. Пожалуйста, глядите. *(Указывает на мольберт.)* Вот моя последняя работа метафизического плана. В ней поднимается тема: из чего сделана женщина? Ответ: из дерьма.

Элеонора *(прикрываясь ладонью):* Хи-хи!

Хвостенко. Дунька, молчи! А вам нравится?

Бобышев. Нет.

Германцев. А по-моему, клёво.

Хвостенко *(не обидевшись)*. Ну, ничего. Я прочитаю вам «Вторую священную книгу Верпы». Первой книги вообще не существует, я начал прямо со второй. Верпа – это персонаж наподобие Заратустры. *(Камлает)*. Ну как, понравилось?

Бобышев. Нет.

Германцев. А, по-моему, так гениально, старик!

Хвостенко *(озабоченно)*. Ну, и правильно. Мы лучше споём вам частушки. Дунька, запевай!

(Поют дуэтом на мотив «Калинка-малинка».)

Мы весёлые покойнички,
развесёлые покойнички.
Могилка, могилка моя,
раскудрявая могилка моя.
Наши гробики дубовые,
наши саваны шелковые.
Могилка, могилка моя,

раскудрявая могилка моя.
Мы во гробиках поплясываем,
кверху косточки подбрасываем.
Могилка, могилка моя,
раскудрявая могилка моя!
Хвостенко. Ну как, нравится?
Бобышев. Вот это – да...
Германцев. Ну, я ж тебе говорил!
Элеонора. Ая нравлюсь?
Бобышев. Очень.

Занавес.

АДМИРАЛЬСКИЙ ЧАС

Парочку эту я встретил потом, и в одетом виде, в Москве, совершенно случайно. Хорошенькую Дуньку, правда, украшал ещё и синяк под глазом, но она была так же непосредственна. Синяк на такой славной мордочке меня возмутил, и я наорал на Хвоста, объявив Дуньку поколенческим достоянием, а ему как-то по-белогвардейски и бретёрски пригрозив купировать хвост и заодно уши. Он добродушно поинтересовался, что значит глагол «купировать». Я объяснил, что так поступают со щенками боксёров и доберманов. Он повздыхал и в свою очередь пожаловался на Дуньку – она, оказывается, пырнула его кухонным ножом в бок, он лишь оборонялся.

– Хорошо ещё, что в ребро, а не между.

– Ас чего это она так?

– По пьяни...

Тут уж мне крыть было нечем.

Затем я видел их уже отдельно. Его – в других мировых столицах: Париже, Лондоне и Нью-Йорке, её – в ином образе и в бывшей столице, которая вдруг припомнила своё прежнее название: Санкт-Петербург. А затем мы все умерли, распались на частицы, перемешавшись с прочим мусором этого Мира, наши души улетели в трансцендентный астрал, а личности оставили свои отпечатки на чём придётся – на фотографиях, на листах бумаги, в каких-то записях и, в частности, в этом вот человекотексте, специально для того и задуманном.

И вот из него или из подобного ему источника вновь возникает мой друг Германцев уже на Васильевском острове, где-то на пересечении Среднего проспекта и Кадетской линии. В эту историческую эпоху она называется Съездовской, ибо дело происходит при советской власти, в жаркий день августа 1968 года. Рядом с Германцевым вполне естественно возникает автор этих заметок, и вместе мы бредём к новому пристанищу нашего гиперактивного бездельника, либерала и опылителя чахлых лужаек ленинградского андеграунда. Довольно позднее утро, воскресенье. Уже несколько дней, как «наши» танки давят «Пражскую весну», оккупировав Чехословакию. Александр Дубчек арестован, самосожженец Ян Палах ярко пылает на площади Св. Вацлава. Маринин рыцарь Брунсвик бессильно высится над рекой вровень с Карловым мостом. Влтавские лебеди тщетно попрошайничают в своих заводях, людям до них сейчас нет дела.

Все эти дни мне было и страшно, и срамно одновременно. «Голоса» в приёмнике глушились топотом и гиком. Вот я и поехал

с утра к Герману в надежде на его диссидентские связи, потому что – дальше же некуда, что-то надо же, наконец, сделать! Но и связи в тот день, если были, все притаились. Я вошёл в арку двора, повернул налево. Над этажами коммуналок высился купол Св. Екатерины, и на нём каменный ангел странно и грозно заносил свою десницу. Видимо, эта рука в своё время поддерживала крест, представить который было более чем уместно на православном соборе. Но креста-то и не было, десница воздымалась в жесте, проклинающем беспамятных святотатцев внизу.

Герман оказался дома, его окошко, едва возвышающееся над асфальтом двора, было открыто, и он пригласил меня зайти прямо через подоконник. Но тема разговора требовала открытого воздуха, и вот мы идём по «Васькиной деревне» к Неве, находясь ещё в видимости разгневанного ангела.

Уже жарко, у пивного ларька толпится мятая, изжёванная рабочей неделей очередь. Но не заливать же и нам зенки в такие дни! Попадающиеся навстречу офицеры из Военно-транспортной академии отводят глаза в сторону. На набережной обдувает, на Менделеевской линии затишье, а площадь перед БАНом, где впоследствии встанет бронзовый академик Сахаров на соловецком валуне, сейчас испускает жар. Мы мрачно обмениваемся новостями:

– Людвиг Свобода в Москве, Дубчек неизвестно где и жив ли, а Пеликан, Шик и Смрковский уже, кажется, в Вене!

– Что же нам делать? Вот и Академик умолк, и Солж затаился.

– Ну, с Солжа-то всё и началось в Праге. Как зачитали на писательском съезде его «Письмо о цензуре», так и пошло...

– Да, ему есть ради чего беречься!

– Побережёмся и мы. Нема дурных!

Мы идём мимо заколоченных лабазов Биржевого, выходим на Волховской переулок, где работает наша подруга Галя Руби. Но – воскресенье, Галя уехала с родителями на дачу на 69-й километр, где сейчас пропалывает их огородец, рассаживает «усы» клубники, чертыхаясь на весь свет. В момент, когда мы сворачиваем на Тучков переулок, пушка на Петропавловке выстреливает полдень. Адмиральский час! Мы выходим опять на Средний и покупаем у молодого узбека арбуз.

– Бери. Сладкий!

* * *

А в этот момент на Красной площади в 635 километрах к югу и чуть к востоку от нас семеро смельчаков, собравшихся у Лобного места, вынимают транспаранты из коляски с грудным ребёнком и разворачивают их в сторону Кремля:

– Позор оккупантам!

– Руки прочь от ЧССР!

– За вашу и нашу свободу!

Среди смельчаков находится и восьмой, ничего не подозревающий младенец Ося Горбаневский, Наташин младший сын (а старшего Ясика она оставила дома). К ним уже бегут агенты: скрутить, немедленно вырвать из рук, разорвать, растоптать, разбить в кровь лицо…

Когда дошли сведения об этом событии, они вызвали у нас вспышки стыда и приливы гордости вместе с какимто облегчением, как если бы в казённом накопителе, где впору было б топор вешать, вдруг открыли форточку.

Вся история изложена в документальной книге Натальи Горбаневской «Полдень».

Между тем Германцев взялся за ум и скоростным образом закончил филфак университета. Представляю, сколько было там насмешек над сокращённым названием этого факультета, особенно на английском отделении. Выпускникам оставалось лишь стоически напускать на себя довольную ухмылку: да, мол, любим мы это дело. А кто не любит?

Девушки-филологини действительно окружали Германа. Как ни зайдёшь к нему в каморку «Под ангелом», так, глядишь, там две или даже три крутятся. Я, признаться, кроме младости, никаких особенных добродетелей за ними не замечал. Но постепенно всех вытеснила одна, и, поскольку Герман порой откликался на Герасима, её прозывали Муму.

Я был приглашён на свадьбу прямо в ЗАГС и оказался единственным свидетелем. Расписавшись, они поехали к родителям невесты на Кондратьевский. Я и там пребывал в гостевом одиночестве. Тесная квартирка, телевизор, полированная мебелишка, горка с каким-никаким хрусталём, на столе – угощение. Родители – нормальные советские люди среднего достатка, встревоженно-растроганные замужеством дочери. Выпили подчёркнуто мало. В общем, взял я новобрачных с собой, и поехали мы к Арьевым, где как раз в тот вечер происходила самая милая форма общения: гибрид гулянки с литературным салоном. Молодожёны (и к тому же оба филологи) оказались там кстати.

На что они жили, для меня оставалось загадкой. Питались не иначе как маковой росой, – может быть, и в буквальном смысле.

Упоминались какие-то переводы, халтуры, порой для экзотических работодателей – например, для канцелярии митрополита Ленинградского, Новгородского и Ладожского. Возникали и исчезали книжные кирпичи тамиздата. Было одно впечатляющее приобретение: семнадцатитомный академический Пушкин в переплёте абрикосового цвета, откуда Германцев извлекал немало занимательных шарад.

– Как бы ты заполнил многоточие в этом незаконченном рассуждении Пушкина (правда, на французском, но вот оно в переводе): *«Почти все верования дают человеку два...»* Два чего? И вот окончание... Это могла быть одна фраза, но возможны и две, разделённые точкой.

– Давай-ка попробуем: *«...два соблазна. Первый – это благословение любой власти, и второй, – взамен справедливости, – загробное вознаграждение. В каждом из них имеется нечто такое же отвратительное, как атеизм, отвергаемый человеком».* Так годится?

– Ну, ты даёшь, Деметр. Чтоб религия предлагала соблазны... Это уже слишком!

– Для Пушкина ничего не слишком. Разве «Рыцарь бедный» не о соблазне? И – не о вознаграждении?

ДЕЛО ГЕРМАНЦЕВА

Если свадьба Германа была сыграна при единственном свидетеле (он же – посажённый отец), то день рождения вскоре после «нояпьских праздников» показал его не вмещаемую ни в какие стены и двери популярность. Я пришёл в назначенное время, застал самого и его Муму, ещё двух или трёх из бывших, не желавших уходить в отставку поклонниц, Костю А. и Лёню Е., только что вернувшегося из «мест не столь отдалённых». Костя недолюбливал меня «по бродской части», а я не особо жаловал Лёню. Но жалел.

Видел я его у Германцева ранее, не в полуподвале, а ещё в подземелье, в ломке, когда он готов был осколком стекла расписать либо физиономию аптекарши, либо свои запястья – всего лишь за таблетку кодеина. Я пытался тогда его урезонить:

– Лёня, ты что? Успокойся, – сядем, выпьем... Поговорим!

– Нет, водка грязная, не могу...

– Это водка-то? Что же тогда чистое?

– Наслаждение. Знаешь, американские учёные вживили крысам датчики прямо в мозг, в нервный центр наслаждений. Так крысы подохли с голоду, – ничего не жрали, только датчики эти дрочили. Во!

– Лёня, разве ж ты крыса? Ты же человек, вспомни!

* * *

Год назад понесло этого Лёню в Москву, там оказался у диссидентов. Взялся передать самиздат от Юрия Галанскова кому-то ещё, и его повязали. При аресте сунули в карман пятнадцать долларов, и за эти доллары припаяли полтора года лагерей. Срок небольшой (особенно по сравнению с Галансковым, который из лагеря не вернулся), а опыт богатый. Теперь вот Лёня пел со слезой «Позабыт, позаброшен».

Между тем гостей всё прибывало, от дыма (только ли табачного?) открыли окно, и гости прямо со двора запрыгали в комнату вместе с влажным островным холодом.

– Деметр, вот твой рьяный поклонник. Знакомьтесь.

– Очень рад видеть столь выдающегося поэта. Извините, между прочим, у меня грибок на пальцах. Но это ничего...

– Какой грибок?

– Ну, как на ногах бывает. А у меня аж на руки перекинулся.

При этом он пожимал мне руку. Подавал её другим гостям.

– А вот питерский всевед Алексей Сорокин. Знает каждый дом в городе.

Это «лицо бреющегося англичанина», как писали (не о нём, конечно) Ильф и Петров, мне уже доводилось видеть где-то. Пожимаю ещё одну руку. Все вены на ней, даже на пальцах, исколоты, воспалены. Каморка словно раздвигается, в неё входит улица с туманными фонарями, безликими прохожими… Выпить ещё, что ли? Но мой стакан уже опрокидывается в чей-то рот. И я медленно выплываю оттуда прямо в окно, как в рассказах у Миши Крайчика, писавшего то ли под Булгакова, то ли прямо под Гоголя, а скорей всего под общегосподствующий стиль самиздатских писателей.

О тогдашней жизни, связанной с Германцевым, осталось сообщить немного: книги. Книги и письма. К нему (и не только к нему) зачастили слависты. Упомянутый Костя, например, обихаживал немок. Гена Шмаков «дарил» друзьям ненужных ему американских аспиранток. Одна из них, специалистка по Андрею Белому, некоторое время считалась будущей женой Бродского (правда, так и осталась бывшей невестой обоих). А Германа навещали американские молодые профессора. Помимо блоков «Мальборо» это означало книги, книги и рукописи: тамиздат сюда, а самиздат в противоположную сторону. У него я познакомился с Биллом Чалсмой (в ином написании Тьялсмой), докторантом Массачусетского университета и учеником Юрия Иваска. О них обоих более подробно скажу в следующем томе, ЕБЖ (Лев Толстой). Будет сказано и о Джордже Гибиане, который тогда зарабатывал себе постоянное место в Корнеллском университете. Впрочем, о нём можно уже и сейчас. Чалсму он называл Биллочкой, с каким-то нежно-ироническим намёком, и в гостях у Германцева был много радушней ко мне, чем впоследствии на конференциях славистов уже в Штатах, когда узнал, что я ищу работу. Такая холодность не помешала мне, однако, использовать его отлично продуманную «Краткую антологию русской литературы XIX века» на моих курсах, когда я уже прочно трудоустроился. И ещё – по моей интуитивной догадке, соединяла нас незримая порука, та самая, что связывала с ним ничего не подозревающих физика Гильо, писателя Воскобойникова, тренера Свинарёва и тех, кто с ними, одной шёлковой скользящей верёвочкой, пленившей и меня, грешного. Но узел тот давно развязался, а Юры Гибиана уже и в живых-то нет.

Всё-таки, наверное, больше через Биллочку шли эти бумагопотоки, он вообще частенько оказывался в нужное время в нужном месте: например, в Праге 21 августа 1968-го года. С

женой Барбарой и четырьмя детьми. Откуда пришлось ему рвануть (вместе со всей чешской оппозицией) в Вену, и он тут же попал на заметку как матёрый агент ЦРУ, чуть ли не координатор «Пражской весны». Тем не менее на следующий год Билл прибыл к нам в Питер почти в том же составе (за вычетом оппозиции и с добавлением ещё одного ребёночка), и это через него, конечно, Иваск прислал письма, адресованные Бродскому и мне. Германцев привёз и оставил оба письма у меня.

– Я же с Иосифом теперь не контачу! Как я ему передам?

– Моё дело доставить, а вы разбирайтесь сами...

Не знаю насчёт Иосифа, но в письме ко мне комплименты в мой адрес показались ослепительными. Массачусетский профессор, возносясь до невозможных высот, сравнивал меня с Державиным, называл псалмопевцем, на все лады расхваливал строчки:

– Дай, Ласковый, дай, Грозный, муку, —
вскричал, – но покажи устройство горл,
дающих мёд и медь пустому звуку!
Гармонии отведать – я пришёл.

Похвалы были, что и говорить, крупны, но не чрезмерней же океанических расстояний, разделяющих меня с этим давнишним цветаевским корреспондентом, не чрезмерней же здешнего вакуума, духовного и литературного, в котором они воспринимались – нет, не мною! Читателями! Похвалы были нужны, конечно же, не как адекватная оценка, а как поддержка, которой я не имел уже годами, с той поры, когда была жива Ахматова.

И всё-таки это бесценное письмо (а я ответил на него обычной почтой), и даже оба письма я должен был уничтожить, опасаясь почти неизбежного обыска. Объяснялось это тем, что Германцева арестовали.

Последнее время я его заставал озабоченным, и вдруг он удивил меня просьбой:

– Устрой меня на работу!

– А ты и в самом деле будешь работать?

– Клянусь!

В нашем профтехобуче как раз освободилось место в отделе научной информации, и мой друг в него идеально вписывался. Я договорился с кадровиком, оставалось привести Германа. И тут дело застопорилось: как ни зайдёшь, его нет дома. Соседи отводят глаза, ничего якобы не знают. Наконец позвонил тот самый Костя, который...

– Тебя уже вызывали?

Как, что? Разговор, конечно, не телефонный, встретились. Оказывается, Германцев третий день как арестован и даёт показания. Костю таскали уже дважды.

– Судя по вопросам, шьют ему иностранцев, самиздат и всё такое прочее… Тянет на 70-ю, которая теперь 190-я.

* * *

Это впоследствии повернулось иначе. Но я всё же избавился от лишних бумаг и на всякий случай стал ходить на службу ежедневно. Вызвали меня незамедлительно, и опять через учёного секретаря. По какому делу? По делу Германцева, вестимо! Процедура уже известная: бюро пропусков на Сергиевской, затем подъезд, но не со Шпалерной, а для разнообразия с Фурштадтской, тогда называемой по имени головореза Каляева, своевременно казнённого в Шлиссельбурге. И ещё приятная новинка: вместо въедливо-проницательных, либо же неподкупно-честных физий чекистов – прехорошенькая мордочка с накрашенными, но недовольно надутыми губками. Холёными пальчиками заправляет в каретку бланк допроса, спрашивает мелодично фамилию, имя, отчество и всё остальное. Пригласить бы эту цыпу в погончиках для начала в кинотеатр «Великан», а то и прямо в кафе-мороженое в соседнем от меня доме, а затем предложить ей подняться, чтобы продолжить приятный разговор в домашней обстановке и, может быть, заодно послушать мою небольшую, но со вкусом подобранную коллекцию записей старинной музыки?

Надо же, какая порнография лезет в голову! Между тем она спрашивает и тут же на машинке печатает наманикюренными пальчикаи:

– Давно курите?

– Сигареты – с десятого класса. Но вы, наверное, имеете в виду что-то другое? Так я этого вовсе не употребляю.

– А Германцев вас разве не угощал? Вспомните, где вы находились 13 января 1967 года? Не отпирайтесь, у нас есть свидетельские показания. Вашего Германа два дня здесь ломало от наркотической абстиненции. Теперь он и сам это подтверждает.

– Что тут можно подтверждать-то? Какие ещё свидетельские показания?

– Надежда Занина вам известна? Она в тот вечер находилась с вами в притоне, который содержал Германцев на 9-й Советской,

и где вы вместе принимали наркотики.

В голове сразу запрыгали и сопоставились полузабытые фактики: это не та ли замухрышка с хорошей кожей, что навязалась мне? Не дочь ли возбуждённого полковника? Вот стукачка!

– Я указанную особу не помню. У Германцева по этому адресу, действительно, бывал в целях общения. Никаких наркотиков не принимал.

– А в притоне на Съездовской линии тоже не принимали? Что же вы там делали 10 ноября 1968 года?

– Какой притон? Я зашёл поздравить Германцева с днём рождения. Никаких наркотиков не было.

– А кто там ещё присутствовал?

– Он сам, его жена...

Помня, что тот самый Костя, который меня предупредил об аресте, у неё уже побывал, я посчитал, что могу без ущерба упомянуть и его. Я его назвал, и тут же понял, что сделал ошибку. Следовательша так и насела: а кто ещё, кто ещё?

– Кто был ещё, я не помню. Какие-то незнакомые мне люди. Да я и ушёл рано.

– Вы не помогаете следственному процессу, стараетесь его запутать. Такие действия могут быть квалифицированы как сопротивление правосудию. У вас до сих пор была хорошая репутация как научного работника. Но в вашем институте, видимо, плохо вас знают. Мы должны поставить администрацию в известность о вашем общественно-политическом лице. В общем, неприятности я вам гарантирую. Давайте ваш пропуск, я подпишу его на выход.

Неприятности, впрочем, разразились не сразу. Вначале пришли материалы из Еревана с результатами эксперимента, который я ставил в тамошней «ремеслухе» с помощью двух гостеприимцев. Они всё сделали толково, хоть сейчас сдавай их бумаги и контракт на подпись директора к оплате. Но написан отчёт был на несусветном, нелепейшем языке, годном разве что для анекдотов про «армянское радио». Пришлось все ошибки корректировать, недомолвки угадывать, стиль исправлять, а весь текст отдать машинистке перепечатать набело. В окончательном виде отчёт выглядел как конфетка, и я сдал его нашей башкирке. Через минуту она его мне возвращает: нет подписей экспериментаторов.

– Но я же не могу за них подписаться. Вот где их подписи – на черновике.

– Нет, нет, никаких черновиков. Подпишитесь за них в отчёте, иначе мы не сможем им оплатить по контракту.

– Нет, я за других лиц никак не могу подписываться.

– Поймите, нам же срежут бюджет на следующий год, если мы сейчас не выплатим. А вы упрямитесь!

Тут вдруг встрял тот симпатичный мальчик, что был моим собеседником при долгих перекурах:

– Давайте я подпишу! Я умею.

И с этим он довольно точно влепил в мой отчёт две армянских подписи.

– Вот и хорошо! – обратилась ко мне заслуженная башкирка. – Несите это теперь на подпись к директору.

– Может быть, вы сами ему отдадите?

– Нет, это ведь ваш эксперимент!

Сцена у директора разыгрывалась как по нотам.

У ДИРЕКТОРА

За двойной дверью, обитой дерматином и медью, – кабинет директора. Директор, типичный административный работник, сидит за просторным письменным столом. Рядом стоит научный секретарь, тоже достаточно типичный. Входит Бобышев.

Бобышев. Вот прислали отчёт из Еревана... Эксперимент... Подпишите к оплате...

Директор *(на секунду взглянув на бумаги)*. Отчёт фальшивый, подписи поддельные. Это вы их подделали.

Бобышев. Нет, я ничего не подделывал. Кроме того, у меня есть черновики отчёта. Могу показать.

Директор. При чём тут черновики? *(Передаёт бумаги учёному секретарю.)* Что вы на это скажете?

Учёный секретарь *(едва взглянув)*. Отчёт поддельный. Я узнаю шрифт нашей пишущей машинки. Дата – вчерашняя. Вы что же – успели за ночь послать этот беловик в Ереван и получить его обратно с подписями? Вы подделали подписи на денежных документах!

Бобышев. Нет, я ничего не подделывал.

Директор. Вы обманываете своего директора! *(Обращаясь к учёному секретарю.)* Собирайте заседание комиссии учёного совета для разбирательства этого дела и передачи в суд.

Бобышев. Вы мне не верите? Я увольняюсь!

Директор. А я не принимаю вашего увольнения до решения комиссии.

Бобышев. Сейчас же напишу заявление в трёх экземплярах. Один – вашей секретарше, другой – в профком, а третий оставлю себе. Я закон знаю и ровно через две недели прекращаю работу. *(Уходит.)*

Занавес.

СУД ИДЁТ

Запахло жареным. Сексапильная следовательша свою угрозу явно выполнила. Теперь они хотят упечь меня в тюрьму за мошенничество. Очень даже элегантно! Когда я сообщил о произошедшем в отделе, на бедного мальчика, больного лимфогрануломатозом, было страшно смотреть, лицо его пошло серыми пятнами.

– Они посадят меня в тюрьму. Это ведь я подделал подпись!

– Успокойтесь, вам ничего не будет. Как молодой специалист, вы ограждены трудовым законодательством. За ваши ошибки отвечает непосредственное начальство.

Башкирка кинула на меня кривой, как кинжал, взгляд, и я понял, что был прав. Да я об этом законе и раньше слышал, когда юный выпускник Техноложки Виталий Шамарин взорвал цех на Охтинском химкомбинате: ему за это ничего не было. Правда, лицо себе он попортил ожогами. Но в нашем случае важно было, чтоб мальчик от деяний своих не отрёкся, тогда и он, и я спасены.

Мальчик оказался молодцом, ни от чего не отрёкся, и это сберегло меня от верной уголовной статьи, под которую меня умело определяли. Ему тоже ничегошеньки не было – как ни в чём не бывало. Комиссия самораспустилась, но мне ещё предстояло непременно уволиться по собственному желанию. Я не поленился сходить в юридическую консультацию, где получил сочувственные и очень дельные советы. С увольнением тянули, а некоторые «коллеги» провоцировали меня сесть за рабочий стол, поимитировать трудовой процесс хотя бы часок-другой «во избежание конфликта», но именно этого и нельзя было делать. Наконец я объявил, что сажусь писать жалобу районному прокурору, и тут же за пятнадцать минут получил окончательный расчёт.

Я свободен, но что делать теперь? Полученных денег надолго не хватит. Работа давно перестала казаться докукой и препятствием для литературных устремлений. Наоборот, она стала нужна как раз для того, чтоб во мне эти пылкие мечтания поддерживать! Но куда бы я теперь ни подался, всюду ведь спросят характеристику с места былой работы... И я вспомнил о телевидении.

Мне выписали пропуск, и вот я опять в той же редакции учебных программ (и – «голубых зайцев»)! Генерал Варлыго встретил меня не хуже, чем былого однополчанина, даже чуть искательно. Что-то ему было нужно от меня.

– Ну, как вам, Дмитрий Васильевич, на научном поприще? Не

скучаете по прежнему-то?

– Ничего, терпимо, Андрей Иванович. Но здесь всё-таки повеселей было, поразнообразней...

– А не хотели бы обратно? Прямо на прежнее место? А то у нас только что ушёл сотрудник, просто не знаем, что делать.

– Да я бы, пожалуй, не прочь и вернуться.

– Вы это серьёзно?

– А вы серьёзно, Андрей Иванович?

– Тогда – по рукам!

С генеральской рекомендацией мне не понадобилось никаких справок и характеристик.

* * *

А как обстояли дела у нашего Германа и его Муму? Там было совсем паршиво. Мумушка с перепугу бросила их каморку как есть и спряталась у родителей. Даже мне не позвонила. Да, напуганы оказались многие, и было с чего. Сексапилка в погонах прочесала хорошо всю шайку-лейку и, кажется, они там решили пустить дело не по самиздату и иностранным связям, а по чистой уголовщине: «распространение, хранение и сбыт наркотиков», а также «содержание притона», что звучало особенно дико.

Правда, как я узнал позже, Билла Чалсму с Барбарой и их многочисленными чадами сорвали тогда с рейса. Заперли их на два дня в гостинице (но всё-таки не какой-либо, а «Европейской»), и Биллочку выдёргивали по пять раз на дню на допросы. Видимо, он держался стойко, никакой «политики» из него не вытянули, да и наркоты тоже, и им всем дали безопасно унести в родной Амхерст незабываемые впечатления о Северной Пальмире.

Дело тем временем было передано в суд. В казённом зальчике собралось много знакомых, потрёпанных разбирательством, отсиживавшихся по своим щелям. Тут они, как ещё бывает на похоронах, увидели друг друга иными глазами: кто следующий?

Германцев выглядел наважнецки, на вопросы судьихи отвечал как-то уж очень деловито и чётко – может быть, так казалось по контрасту с дурной комедией, которая там разыгрывалась. Наш интеллектуал и самиздатчик, живущий в мировом литературном пространстве, опылитель идей представал в ней «содержателем притона», распространителем и даже торговцем наркотиков, каковые судьиха упорно называла «мариуханой», явно по аналогии с благоуханиями. В какой-то момент комедия превратилась в абсурдистскую пьесу. Вызвали всеведа с «лицом бреющегося англичанина». Он, конечно, был вовсе небрит и

весьма запущен.

– Фамилия, имя, отчество?

– Алексей Георгиевич Сорокин, – чётко ответил «англичанин».

– Сорокин, Алексей Георгиевич? – подсказала судьиха.

– Алексей Георгиевич Сорокин, – настаивал он.

– Ну, какой от него может быть толк для суда? – обратилась она к заседателям после четвёртой попытки. И, уже к нему:

– Идите.

Один за другим вытаскивались другие свидетели, это была та самая улица, которая однажды хлынула в полуподвал из окна. Теперь, поёживаясь поодиночке, они охотно признавались во всех этих «косяках» и «джойнтах» на двоих, на троих, а судьиха методично подсчитывала по грамму, по полграмма количество «мариуханы», содержавшейся в них. Когда она набрала таким образом грамм тридцать, из зала поднялся «тот самый» Костя и непочтительнейше наорал на неё в защиту русского языка и ещё что-то о связи правильной орфографии со справедливым судопроизводством. Это было по делу. Безработные филологи и безлошадные поэты, находившиеся в зале, издали одобрительный хмык.

Судьиха чуть осела, но тут же, словно ладью из-за пешек, выдвинула нового свидетеля. Это был незнакомый мне прежде кузен обвиняемого Шура, симпатичный геолог с манерами джентльмена. Ему случалось бывать с экспедициями в степях Казахстана, и, по идее прокурора, он мог сам стать поставщиком крупной партии индийской конопли (Cannabis indica), то есть, по существу, гашиша, также называемого на жаргоне наркодельцов анашой, планом или марихуаной, а следовательно, быть переквалифицированным из свидетеля в обвиняемого за действия протовозаконного характера по статье такой-то Уголовного кодекса.

Зал ахнул. Темноволосая девушка с горящими глазами, оказавшаяся на скамье рядом со мной, рванулась душой к Шуре и посвятила ему сердце. И я ему отстранённо позавидовал, как, случается, завидует шафер своему пошедшему под венец другу. А прокурор добил Шуру вещественными доказательствами: полиэтиленовым мешком, содержащим двести граммов указанного вещества, а также отрывками из переписки между двоюродными братьями. И то и другое находилось в ящике письменного стола подсудимого Германцева и было изъято при обыске.

Вердикт: одного – на четыре года исправительно-трудовых лагерей, другого – на два со взятием под стражу в зале суда. Это

взвинтило всех до невероятия: да как же так можно? Какие-то граммы-миллиграммы, и вот тебе – «притон», «сбыт». И – прямо под стражу! Девушка с горящими глазами пробивалась сквозь возбуждённую толпу к Шуре, в руках у неё возник букет, но обоих арестантов быстро увели.

Ждём теперь на улице, когда их выведут к «воронку». Быстро собираем по рублю, по трёшке на передачу. Вот, ведут... Под ноги посыпались цветы. Пока, дружище! Увидимся нескоро. Но увидимся, и ещё как! В Риме, Ватикане, Венеции! В Париже! В Лондоне! В Неаполе будем смотреть на Везувий от монастыря Св. Эльма, известного своими романтическими огнями. Из Парижа будем звонить с бульвара де Курсель прямо из уличного таксофона в Ленинград Гале Руби, и она сначала не поверит, а потом обалдеет. А пока – вот, я написал тебе стихи.

НА АРЕСТ ДРУГА

Не получился наш прекрасный план,
всё сорвалось... Держись теперь, товарищ!
Делили мы безделье пополам,
но ты один и дела не провалишь.
А всех трудов-то было – лёгкий крест
процеживать часы за разговором,
мне думалось: ты – мельник здешних мест,
ты – в мельника разжалованный ворон.
Безумного ль, бездумного держал
то демона, то ангела над кровом.
Один запретным воздухом дышал,
орудовал другой опасным словом.
За это – а за что тебя ещё —
и выдворили из полуподвала,
и – под замок. Жить, просто жить, и всё,
оказывается, преступно мало.
Виновен ты, что не торчишь у касс,
что чек житейских благ не отоваришь.
И, веришь ли, впервые на заказ
пишу тебе – держись теперь, товарищ.

МСТИТЕЛЬНЫЕ ОВОЩИ

Как их, бедных, растрясло, размочалило по ухабам в «телеге жизни», моих младших собратьев по перу, – настолько, что не им обо мне, а мне о них приходится писать: всё-таки, хоть на время, они стали частью моей жизни. Одни уж давно на Полях Елисейских, но не в Париже, а за пределами нашего обжитого мира и даже, может быть, звёздных и трасцендентных миров, другие ещё маются по дурдомам и коммуналкам, третьи, утомясь, обезнадёженно сдались, а совсем иные выбрали благую часть, приняли сан и служат уже не суррогатному литслову, а Тому, Которое с большой буквы.

Ну, сначала о тех, исчезнувших. Довлатов, которого уже нет, привёл меня однажды в слякотный ноябрьский вечер в гости к Фёдору Чирскову, которого теперь тоже нет. Но тогда они очень даже были! Более того – праздновали день рождения Фёдора, наверное, уже 27-й, и он пригласил своих университетских сверстников. Довлатов преподнёс в качестве «подарка» меня, о котором там оказались наслышаны, а я, о дне рождения и не подозревавший, не принёс ничего. Фёдор, с породистым без тени смазливости лицом интеллигента и то сумрачным, то нежным, то насмешливым взглядом, был возбуждён, жестикулировал широко, его голос резко звучал в коридоре большущей писательской квартиры на Марсовом Поле (особняк братьев Адамини, место небезызвестное в истории литературы). Его мать, домоправительница и прислуга в одном лице, радушно пригласила нас в «малую столовую». Гости уже рассаживались за столом, уставленным закусками и пирогами, среди которых возвышались напитки. Новорожденный дерзко-шутливо называл мать уменьшительным именем – Шурочка. Ещё до первой рюмки Андрей Арьев озадачил меня вопросом на богословскую тему:

– Как вы понимаете блаженство нищих духом?

– Как парадокс. Особенно за таким столом.

Фёдор восхищённо глядел на Светлану, свою былую соученицу, но та пришла с мужем, одним из внуков Порай-Кошица, химического светила и академика. Я вглядывался в него, узнавая и не узнавая в этом внуке своего однокурсника, но он оказался его двоюродным братом, театральным художником ТЮЗа. Просто семейное сходство! Ихтиолог Егельский налегал на коньячок, Довлатов не отставал, но при этом остро пикировался с именинником, и видно было, что взаимный обмен колкостями им привычен, а старое соперничество не портит их дружбы. Всё-таки дошли до резкостей. Тут Никита, старший брат виновника

торжества, произнёс, как водится, тост за родителей. Покойный отец был лишь помянут благоговейно, а выпили за здесь сидящую родительницу двух братьев-молодцов и создательницу этих вот вкуснейших пирогов и закусок. Но «Шурочки» как раз и не оказалось за столом. Побежали в глубь квартиры за ней. Никита, работавший редактором на «Ленфильме», внешне походил на мать, следовательно, младший был в отца, что часто случается в семьях, имеющих более одного ребёнка, и, наверное, ощущал потерю острее, отождествляя себя, может быть, и неосновательно, с умершим главой семьи. Между тем веселье возрастало, и возбуждение вдруг обернулось сдержанной, но мощной вознёй в коридоре.

Женя Егельский обвинял Довлатова, да и остальных присутствующих в том, что они – советские люди, порожденье эпохи. Сергей сдавленно протестовал, Фёдор разнимал сцепившихся, увещевая:

– Если мы такие, зачем же ты, Женя, сюда пришёл?

– Я пришёл из дружелюбия, чтобы поздравить тебя, Федя. Но, оказывается, вы все – советские люди! – резал правду-матку подвыпивший гость.

– Ты задеваешь честь дома! – запальчиво восклицал Фёдор.

Совместными усилиями друзья-соперники вытеснили бузотёра, рослого и широкоплечего, но физически вовсе не враждебного. Мне даже показался его протест трогательным; впоследствии я видел Егельского в разных степенях подпития, он бывал неизменно дружественным, и никогда – буйным.

Советское благополучие этого дома, стремительно убывающее после смерти отца, было и в самом деле основано на его сталинском лауреатстве. Но стояло оно, трагически накренившись, на самом краю чёрной нарымской полыньи. Надо хотя бы немного рассказать здесь о человеке, которого сам я не знал. Но сын его Фёдор передал мне с собой при отъезде (а я сумел переправить через границу) тетрадь его стихотворений 1920 – 1930-х годов с биографической заметкой об авторе. Кратко её излагаю.

Борис Фёдорович Чирсков (1904 – 1966) родился в семье священника на Кубани. Детство, семейное гнездовье на хуторе, затем – гимназия и одновременно «нравы» и перипетии Гражданской войны. Стихи. Петроград, филологический факультет. Должность смотрителя Александровского музея в Царском, тогда уже Детском селе. Увлечение Марселем Прустом – в его стиле написан роман «Китайская деревня» о жизни интеллигенции двадцатых годов. Название подразумевало архитектурный ансамбль в парке, но критика восприняла роман

как злобную насмешку над коллективизацией, и автора, обвинённого по делу известного эсера и историка литературы Р. В. Иванова-Разумника, сослали на четыре года в Сибирь. Ко времени ареста он был уже штатным киносценаристом на «Ленфильме». Именно это спасло его жизнь на ссыльнопоселении в Колпашеве вскоре после убийства Кирова, когда карательные органы стали спешно освобождать место для новых гигантских партий ссыльных. Чирскову было предписано ехать в глубь края, в совершенно нежилые и голодные места. В отчаянье он брёл вдоль дощатого забора, пока не увидел на нём афишу своего фильма. Сорванная афиша заставила расчувствоваться казённые души энкаведешников, и Чирсков остался в более или менее обжитом селе Колпашеве.

Вернувшись из ссылки, Борис Чирсков написал сценарий «Валерий Чкалов», на котором Сталин собственноручно начертал: «Сценарий отличного качества, дело за оператором». Помимо этого, Чирсков, выражаясь языком современных критиков, создал идеологический хит, – такой уже совершеннейший блокбастер, как «Великий перелом» (о Сталинградской битве), за который заработал не только Сталинскую, но и специальную премию Каннского фестиваля.

Ко времени моего знакомства с осиротевшим сыном Чирскова от всего советского великолепия осталась многокомнатная квартира, которую Фёдор делил с матушкой (Никита с семьёй жил отдельно), да именное кресло в Доме кино, куда он ходил беспрепятственно на просмотры. Можно сказать, что оба брата пошли по стопам отца: старший подвизался в кино, а младший работал одно время в музее на квартире у «Фёдора Михайловича», что на углу Кузнечного переулка. Этот музей тогда только-только образовывался и стал приютом и прикормом для многих «униженных и оскорблённых» интеллектуалов с филологическими дипломами и без оных. Я был знаком с некоторыми и захаживал туда в гости. В силу того что к Достоевскому было трудно присобачить какую-либо советчину, его музей казался со стороны редким заповедником, очищенным от всего того, что так не понравилось захмелевшему на Федином дне рождения Егельскому. Да у Федюни, Федоса, Федула, как его кликали приятели, и не было ничего советского, кроме былого лауреатства отца. Но ведь и у отца прежде был Нарым. Вот стихи из его заветной тетради:

Я выйду к реке на обрыв.
Нарым ты мой чёрный, Нарым!
Сырая болотная топь,

широкая, жёлтая Обь…
…Густые висят комары.
Нарым ты мой чёрный, Нарым!
Забросил в густые леса,
запутал в свои волоса.
Канатами корни заплёл,
тяжёлые баржи привёл.
– Скажи-ка мне, меченый брат,
ты чем пред людьми виноват?
– Я тем виноват, что убил.
– А я свою землю любил.
– Я Господу Богу служил.
– За вольные я грабежи.
– Я деньги свои утаил.
– За белые руки мои.
– А я за такие дела —
не та меня мать родила.
…Разносит широкая Обь
их песен отчаянный вопль
и пепел бездомных костров
на осыпь крутых берегов.
Я выйду к реке на обрыв:
– Нарым ты мой чёрный, Нарым!
И чем же ты сам виноват,
что я твой сожитель и брат,
что мутная речка течёт
отравою душных болот?
Ты кровью своей виноват,
холодный нарымский закат!
(1935)

Но главной Фединой бедой была его душевная болезнь. Читателю нетрудно заметить, что эта тема настойчиво заявляет о себе в моих записках. Есть на то и вполне понятное прислушивание к себе, заглядывание в свой генетический код: нет ли там на этот счёт какого-либо молекулярного вывиха? Но признаки раздвоения личности и паранойи висели в воздухе той и, в особенности, предыдущей эпохи, пришедшейся на жизни наших родителей. Вот пример – заласканный лауреат и нарымский ссыльнопоселенец в одном лице. Ну мог ли Фёдор, зачатый и выношенный в проклятом 1941 году, родиться нормальным здоровым человеком?

К моменту нашего знакомства кризис и психиатрическая

лечебница были уже позади, Фёдора поддерживали таблетки, с которыми у него сложились непростые отношения: он их то принимал, то нет, манипулируя своим состоянием. Уже это подразумевало для него возможность сорваться в новый кризис. Но человек он был творческий, и тормозящие таблетки, понятное дело, не способствовали вдохновению.

– А вдруг они все лежат, белые и сухие, на дне моего желудка? – любил повторять он странную шутку.

«Овощи ещё отомстят за себя». Это – начало его рассказа на тему своей болезни, рассказа талантливого, по-своему увлекательного и мучительного. Как он описывал устно, в дополнение к тексту, – космические хищные овощи явились на нашу планету, чтобы отомстить за своих поедаемых землянами собратьев. Преамбула незаурядная, не правда ли? И откуда могла взяться такая идея? Впоследствии, уже в Америке я, кажется, нашёл её происхождение (или развитие) в запоздалых ссылках на какой-то фильм о киллерах-томатах – просто очередную голливудскую страшилку для детей. Но эта страшилка могла быть показана на закрытом сеансе в Доме кино, и Фёдор, отстоявший своё право наследства на именное кресло, вполне мог её там видеть. Как бы то ни было, эта идея детонировала в его мозгу и, взорвавшись, не помрачила, а, наоборот, изощрила его сознание настолько, что стали ему ведомы тайны мира и города, подземные ходы и спрятанные сокровища, а также планы злокозненных овощей. Чтобы пресечь их, достаточно было сказать слово правды, то есть сообщить пришельцам, что они разоблачены, распознаны, и таким образом Фёдор становился бы спасителем земной цивилизации. Бедняга не спал, не ел и сутками бродил (или – носился?) по городу, составляя из трассы своих петляний между кварталами гигантские буквы послания в космос. Ещё одна петербургская повесть? Только вместо Медного всадника его отловил брат Никита и поместил в психбольницу.

Меня очень трогали другие его рассказы, в особенности «Андромер», который я считал одним из лучших. Помню обсуждение рассказа в даровском ЛИТО «Трудовые резервы». К сожалению, самого Давида Яковлевича не было, председательствовал его выдвиженец Ельянов. Резервы были соответствующие. На обсуждении я сказал, что герой Чирскова – это, в сущности, Адам, вкусивший яблока, кусок которого застрял у него в горле. Мы все изгнанники из Рая, забывшие об этом вкусе, а вот герой Чирскова не только помнит, но, и мучаясь, не может от него избавиться. Слушателям это, боюсь, показалось заумным, Ельянов прерывал меня, и я с обсужденья ушёл.

Сейчас перечитал тот рассказ: мотивировки беспомощны,

язык местами заторможен и невнятен (проклятые таблетки!), но повествовательная тяга там есть, есть и выразительные описания. Фабула, как и в других его вещах, сводится к возвращению героя после долгого отсутствия (из больницы, ссылки? – неизвестно) к возлюбленной, которая его не ждёт. Он долго и растерянно ищет её, пока не обнаруживает, что она ему изменила с недостойным, как он считает, соперником. И устраняется.

Нет, отнюдь не Одиссей! Но благородный неудачник, вызывающий к себе сочувствие, сострадание... К тому же неизвестно, кто эта возлюбленная в символическом смысле: уж не сама ли Россия? Тогда одиссеевы методы вряд ли пригодились бы на данный момент.

А может, это и просто любовный треугольник – Федька ведь был феноменально влюбчив. Однажды имел я неосторожность познакомить с ним музыкантшу, которой я увлёкся в то время. Нет, нет, я оставался приверженцем всё той же королевы, которой присягал, мастерицы мгновений, но когда мастерица эта меня надолго отпускала, как-то сами собой возникали у меня интересные знакомства. Как с этой вот молодой концертмейстершей одного из балетных театров. К тому же была она хороша собой. Не буду её сравнивать всуе с принцессой Дианой, которая тогда ещё не вышла в свет, но тип внешности был тот самый. Фёдор сразу на неё клюнул, бесстыжий, прямо при мне попросил телефон, и эта дура продиктовала ему свой номер, чтобы потом мне же и жаловаться на докучливые звонки. А мой друг завёл во мне ещё одного счастливого соперника.

Но главное и давнее состязание у них было с Довлатовым: и литературное, и любовное, начавшееся со студенческой скамьи. При этом каждый из них внутри себя всё более втягивался в другую, неравную схватку, усиливающуюся с годами: Фёдор боролся с роковой болезнью, Сергей – с не менее фатальным пристрастием к выпивке. Почти одновременно они познакомились с прекрасной черноокой Асей, неофициальной «Мисс Филфак» их выпуска, а вернее, набора: Сергей, как известно, загремел в армию, а Фёдор всё-таки университет закончил. Оба воспели в своей прозе общительную, хотя и немного задумчивую красавицу, восходившую типом внешности к образцу по тому времени немыслимому – Жаклин Кеннеди: один ярко и иронично, а другой в дымчато-блоковской, хотя и скептической манере.

Я имею в виду роман, который Фёдор писал все годы нашего общения – работу, как он убеждал, всей его жизни. Он то затормаживал её из-за таблеток, то продвигал, то прерывал ради написания какого-нибудь нового рассказа. В один из тех

рассказов Фёдор включил текст предсмертного стихотворения Марии Стюарт, которое он дал мне перевести на русский. Где всё это теперь?

Сам роман я так и не видел до той поры, когда в канун Гласности был опубликован в Ленинграде вымученный сборник «Круг». Туда, среди других жертв цензуры, попала проза Фёдора Чирскова – судя по всему, начальный фрагмент романа «Прошлогодний снег». Там действительно полно снега – падающего, разметаемого ветром вокруг ледяных фонарей, много пухлых от снега платформ и скользких морозных тротуаров, изморози на стенах во время кратких оттепелей, но есть там и ощущение душевной свежести, любовного пробуждения, начала дружбы и соперничества и много, даже слишком много симфонической музыки. Новогодний бал в Павловске!

Автобиографическая подоплёка здесь очевидна: героя зовут Борис (как отца Фёдора), героиня – Ася, а противник и друг, конечно, Сергей. Их выдуманные фамилии я и приводить не хочу. Мы обсуждали с Довлатовым качество прозы Чирскова, ему она нравилась меньше, и он, критикуя, ткнул в неестественность фамилий у персонажей. Я согласился. Поговорили мы тогда об особом писательском таланте называть героев: у кого (даже из великих) он есть, а у кого нет. Вот у Довлатова был этот талант, имена у него подходяще-убедительные. И ещё умел он воспроизводить иноязычный акцент: «Тёрт яфо снает» (Чёрт его знает), – говорит один из довлатовских персонажей, эстонец. Зато у Чирскова между букв и порою нескладных слов просквaживала какая-то сбережённая смолоду чистота, у Довлатова отсутствующая напрочь.

А сюжет был тот же: он, она, «счастливый соперник», долгие поиски возлюбленной и, наконец, отказ от неё, почти найденной, в пользу «музыки»...

Точно такая же схема в рассказе «Горе». И – вот финальный портрет героя, почти автопортрет: «Светлые, замутнённые слезами глаза, пыжиковая шапка, которую уже два года нельзя назвать свежей, прихрамывающая походка, отведённый локоть». Кроме цвета глаз – полное мимическое сходство.

После смерти матери Фёдор жил один в квартире, лабиринты которой уходили в неосвещённую тьму и остались мне не известны. Он ни за что не хотел ни делить её, ни разменивать с братом. В том же доме жил в примаках и Яша Гордин, у которого я был однажды в комнате с видом на Мойку, где натюкал на его пишмашинке протест по поводу газетных нападок на Бродского. Выше по лестнице заходил ещё в две подобных квартиры, где жили писательские дети: к Мише Мейлаху и в семейство Нины

Катерли. Нина, сама выпускница Техноложки, была замужем за нашим сверстником-технологом Мишей Эфросом, тоже литературно одарённым, но пошедшим высоко по профессионально-научной стезе. С Мишей, остроумнейшим и умнейшим собеседником, отрадно было общаться ещё с институтских времён, и я стал к ним захаживать, особенно когда они взяли под пригляд одинокого и полубезумного соседа Федьку.

Однажды, когда мы с Фёдором сидели за бутылкой белого грузинского, явились два ленинградских поэта, ведомые прозаиком-москвичом. Ну, положим, Кривулин еле перебирал ногами из-за полиомиелита, перенесённого в детстве, но почему раскачивался Охапкин, как матрос в бурю? Этого доброго молодца непросто было свалить с ног, однако оба поэта рухнули, едва добравшись до Федькиной тахты, а их провожатый, свежий и почти трезвый, с готовностью подсел к нашей едва початой бутылке. Это был автор шедевра, подпольная мировая знаменитость Венедикт Ерофеев собственной персоной, что полностью объясняло мизансцену с двумя поэтами. Доза, их свалившая, была ему как слону дробина. Это был красивый ладный парень с голубыми глазами и светлой чёлкой, очень русского, но простонародного типа, каким я бы представил себе московского приказчика, сбитенщика, полового. Его книга (в самиздатовском виде, конечно) облетела не только нашу алкогольную державу, но, вероятно, и весь свет, потому что, вернувшись на родину уже в тамиздатском исполнении, она продолжала набирать восторженные отзывы. Охапкин, несмотря на своё православие, рискнул назвать её «Евангелием пьющего человечества». Умри, Олег, лучше не скажешь. Но он и так уже спал, как убитый. И я попытался высказать автору своё:

– Очень смешная и очень грустная книга одновременно. Действительно, алкоголь ведь у нас заменяет всё. Это суррогат работы, развлечений, спорта, даже семейных отношений… Суррогат жизни!

– Как-то вы, ленинградцы, мудрёно выражаетесь… – скромно заметил автор. – А выпить ещё не найдётся?

Оказалось, что едва начатая бутылка уже совершенно пуста. Спящие проснулись, завозились, стали все вместе «соображать», и я ушёл восвояси.

«Москва – Петушки» и в самом деле великолепно задумана и с названия до финала выполнена блестяще. Поэма! Десятилетие спустя уже в моей новой жизни я участвовал в одном из ежегодных собраний славистов – кажется, это было в Филадельфии. После своего выступления я зашёл на другой

семинар послушать доклады. На стуле рядом со мной лежали какие-то записи – вероятно, тезисы чьего-то выступления. Они были как раз об этой книге. Я безмерно удивился, увидев, что наш Веничка сравнивается там с Гомером и Данте. С недоверием стал вчитываться в аргументы, и что ж – они меня убедили! Действительно, Гомер: подобно Одиссею, Веничкин герой, минуя опасности и соблазны, плывёт по алкогольному морю, движимый любовью к своей «верной» Пенелопе и отцовскими чувствами к сыну, умеющему произносить букву «Ю», главную букву любовного алфавита. И действительно Данте: из ада похмелья он стремится в рай опьянения к своей белоглазой и ненаглядной Беатриче. Более того – Веничкина поэма повторяет композиционный ход Дантовой. Как Данте, держась за лохматый живот Люцифера, должен был развернуться головой «вниз», потому что это начинался уже путь «наверх», так и Веничка на какой-то там станции переворачивается вместе с выходящей толпой и оказывается в электричке, идущей в противоположном направлении. До чего же писательски острым обнаружился этот простак-выпивоха!

Надо сказать, что в американских университетах преподавателю даётся восхитительная свобода, заключающаяся в том, что ты сам можешь выбирать круг чтения для студентов. Даже Андрей Синявский такого права в своей Сорбонне не имел, о чём он как-то при мне сокрушался. А я имел, и когда читал лекции по современной русской литературе, загружал головы студентов не Паустовским и Распутиным, а Веничкой Ерофеевым да авторами московского «Метрополя»: Петром Кожевниковым, Владимиром Высоцким, Е. Поповым, Юрием Кублановским, Фазилем Искандером, Евгением Рейном, Б. Вахтиным и Инной Лиснянской (списываю прямо со своего силлабуса к курсу). А чтобы самому не было скучно, на следующий год я этот курс совершенно перекраивал и давал ленинградских авторов. Тогда только что вышел «Круг», и ребята-девчата у меня читали «Прошлогодний снег» Ф. Чирскова, «Замёрзшие корабли» Н. Подольского, «Корабль дураков» Е. Звягина и, конечно же, стихи О. Охапкина, В. Кривулина, С. Стратановского и Е. Шварц. На одном из моих русских курсов чтили мы и самого Андрея Донатовича: «Прогулки с Пушкиным», а на дом я задавал студентам деконструировать на выбор какую-нибудь американскую безусловность – супермена, например.

Федя Чирсков никак не мог быть в обиде на то, что я забыл его в моём «прекрасном далеке», и мы с ним продолжали дружить эпистолярно. Приведу отрывки писем, продолжающие его грустную историю.

Дорогой Дима! Извини за задержку с письмом, с ответом на твоё глубокое и многозначное стихотворение...

Рад, что у тебя всё благополучно... Наша жизнь тоже хороша, всё прочно, всё надёжно, бежит как по рельсам. Я почти совсем поправился...

У нас теперь в Ленинграде Клуб для писателей-нонконформистов, можешь себе представить? Во главе – правление, само себя выбравшее или выбранное кем надо. Есть устав, который надо подписать, как подписку о невыезде, и возможность сидеть в сообществе тщеславных гениев и девиц с плохими фигурами. Прозой руководит Наль (Подольский. – Д. Б.), ты его, несомненно, знаешь. Я дал ему для сборника, который власти обещали издать, три рассказа. Он «Андромер» и «Подземное царство» отверг... Пришлось дать ему начало романа, под названием «Прошлогодний снег», ты его, конечно, читал, но теперь всё переписано заново, так же, но лучше.

Ужасно люблю вещи, которые со всеми ссорят, как правило, это самые правдивые вещи. А правда, она, как известно, может гору сдвинуть с места, наподобие веры, потому что это одно и то же. Так что, Дима, давай двигать гору, под ней клад зарыт. Кто его найдёт, тому Бог даст. А нам с тобой Он и так дал довольно, скажем Ему спасибо.

Большой тебе привет от Нины с Мишей (от семейства Катерли и Эфроса. – Д. Б.), будь счастлив. Твой Фёдор

13. 06. 82 г.

* * *

Дорогой Дима! Не знаю, получил ли ты моё письмо (предыдущее), поэтому повторяю новости: я просидел три месяца в сумасшедшем доме, хотя этого явно не заслуживал. Когда стал упрекать в этом брата, он парировал тем, что я, якобы, не мог ответить, хочу ли я есть...

Наслышан о твоём стихотворном цикле (видимо, «Русские терцины», опубликованные в журнале «Континент». – Д. Б.), но сам не читал и могу лишь

сгорать от нетерпения, но пока прочесть не удаётся. Сейчас до этого дела добраться стало весьма сложно...

У меня, Дима, был галлюцинаторный ступор, во время которого мне удалось вступить в тесный контакт с потусторонним миром и с инопланетными цивилизациями. Всё это было чертовски интересно и убедительнее фантастического романа, но меня оторвали от моих наблюдений уже известным образом... Твой Фёдор

19. 12. 82 г. СПб.

* * *

Дорогой Дима! Дела мои идут хорошо, жду выхода детской книжки, обещали (лично директор издательства) выпустить её в апреле этого года. Жду апреля. К этому же времени должен выйти сборник «Клуба-81»... Там должна выйти моя повесть «Прошлогодний снег»...

В остальном у меня всё благополучно. Правда, женитьба на Н. П. (той самой балетной концертмейстерше. – Д. Б.) катастрофически расстроилась: полное разочарование... Очередная попытка жениться сорвалась...

Свою жизнь я организовал сейчас прекрасно: даю уроки, много сплю, мало ем, много пишу. Двигаю роман к концу... К весне надеюсь закончить.

Нашу знакомую Нину приняли в ССП (Катерли в Союз советских писателей. – Д. Б.). Поздравил её. Вроде, всё как нельзя лучше. Ждала, волновалась. Дождалась.

Ладно. Пиши, Дима, у нас новостей мало, хоть из-за океана их получишь.

Будь здоров, твой Фёдор Чирсков.

21. 01. 84. СПб.

* * *

Дорогой Дима! С опозданием отвечаю на твоё письмо, так как злосчастные обстоятельства опять против меня ополчились: снова больница...

Моё безумие на этот раз было очень красочное, я много повидал и услышал. В частности, мне показали ужасные пирамиды Зла, спрятанные где-то в

неизвестном уголке Вселенной. Представь себе, что в верхней части этих пирамид находятся квадратные отверстия, и оттуда, как дым, валит Зло. Вот откуда оно берётся, и почему с ним никто ничего не может поделать. Идея состояла в том, что необходимо во что бы то ни стало разрушить эти пирамиды, и тогда жить станет намного легче. Было там и многое другое: ртутный скафандр, в котором можно путешествовать в космическом пространстве, шахматы в девять клеточек, с белым и чёрным Шивой в середине, огромная яма в фарватере Финского залива, и т. д.

Завершилась вся эта увлекательная киноэпопея задержанием на эскалаторе метро на предмет проверки документов, где я утратил связь мыслей и был передан в руки медицины. Провёл в больнице бесконечные два с половиной месяца, но не жалею... Не знаю, псих я или нет, но вроде бы на окружающих произвожу впечатление нормального человека. Ну, а немного придури – это даже интересно, как говорят в дурдоме...

Пиши. Твой Фёдор

13. 06. 84. СПб.

* * *

Дорогой Дима! Спешу заполнить паузу, повиснувшую в самой середине 84-го года, который для меня оказался довольно суровым, вернее сказать, очень контрастным: три больницы за полгода; как тебе это понравится? Из них психиатрических – только две...

Пока я сидел в больнице, мой сосед двумя этажами выше пошёл куда-то на лесоповал (арест Михаила Мейлаха. – Д. Б.): история жуткая, но я о ней практически ничего не знаю. Меня самого она не коснулась... Что же касается моих соседей справа от подворотни, если стоять лицом к Марсову полю (Катерли и Эфрос. – Д. Б.), то у них либо действительно всё в порядке, либо они хотят создать такое представление.

Твой Фёдор Ч.

23. 09. 84

* * *

Дорогой Дима! Будучи под впечатлением своего долгожданного выхода из сумдома, я не написал тебе о впечатлениях от твоего стихотворения, которое тогда я и прочёл бегло, а сейчас перечитываю и оцениваю его искренность и силу. Ты по-прежнему правдив, а без этого поэзия невозможна...

Если ты помнишь, я обладаю некоторым даром прогнозирования. Так знай: у меня сейчас ушки на макушке, убеждён, что нас ждут перемены. Что они будут – несомненно... Дима, я не знаю конъюнктуры на американском книжном рынке, но как ты думаешь, моя детская книжка не может иметь шансы быть у вас переведённой? (Например, тобой?) Напиши.

Счастливо, твой Фёдор.

15.10.84

* * *

Дорогой Дима! Прилагаю это своё письмо к предыдущему, которое ко мне вернулось из-за нечётко написанного адреса...

Время от времени мне снятся невероятно живые, ослепительные космические сны – в этой области мы с тобой почти что коллеги, ты мог бы мне многое, наверное, объяснить. А я тебе – кое-что рассказать.

В ленинградской «общественной» жизни наблюдается застой, все постарели и пренебрегают общением... Один мой важный прогноз на 84-й год не оправдался – роман я пока что не закончил...

Андрюша (Андрей Арьев. – Д. Б.) что-то на тебя обиделся – какой-то твой оборот ему стилистически не понравился (какой-то пустяк, но ведь мы все очень болезненно чувствуем стилистику). Напиши ему потеплей... Его тут приняли в ССП. Как ты понимаешь, это не исполнение его детских мечтаний, а суровая борьба за существование. Пиши, дорогой Дима. И будь здоров.

Твой Фёдор Чирсков

16. 01. 85 г.

* * *

Дорогой Дима! Твоё сообщение о том, что у тебя три работы, заставило меня содрогнуться. О, Америка! И вы ещё жалуетесь на безработицу! Советую тебе побольше экономить силы.

...Обращаюсь к тебе с убедительной просьбой: перешли, пожалуйста, присланные с письмом экземпляры книжки в детские издательства (по одной – в американские или любые другие, м. б. европейские, по твоему выбору). Извини, что я тебя обременяю, но уверен, что в память старой дружбы ты мою просьбу выполнишь.

О получении книги, пожалуйста, черкни.

Книжки («Ключик в траве») я посылаю отдельно несколькими отправлениями. Таков порядок. Извини, Дима.

Остаюсь преданным тебя (именно так в тексте. – Д. Б.),

Фёдор Чирсков.

227. 03. 85 г.

* * *Первая бандероль прибыла ко мне в Милуоки и содержала десять экземпляров «Ключика в траве». Предстояло получить ещё девятнадцать таких почтовых отправлений. Федя, помилуй! Я ведь действительно кручусь на трёх работах: полную рабочую неделю (сорок часов) служу в «Астронавтике», где, между прочим, кроме исполнения непосредственных обязанностей, умудрился написать целую книгу стихов – «Русские терцины», по вечерам преподаю в местном университете, а в выходные присматриваю за двумя квартирными домами: стригу газоны, убираю мусор и всё такое... А ты навешиваешь на меня удовольствие переводить твою советскую халтуру и посылать её в двести издательств! Где я возьму их?

Успокоившись, я всё-таки прочитал книжку и убедился, что это – типичный советский продукт. Даже стиль слащав – сплошные диминитивы: «глазки», «хвостик», «лапки»... А сюжет простенький, но с воспитательным смыслом. Девочка живёт летом на даче. Папа приезжает туда по субботам. В ближайшее воскресенье у неё – день рождения. Папа привозит в подарок хомячка и в ожидании следующего дня прячет живой сюрприз в коробке на веранде. Ночью хомячок выбирается на свободу и попадает в сад. Там интересно, но очень страшно! Он знакомится с ёжиком, и тот рассказывает, что за садом начинается лес, а в лесу живёт хищная лиса. Она может хомячка съесть!.. Ёжик уговаривает хомячка вернуться: его ведь ждут, его будут любить,

он кому-то нужен! И тот возвращается.

Я срочно написал Фёдору, чтоб он не тратился попусту на посылку такого количества книг – я всё равно не знаю стольких издателей. И попытался как мог помягче и чуть шутливо высказать мнение, что, мол, в стране вольных прерий и ковбойских доблестей вряд ли кого заинтересует сюжет с хомячком-возвращенцем. Конечно, разумнее было бы лгать бедному Федьке, морочить ему голову, но я не стал.

Ответ пришёл незамедлительно. Фёдор просто клокотал от негодования и обиды. Он порывал со мной навсегда. Вдруг стали рваться и другие драгоценные для меня письменные связи. А это просто наступили андроповские времена. Переписка с заграницей, и без того предосудительная, стала карьерным, да и жизненным препятствием.

Но вот пропел петух Гласности, и злые чары рассеялись. Старые дружбы воспряли, но не все. Фёдор так и не захотел со мной встретиться. Он продолжал воевать со своими космическими демонами. В октябре 1995 года они его одолели: он принял смертельную дозу всё тех же таблеток в тёмном тупике квартиры.

1972 ГОД

Этот год был богат событиями и переменами не только в моей жизни. Ветер инициатив пошевеливал редеющие шевелюры моих сверстников и соотечественников, многие из которых «намыливались», «вострили лыжи», обзаводились диковинными справками и всякими иными способами пытались ответить на вопрос века: «Ехать или не ехать?» Для меня эта дилемма казалась тогда решённой отрицательно – раз и навсегда. Еврейских корней у меня не было, умонастроения легко перемещались от западничества к почвенничеству и обратно, но полагал я довольно твёрдо, что жизнь надо делать там, где живёшь.

Впрочем, незаурядные современники и уезжать-то умудрялись как-то действительно из ряда вон выходяще: например, Михаил Шемякин, вылетевший из страны под самый Новый год в объятиях Дины Верни, наследницы великого Майоля. Добрую добычу, славный подарок получил Париж как раз к католическому Рождеству!

С этим великим искусником я познакомился сначала заочно, но с примечательными совпадениями. В один из ноябрьских (надо ли добавлять здесь «промозглых»?) питерских вечеров 66-го года мы с Галей Руби отправились на сногсшибательную музыкальную премьеру в консерваторию. Не в филармонию, как обычно, а именно в консерваторию! Это было первое исполнение (честно говоря, самое первое уже состоялось в Москве) концерта Шостаковича для виолончели с оркестром. Причём концерт был посвящён Ростроповичу, и сам он должен был солировать! Правда, со студенческим, но очень хорошим оркестром и с консерваторским же дирижёром-профессором Николаем Рабиновичем. Билеты достались Гале чудом, по какому-то многоступенчатому знакомству, ибо был аншлаг, а от сочетания имён композитора и виолончелиста ожидали экстравагантностей и эскапад.

Кроме того, просвещённую публику поджидала ещё одна сенсация: в фойе была устроена выставка Шемякина! Мы заметались между залом и фойе. К тому же вешалка была уже переполнена. Куда сдать пальто? Пришёл на выручку Серёжа Гуревич, свой человек и в литературном, и в музыкальном мире. Познакомил с Толей Резниковским, аспирантом консерватории. Я пожал лёгкую, но крепкую и сильно поросшую волосом руку альтиста. Он отвёл нас в одну из аудиторий, где мы сбросили пальто, и запер её на ключ. Музыкальный? Нет, это была шутка.

Как много впечатлений несла небольшая выставка уже тогда скандального Шемякина! На стенах висели, вызывающе раздвинув рёбра, мясные туши, написанные грубыми мазками в манере Хаима Сутина, в них лишь угадывалась будущая линия, до безумья элегантная, которая, впрочем, уже сейчас была видна в его книжной графике. К её витринам меня и потянуло. Это были иллюстрации к волшебнику Гофману, главному Галиному любимцу, да и моему. И вот, оказалось, также и шемякинскому. Книги, кажется, так и не вышло, а вот балеты по тем же мотивам засияли, заудивляли публику прямо через дорогу отсюда, на Мариинской сцене и – всего лишь тысячелетье спустя!

Ну, вторую книжку уже сами коллеги-художнички выпустить не позволят. А ведь вот она, рядом, готовая серия гротескных иллюстраций к «Преступлению и наказанию». Но позднее у самих же издателей разгорелся, видимо, зуб на молодого чародея. «Испанская эпиграмма» – о выходе этой книги я слыхал, но никак не мог понять, почему книголюбы так гоняются за переводными и столь далёкими от нашей действительности сатирами. А увидел книгу и понял: из-за шемякинских иллюстраций, из-за полиграфического совершенства, неслыханного для, в общем-то довольно халтурного советского книгоиздательства. Всё-таки какая странность: гремят трубы и фанфары соцреализма, громыхают пропагандой газеты, высятся казённые идеологические монументы, и вдруг, как ни в чём не бывало, вылетает из крокодиловой пасти такая вот яркая и весёлая птичка! Какая-то сказочно выгодная коммерческая комбинация угадывалась за этим издательским сюрпризом.

Грянул концерт. Тема бурно меняющегося, комканого времени, такая характерная для Шостаковича, присутствовала и здесь, но разрасталась иронически, даже с издёвкой. Студенческий оркестр оказался на удивление слажен, профессор демонстрировал класс, а солист на своём Страдивари звучал то снисходительно на равных с оркестром, то легко перебарывая его. Вот и ожидаемая эскапада зародилась сначала намёком среди струнных, была затем невнятно подтверждена духовыми инструментами, но только вместе с виолончелью обнаружилась в явном кривлянии посреди трагического хаоса. Да, эта кипарисовая красавица-итальянка, сжимаемая в лядвиях артиста, явно и узнаваемо пела «Купите бублики», и вульгарность мелодии воспринималась как ёрничество и протест против официоза и пафоса. Но погодите так сочувственно торжествовать: что это там возникает сначала лирически скорбно, а потом, с нарастанием, угрожающе и даже зловеще? И опять вдохновенные конвульсии виртуоза дают нам узнать: это же «Сулико», излюбленная песня

Сталина, если кто не помнит! Как мы могли забыть о его больших усах, нависавших над нами так долго, и трубке? Но Шостакович не забыл. Браво, маэстро! Так вот мыши кота хоронили…

Сопоставление выставки и концерта само по себе содержало крупный намёк, и кто-то из устроителей, видимо, вдалбливал ненавязчиво: – Современники! Сталкивайтесь и озирайтесь! Искресайте из этого мысли и делайте стиль – если не сообща, то хотя бы в контрасте друг с другом.

Это, наверное, хорошо понимал симпатичный москвич Саша Тархов, вышедший на меня через самиздат примерно тогда же, чуть позже. Он появился у меня, высокий, прямой, темноволосый и ясноликий, и сразу расположил меня к себе. Его глаза загорались мыслью и вниманием, когда он читал или слушал стихи. Он работал в синематеке под Москвой, но занимался для себя Тютчевым и зазывал, воспевая музей-усадьбу, в Мураново. И ещё:

– Вам нужно обязательно познакомиться с Шемякиным!

– А что у нас общего?

– Может, что-нибудь и появится: не сейчас, так потом…

И как в воду глядел – в сменившихся хронотопах так ведь и вышло: совместный «Бестиарий»! А тогда Тархов договорился о встрече, и в назначенный час мы стояли где-то в районе Загородного у Техноложки (кажется, на Подольской или на Бронницкой) перед дверью в ленинградскую коммуналку. Нам открыл совсем нетипичный житель – денди с лицом молодого идола в тёмном сюртуке и белой манишке со стоячим воротником и свободно повязанным галстуком.

– Миша, – назвался он неожиданно скромно.

Шемякин откинул полу сюртука, вынул из жилетного кармана брегет на цепочке, щёлкнул, взглянул на время, щёлкнул опять и пригласил нас внутрь. Обычный коридор коммуналки с блёклыми стенами, тазиком, висящим на гвозде. Среди убогих дощатых дверей выделяется одна, обитая глянцевым дермантином под кожу, с полированной медной ручкой и таким же блестящим старинным звонком-колокольцем. Художник распахнул дверь, и мы вошли в мир иной.

Посреди комнаты стоял раскрытый рояль. К одной из его ножек был прикован чёрный пудель, тоскливо лежащий в лужице собственных испражнений. Рядом стояло готическое кресло с прямой высокой спинкой, куда был приколот листок с музыкальными знаками.

– Хорал Баха. Ноты осьмнадцатого века, – пояснил хозяин. – Подлинник!

Поодаль висела распятая на крюках баранья туша далеко не

первой свежести. Бока её были заветрены, кудельки жира в брюшине высохли и зажелтели. Душок от неё примешивался к струйке миазмов из-под рояля. Перед тушей стоял мольберт с подрамником и бугристыми слоями краски, нанесённой на подмалёвку. На стенах – картины, офорты, рисунки с натюрмортами и обнажённой натурой, фотографии мастера в причудливых образах, всюду – старинные или бутафорские вещи: трубка, тесак, треуголка, диковинки и бранзулетки.

Впечатлений уже было слишком много и густо, чтобы завязать с художником непринуждённую беседу, да и держал он себя как персонаж какого-то им срежиссированного действа с абсурдом, эротикой и, боюсь, чертовщиной, в антракте которого он принимал нас с Тарховым. Не помню, читал ли я ему стихи, или их показывали ему раньше, но как-то составилось у него весьма положительное мнение обо мне, в чём я позже и убедился. Нам предстояли ещё встречи в одном из иных миров, а в тот вспоминаемый год, даже до его наступления, Шемякин вдруг «провалился в потолок», ушёл в недоступное для оставшихся здесь измерение.

* * *

Поздней весной так же стремительно уехал и Бродский, оставив для обсуждения своё письмо Брежневу (копии – «радиоголосам»). Почти на равных было написано это прямое обращенье поэта – к тирану средней свирепости и, как-никак, главе государства, коммунистическому бюрократу и авторитарию. Однако – о чём? В памяти всплыл былой разговор с Иосифом-Жозефом, один из последних дружеских споров. Утверждал он, что правителям надо чаще напоминать о смерти.

– Как бы не так! – возражал я. – Они-то считают себя бессмертными.

– Вот именно поэтому!

И теперь опять: «Умру я, пишущий эти строки, умрёте Вы...» Бюрократу писать такое не имеет смысла, человеку – бестактно. А для радиостанции это, действительно, в самый раз. Чего же он хочет от «уважаемого Леонида Ильича»? «Я прошу дать мне возможность и дальше существовать в русской литературе...» Ну, это как-то не по тому адресу... Это ж – от Бога!

С Найманом, ненадолго приехавшим из Москвы, мы наспех переговорили об этом письме, сравнив его с солженицынским – о цензуре. Торопясь, Найман вдруг попросил:

– Ты напиши мне, что думаешь! А я отвечу.

– Толя! – воззвал я. – Не может ли так оказаться, что у нашей переписки будут лишние читатели?

– Если хочешь, я никому не покажу твоего письма. Обещаю!

– Нет, нет, ты сможешь его показывать, кому хочешь. Я ведь имею в виду перлюстрацию…

– А! Напиши мне как-нибудь неявно, а я уж пойму!

Сравнение двух писем захватило меня, мысли закипели, перо застрочило по листам. Наверное, я написал по объёму достаточно на целую статью, только именовал из конспирации Бродского «наш», а Солженицына «тот». И у меня получалось, что «наш» против «того» проигрывает, потому что этот – только о себе, а «тот» обо всех.

Написанный текст не поместился даже в двух стандартных конвертах. Пришлось отправить три, довольно увесистых, опущенных в тот же самый ящик. Найман получил лишь один и тут же позвонил мне по междугороднему, недоумевая:

– Что это значит? Письмо без начала и конца, с полуфразы начинается, полуфразой кончается…

– Значит, это средняя часть. Я послал его в трёх конвертах.

– Точно?

– Что за вопрос? До трёх-то я считаю…

– Тогда ты разбирайся со своей почтой, а я разберусь со своей!

Я отправился сразу на Главпочтамт, меня тут же отфутболили в местное отделение связи, а там «с обезоруживающей откровенностью» признались:

– Да, контрольные изъятия у нас происходят, но очень редко. И – всегда на получателя, а не отправителя. Так что пусть адресат ваш побеспокоится, а мы здесь ни при чём…

Я это сообщил Найману, и он в запальчивости накатал жалобу в Министерство связи. Ответ ему пришёл на официальном бланке, отпечатанный типографским способом и с подписью самого министра: начато расследование, о результатах сообщим. Так они с тех пор и разбираются…

Тот год был памятен для меня и счастливыми событиями. Наконец-то в результате родственного обмена, сравнительно несложного, у меня образовалось своё жильё. Главное для меня – это вид, хотя и тишина, конечно, немаловажна. Окна нового жилища выходили на брусчатку Кронверкского (тогда – проспекта Максима Горького) и на трамвайные пути, и когда встречались сдвоенные вагоны так называемых «американок», а параллельно проезжал ломовой грузовик с прицепом, получалось неслабо. Но зато дальше ветвились деревья сада, кустилась зелень, и в разрывах листвы в ветреный день можно было увидеть блеск

Петропавловского шпиля. Два окна (как два глаза) были слегка смещены от воображаемой середины так, что комната смотрела на мир вполоборота, потолок и стены создавали ещё одну точку схода, а чуть просевший пол (хвала метростроевцам!) образовывал третью, и я, не забывая уроки Марианны Павловны Басмановой, наслаждался из дальнего угла этим сложно оживлённым пространством.

Теперь надо было комнату срочно побелить, переклеить, покрасить! Сочувствие проявил Борис Иванович Иванов: как-то чётко по-командирски мобилизовал бригаду юных поэтов и художниц, и в день всё было сделано. Только Танечка Корнфельд старательно докрашивала раму окна, а Петя Чейгин (кто там был ещё – не упомню) мазал клейстером бордюр под потолком. Я наварил картошки, открыл банку сайры и выставил пару бутылок с приглашением всегда быть гостями в этом доме. Борис Иванович именно приглашением и заинтересовался, даже предложил конкретно собирать здесь, скажем, по четвергам «семинар неофициальной культуры». Это было для меня уже слишком, и я, извинившись, попросил гостей приходить в частном порядке, что они впоследствии и делали.

Оставалось меблировать мою комнату, которая уже выглядела нарядной и праздничной. Платяной шкаф оставили прежние жильцы, – им его просто было не вытащить в узкую дверь; с Таврической привезли старую тахту, круглый стол с парой стульев пожертвовал сестрин муж и мой зять Олег. Чтобы просунуть стол, пришлось сломать ему ногу (не зятю, конечно), но дело поправил громадный гвоздь, вбитый сверху через столешницу. Олег сколотил мне и книжные полки, вправив для украшения деревянное «полотенце», привезённое из северных путешествий. Жилище получалось на славу: образовались рабочий кабинет, спальня и столовая с гостиной – всё в одной комнате.

Здесь меня могла навещать (и навещала охотно) моя тайная возлюбленная, что, честно говоря, и было истинным смыслом моего домостроительства – отнюдь не подпольные семинары!

Комната давала приют и друзьям, а однажды и совсем незнакомому торговцу с Ситного рынка, обобранному в милиции. Я возвращался домой поздно, с последним поездом метро. У соседнего дома, во дворе которого располагался пикет, стоял крепкий мужичина с растерянным лицом. Он спросил, как проехать к Балтийскому вокзалу.

– На такси, если поймаешь. Метро закрыто.

– Деньги все отобрали. Возьми к себе переночевать.

Я заколебался. С одной стороны, сочувствую. С другой,

недоумеваю: кто он? Рыночный ушкуйник? Наконец решился:

– В Бога веруешь?

– Верую.

– Пойдём.

Привёл. Дал ему хлеба с маслом, сунул. Уложил в углу. Выключил свет, но не сплю. Вдруг слышу голос:

– А где нож-то?

– Унёс на кухню. Спи. Нет ножа.

А на самом-то деле нож я забыл на столе, поблизости от него... Вот, устроил себе «русскую рулетку»! Он боялся меня, я – его. Проворочался весь остаток ночи, дремал чутко, как зверь. Ворочался и он. Чуть забрезжило в окнах, я ему:

– Всё. Быстро отсюда, пока соседи не слышат. Метро – из дому налево, до угла и через дорогу.

КАТАКОМБНЫЕ ХРИСТИАНЕ

В феврале того же года освободили Наталью Горбаневскую. Вместо тюрьмы её подвергали насильственной психиатрии. Казанская спецбольница, куда её поместили, считалась особенно мрачным местом.

Наталья стала наезжать в Питер, а после того как у меня образовалось своё жильё, останавливалась у меня. Ночевала в том же углу, где когда-то ютился «ушкуйник»; на завтрак я либо варил овсянку «Геркулес», либо жарил яичницу, в обед наше меню тоже не разнообразил. Было у меня лишь два дежурных блюда под условными названиями «варево» и «похлёбка». Их рецептов я не разглашаю, ибо тех ингредиентов уже не достать, прошу лишь поверить, что было вкусно и питательно. Запомнился один момент, когда вдруг – чуть не до слёз – защемило сердце жалостью. Я подносил тарелку, чтобы поставить перед ней, а она неожиданно цепко ухватилась за её края ещё в воздухе, как, вероятно, хваталась там за миску при раздаче. Об этих материях она рассказывала мало, больше говорили такие вот невольные жесты. Всё же я расспросил, почему она оказалась в психушке, в то время как остальные участники протеста – в лагере:

– Из-за того что кормящая мать? Или – потому что мать двоих детей?

– Нет, из-за этого меня сразу тогда отпустили, но в конце 69-го всё-таки арестовали... И академик Снежневский (вот кто точно будет гореть в аду!) поставил мне диагноз «вялотекущая шизофрения».

– А что это такое?

– Это советский вклад в мировую психиатрию, Димочка. Симптомы могут быть любыми. Я, например, не заботилась о состоянии детей, хотя заботилась о состоянии страны, в которой моим детям предстоит расти. А это квалифицируется как «бред правдоискательства».

– Кошмар!

– Да, кошмар. По сравнению с психушкой, лагерь – это мечта.

– Почему?

– По двум причинам. В психушке, во-первых – одуряющие медикаменты, от которых не увильнуть, потому что иначе – карцер или даже хуже. Во-вторых – отсутствие срока. Могут хоть всю жизнь продержать.

В Ленинград Наталья приехала автостопом. Ещё ранее мне рассказывал Найман с весёлым недоумением:

– Наша Наталья теперь чемпион страны по этому виду

спорта!

Такую витальность я объяснял энергией душевного заряда, который вдруг вырвался из зарешеченной принудиловки. Это чувствовалось даже по её стихам, но угадывалось и другое. За ней, конечно, продолжалась слежка, и автостопы были удобным способом уходить от наблюдения.

К счастью, правозащитник в ней не победил поэта, как я того опасался, – стихи её, по-прежнему краткие, наполнились трагической сдержанностью. Они внутренне расширились, в них открылись пространство и глубина. Я услышал медитативный диалог с неотмирным и живым собеседником, сходный с тем, что созревал во мне. А мера человеческого доверия к ней была у меня такова, что я решился рассказать о собственных сокровенных думах.

– Вот и прекрасно! Тебя надо крестить, – обрадовалась она. – А я буду твоей крёстной матерью.

– Но мы же сверстники…

– Это ничего. Это вполне допускается. Я же крестилась раньше, значит, я старше.

И она изложила план. Сначала мы едем в Псков (разумеется, автостопом) к одному замечательному батюшке, и он подготовит меня к крещению. Затем махнём в Ригу и на взморье в Апшуциемс, где проводит дачные сезоны Толя Найман с семьёй, а оттуда – в Москву, и там я приму крещение у другого, не менее замечательного батюшки. План меня устраивал во всех отношениях, я взял отпуск, и мы «ударили по дороге», как неуклюже я бы выразился теперь по-американски.

Сама поездка на попутках оказалось не столь яркой, как я ожидал, из-за суровых правил, которые мне в последнюю минуту изложила Наталья: с водителями зря не болтать, лишь коротко отвечать на вопросы, а расплачиваться – если только сам попросит. А так – «спасибо, счастливого пути», и – из кабины…

Но в Пскове ожидал сюрприз. Батюшка, действительно, оказался светлый. Это был отец Сергий Желудков, заштатный священник, живущий в домике у своей бывшей прихожанки, богобоязненной, но и бесстрашной женщины, приютившей человека, одержимого, как и наша Наталья, «бредом правдоискательства».

А сюрприз состоял в том, что у них гостила Надежда Яковлевна Мандельштам, приехавшая из Москвы. Не знаю, чему я так удивился: она ведь прежде жила в Пскове, где, кстати, я с ней и познакомился. Наверное, поразил меня контраст между этой резкой, острой на язык женщиной, сидящей в красном углу комнаты, и тихими намоленными образами, на фоне которых она

дымила беломориной. Это уж отец Сергий выказал ей высшую степень почтения, позволив курить перед божницей. С ней мы, понятное дело, заговорили о литературе.

К тому времени я уже прочёл «Петербургские зимы», вполне подпал под очарование этой книги, вот и сам теперь, пользуясь методом Георгия Иванова, слегка беллетризую это повествование. Я понял и мотивы, по которым столь единодушно осудили книгу «Жоржика» Ахматова и Надежда Яковлевна. То было время замалчивания и непечатания, поэтому нужны были факты, сведения трагического характера, а не свободная художественность и не произвольный, как у Андрея Белого, порой даже своевольный, артистизм. Пусть так. Но я открыл для себя большого поэта и этим открытием желал поделиться.

Надежда Яковлевна отнеслась к моему энтузиазму скептически и в качестве пробного испытания предложила прочесть что-нибудь из него наизусть. Я прочитал «Эмалевый крестик в петлице».

– Ещё!

Сам того не ожидая, я читал на память ещё и ещё, всего стихотворений пятнадцать, а то и больше.

– Прочитайте ещё раз то, первое.

Я повторил «Крестик».

– Жоржики остаются жоржиками, даже если они начинают писать немного лучше, – заключила она.

Отец Сергий (Наталья его называла попросту Сергей Алексеевич) располагал к себе моментально: простой, действительно чистый, весёлый, открытый – никакой жреческой важности или таинственности… Вот он наставляет меня, неофита, какие молитвы нужно учить для начала: «Иисусову» (её уже знаю), «Символ веры» (обязательно), «Свете тихий» и из Богородичного акафиста «Честнейшую херувим». А в то же время и церковные обычаи покритикует беззлобно и по делу – например, утомительное многочасовое стояние в храме. Иностранцы, мол, нас упрекают: русские ногами молятся. Высказывает даже вовсе спорные мысли: о поэзии, например. Пушкину, мол, и не нужно быть святым или даже благочестивым. Если для вдохновения необходимы ему увлеченья, азарт игры, то пусть увлекается. А мы, священники, уж за него помолимся…

Пошутил, рассказал даже анекдот про святого Петра. Вот этого-то евангельского персонажа он больше всего и напоминал мне – того, кто первым сказал:

– Ты есть Христос, Сын Бога живаго.

И – обликом. И – порывистостью темперамента. Конечно, он был реформатор, ратовал за литургическое творчество, уверял,

что теперешний богослужебный канон был вовсе не всегда и существует в таком застывшем виде лишь по инерции, хотел бы позволить в церкви музыку, а не только хоровое пение. Даже сыграл на старенькой фисгармонии, показал, как бы это звучало. Звучало бы здорово.

Какому начальству это могло понравиться? Да и не только начальству. Позднее я наслушался о нём всякого – главным образом, от лютых консерваторов.

Но самой необычной идеей о. Сергия была «Церковь людей доброй воли», к которой, по его мнению, принадлежали те, кто даже и не подозревал, что они христиане, творя добро и следуя справедливости. К таким он относил в первую очередь академика Сахарова, почитая его как, быть может, святого и мученика.

Горбаневской он говорил прямо (имея в виду и других участников протеста на Красной площади):

– Вы и сами, возможно, не догадываетесь, какого масштаба поступок вы совершили. Ведь помимо всех очевидных значений, ради которых вы так смело выступили, вы ещё сделали необязательными другие, новые жертвы. Выйди ещё с вами сто, двести человек, они бы только прибавили себе страданий. А так – протест всё равно выражен, слово сказано!

Он одобрил Натальин план относительно меня, а в Питере рекомендовал духовника-наставника о. Василия Лесняка, по его словам, «очень сильного священника». Ещё направил меня в тайный религиозный кружок Константина Иванова и его брата Михаила, где я позднее, конечно же, побывал.

Константин, старший, при знакомстве немного смущённо назвал себя философом, младший был художник, на стенах висели его картины, одна из которых, «Крещение», запомнилась мне не столько водным, сколько воздушным голубым тоном и симметричной эмблематикой. Малые дети, возбуждённые приходом незнакомых людей, крутились и бегали. Молодая женщина подчёркнуто постного вида, мать или тётка, увела их на кухню. На кружке обсуждался вопрос «Почему я христианин?» – таково было название книги о. Сергия Желудкова, вышедшей на Западе. Книги никто не видел, но братья устроили обсуждение самой этой темы. Я сказал, что церковь – это Китеж, и я прихожу туда, как в святую Русь. Мне горячо возразили, что это – национализм и что в христианстве «несть ни еллина, ни иудея». Константин примирительно заметил, что каждый приходит к пониманию истины своим путём. Борис Иванов, писатель (однофамилец, не родственник), объявил, что он агностик, но поддерживает христианство ради свободы совести.

* * *

Запомнилась ещё одна встреча с философом Анатолием Анатольевичем Ванеевым, репрессированным в сталинское послевоенное время. Он был представлен в кружке анонимно, держался то ли застенчиво, то ли скрытно («дискретно», как сказал бы Евгений Терновский, парижский словесник), и на то были основания: узнай начальство, что он «пропагандирует идеалистическое учение», ему бы, да и всем участникам, несдобровать. С крупной проседью, но ещё не старый, с тёмными глазами, вдруг загоравшимися великими мыслями его наставника и, может быть, образами скудного и грубого быта, среди которого эти идеи были им восприняты, он излагал учение Льва Платоновича Карсавина.

Физик и богослов, но, впрочем, и преподаватель, Ванеев быстро нашёл верный тон для малой и неподготовленной аудитории, наблюдая реакции глаз, следуя за разгорающимся огнём понимания. И вот он взлетел, запел-заговорил «о блаженстве безгрешных духов под кущами райских садов», выражаясь лермонтовскими словами... И в самом деле, это были ангельские мысли о Боге как о совершенном всеединстве, которое передаёт себя абсолютному ничто, и оно, обоживаясь, превращается в тварное нечто. Бог умирает в твари, а она становится Богом и умирает как тварь. Но Бог воскрешает её и делается вновь абсолютным всеединством. Эта динамика напомнила мне собственные сновиденные думы, только эти высились не в пример изящнее и стройней в их разветвлённой сложности. Мне нравилось, что в их гармонической системе не унижается плоть, наоборот – она одухотворяется. Да и мог ли мыслить иначе философ, чья сестра Тамара Карсавина была восхитительная, прославленная балерина?

У Ванеева не было времени рассказать причудливую биографию своего учителя, он лишь наметил вехи жизни и самую суть его идей. До революции профессор Петербургского университета, Карсавин в 1922 году был выслан Лениным на том самом печально известном «философском пароходе», увезшем из России её лучшие умы. Получил несколько предложений из университетов. Отказался от них, в том числе и от Оксфорда, в пользу Каунаса. А туда, как известно, позднее пришли советские войска. Дальнейшее понятно без слов. В 1949-м его отправили в лагерь у полярного круга, в Абезь, куда-то между Печорой и Воркутой. У Карсавина открылся туберкулёз. Его поместили в стационар, а там в это время лечился Ванеев. Узнав, кто его сосед, Ванеев прямо попросился в ученики, и Карсавин принял, и

учил и наставлял в течение двух лет, вплоть до своей кончины. Ванеев наследовал и сохранил его труды, написанные в лагере.

Сейчас, когда я стал вспоминать Анатолия Анатольевича, я подумал, что в своём ученичестве он и сам был незауряднейшим человеком. В точности как в приведённой выше философской схеме, Карсавин умер в нём, в нём же и воскрес. Я поискал связанные с Ванеевым материалы и нашёл его любопытные и прекрасно написанные лагерные воспоминания «Два года в Абези». Ещё одна книга на лагерную тему. Да, ещё одна, но совсем иная – интеллектуальная! Помимо возвышенных бесед с учителем, Ванеев приводит высказывания и остроумные речения Николая Пунина, который ведь был не только мужем Ахматовой, но и блестящим интеллектуалом, теоретиком искусств. В том же лагере находился и еврейский поэт Самуил Галкин, знаток каббалы, и академик-египтолог М. А. Коростовцев, были католические богословы и даже глава иезуитской миссии в Литве. Словом, это горестное и неприглядное место оказалось чуть ли не Платоновой академией, где не сякла высокая духовность.

Братья Ивановы, Ванеев, Борис Иванов – не слишком ли много скопилось в этом отрывке однокоренных фамилий? Но надо упомянуть ещё одну. Старший из братьев, Константин, поддерживал богословскую переписку с отцом Сергием Желудковым и ездил к нему изредка в Псков.

Вернувшись оттуда, он передал мне привет от Надежды Яковлевны – оказывается, она там ещё гостила.

– Ну, как она?

– Ничего. Говорила об одном поэте, читала по памяти его стихи. Такой Иванов. Слыхали?

– Ну, были Ивановы в русской поэзии: Вячеслав, Георгий… А какие стихи-то? О чём?

– Да, кажется, это Георгий Иванов. А стихи – что-то о царской семье, о каком-то крестике.

Ну и память у неё! Ведь со слуха запомнила…

ДИССИДЕНТЫ

О чём думала моя «матушка Наталья», трясясь в мятой кабине ВАЗа по дороге в Москву? Следуя её же правилам, разводить беседы особенно не рекомендовалось – ни между собой, ни с водителем. Она сидела у дверки, я «отслаивал» её от шофёра, чтобы не было телесных контактов, а наш контакт с ней был заведомо бестелесным – будущая крёстная! Родительница «Хроники текущих событий» – за ней тогда сломя голову гонялись власти, – она наверняка везла какие-нибудь материалы о преследованиях инакомыслящих, незаконных арестах и обысках, прихватив с собой, должно быть, и дискуссионное письмо от о. Сергия к академику Сахарову – между ними тогда завязывалась такая переписка.

Но думала и о своём новом крестнике. По моим стихам она должна была понять, что я нахожусь сейчас в романтических отношениях, более чем счастлив, но счастье это мне трудно согласовать с тем образом жизни, который я намеревался принять. И она решила всё устроить! Она познакомит меня с самой потрясающей москвичкой, какую я только могу вообразить и от которой она сама в восхищении. И мы должны, просто обязаны сразу же влюбиться друг в друга. Причём надо не упустить момент: она только что развелась с мужем, у неё славный и очень умненький малыш, которым я непременно очаруюсь. А в одиночестве такая красавица будет оставаться недолго!

* * *

Москва. Жара стоит даже вечером. Сизая дымка мечтательно застилает перекрёстки, пряные, горькие, едкие запахи гуляют по дворам. Это из-за необычно сухого лета самовозгорелись торфяники Подмосковья. В моменты городского затишья слышно, как стрекочут сверчки мелодичными трельками. Сегодня удачный случай для запланированного знакомства: мы с Натальей идём на день рожденья известного правозащитника, о котором звенят радиоголоса. Там будут все.

Как раз она самая и открывает по-хозяйски дверь: чёрные прямые волосы по плечам, светлый равнодушный взгляд, которым она «сканирует» меня… Обнимает по-свойски Наталью. Отпускает вольную шуточку, машет внутрь квартиры, приглашая присоединиться к гостям. Вся в заграничe, но стильной и простой:

джинсы в обтяжку да маечка с латиницей – по погоде. Движенья свободны, но сама она возбуждена, выволакивает из кухни своего малыша. На кухне – чёрт-те что, дым столбом, там жарится печёнка на всех. Малыш – интеллектуальный комик, выдаёт несколько сногшибательных высказываний. Взрослые покатываются со смеху. Я спрашиваю Наталью:

– Она – что, здесь хозяйка?

– Нет, но она тут своя. Хозяйка – её сестра, жена именинника.

Тот, действительно знаменитый диссидент, создатель инициативной группы по правам человека, расположился полулёжа на ковровой тахте в костюме и при галстуке, как, например, Мейерхольд на портрете Лентулова, либо же Лентулов на портрете Кончаловского, точно не помню, но довольно величественно. Иронически поглядывает на суету. fГости прибывают, и всё – имена. Наша красавица по-прежнему открывает дверь. Вот входит рослый широкоплечий парень. Объятия. Одобрительный шлепок по джинсовой попе. Спортсмен? Нет, писатель. Работал редактором в журнале «Коммунист», затем написал диссидентский роман, выпал из номенклатуры.

Ещё звонок. Крепкий русачок, тоже какая-то знаменитость. И опять «дружеский» похлоп по натянутым джинсам! Пока печёнка не готова, давайте танцевать: твист, буги-вуги? Нет, рок-н-ролл! Русачок хватает красавицу, та охотно даётся, и он крутит её, переворачивает, закидывает себе за спину и вдруг – хрясь! – роняет крестцом об пол.

– Ах-х-х!

Я прямо оскаливаюсь на него, готов разорвать:

– Ты что?! Не умеешь – не берись. Гуляй отсюда!

– Сам гуляй!

– У Машки опять собачья свадьба, – как бы размышляет вслух диссидент, виновник торжества.

Наталья гаркает на нас:

– Хватит! Мальчики, успокойтесь. С ней всё в порядке.

Но с ней не всё в порядке. Подтягивая джинсы, красавица хромает на кухню к сестре, затем появляется оттуда с огромным блюдом жареной печёнки, обносит по пути гостей и, подойдя к имениннику, восседающему в той же позе на тахте, вываливает на него, на костюм и тахту всю гору оставшейся печёнки. Её зять (или, если перевести с английского, который им обоим не чужд, «брат-в-законе») не теряет лица, но, отряхнув с себя жирные куски, обвалянные в сухарях, спокойно обращается к свояченице:

– Ты что, Машка, спятила? Что я тебе сделал?

– А чего ты такой важный?

– Это я-то важный? С чего ты взяла?

– С того, что ты важный.

– Это я-то важный? Ты что, спятила?

Родственный диалог явно заклинивало. Пора уходить, жареной печёнки так и не отведав... И всё-таки я продолжал видеть этих людей в ореоле опасности, в батальном дыму их борьбы с неправедной властью, невольно перенося на них по контрасту благородство, праведность, вовсе не обязательные в такой борьбе. Владение английским было более действенным и нужным оружием. И, конечно же, их смелость вызывала восхищение, ибо, как точно выразил суть дела блаженной и незабвенной памяти Борис Леонидович: «Корень красоты – отвага».

От того же корня произрастала и свобода, с которой эти люди держались. Некоторыми из них она была унаследована от когда-то могущественных родителей, новой аристократии, впоследствии впавшей в немилость. Но их дети, внуки отстранённых наркомов, сыновья расстрелянных командармов и большевистских экспроприаторов, должно быть, впитали сознание своей элитарности и требовали её обратно вместе с правами для «демоса», если не сказать «плебса».

Этот последний, в более почтительном наименовании «простой народ», диссидентского движения не поддерживал, справедливо полагая, что, мол, «плетью обуха не перешибёшь» и «своё дороже», но тем ценнее считались отдельные пошедшие напролом пролетарии. Они поддерживали марксистский стереотип о движущей силе Истории, а марксистов (хоть и с приставкой «нео») было среди правозащитников немало.

Но если считать демократическую интеллигенцию тем самым «демосом», то сочувствующих среди них было полно. И даже поддерживающих, но не деньгами, конечно, – откуда? – а восхищением, даже подписями в защиту смельчаков, реально при этом рискуя продвиженьем по службе, поездками на конференции, премиями, удобствами цивилизованной жизни... Однако «подписанты», даже те, кто всерьёз испортили либо совсем погубили свою карьеру, практически ничем делу помочь не смогли: обыски, аресты, показательные суды продолжались. Правда, радиоголоса воспевали сквозь вой и скрежет их бескорыстную и часто безымянную жертву. А был ли подвиг самих героев-активистов таким уж бескорыстным? Вот вопрос вопросов.

Один из моих быстрых разумом приятелей расхолаживал гражданские восторги таким рассуждением:

– В «Берёзке», – говорил он, – перестали на время принимать валюту, выдавали товар только по бонам для моряков, и что ж?

Почему-то это вызвало сильное беспокойство в кругах диссидентов... – И вообще, – продолжил он эту тему, – на подвиг идут теперь с холодным расчётом, примерно таким: «Значит, так. Я получаю четыре года, но на выходе меня должны ждать американские джинсы, свитер “орлец”, двухмесячная путёвка в Крым и вызов из Израиля».

Свитер «орлец»... Однако! О таких тонкостях моды я и не подозревал. И не подвергал благородный подвиг Натальи сомнению. Только сидит до сих пор в мозгу как заноза её горькая реплика из более поздних, парижских времён: «Что же ты думаешь, я должна была за просто так рисковать благополучием своих детей?» Или это мне только примстилось?

* * *

И вновь мы вибрируем в такт с дизельным двигателем в кабине дальнобойщика, пообещавшего довести нас до Риги. Запахи тлеющего торфа, пряные от горящего болиголова и гоноболи, врываются в окна вместе с пылью и духом разогретого асфальта. Эта смесь веселит мои уже изрядно прокуренные лёгкие, журчит в ещё не поредевших волосах и вообще подпитывает надеждами 36-летнего «юношу», возжелавшего родиться заново.

Но прежде мне предстоит ещё познакомиться в Риге с Романом Тименчиком и его фарфороволикой Сусанной, и это знакомство сначала замрёт на годы и годы, чтобы вновь напомнить о себе в весьма примечательных местах и в не менее значительные моменты. Вот мы стоим у Стены Плача (а моя Галя подходит поближе, чтобы потрогать её нерушимую кладку), и мимо нас проходит молодой францисканский монах в крепких сандалиях. А вот Рома сидит у нас в иллинойском «Шампанске-Урбанске», мы пьём чай с прустовскими мадленами, которые прислал из Парижа Евгений Терновский, и вспоминаем, как стояли вместе в двухтысячное Рождество Христово у стен Вифлеемского вертепа эдакими волхвами-пришельцами в толпе местных пастухов...

И – опять в лето 72-го, в компанию с Натальей. Мы едем уже не на попутке, а в электричке, обычнейшим образом купив билет до Апшуциемса, рыбачьего посёлка, находящегося в конце длинной цепи курортов Рижского взморья. Дюны, сосны, аисты, опрятные домики с именами собственными. Нас поселяют на пляже в рыбачий сарай, где кроме пахучих сетей имеются двухэтажные нары, и мы именуем его «Привал комедиантов».

Комедия как раз и происходит. Дело в том, что упорная Наталья всё ещё хочет устроить моё семейное счастье, и для этой цели мы преследуем ту самую джинсовую Коломбину, которой она так восхищается. Я, впрочем, восхищаюсь тоже, но значительно меньше. Мне даже скорей (чисто теоретически, конечно) понравилась бы её подруга, вот эта веснушчатая халда, на которую я стараюсь и не смотреть. Во-первых, она беременна, а во-вторых – при муже. Муж, между прочим, тоже известный диссидент, историк, участник сборника «Из-под глыб» (налицо перекличка со сборниками «Вехи» и «Из глубины») и будущий распорядитель Солженицынского фонда. Но в будущее лучше не заглядывать, там трагически громыхает железный лист с раскатами траурного грома. На этом же пляже, как раз напротив нашей будки, он, охлаждаясь от жары, войдёт в студёную балтийскую волну, и его сразит инфаркт. Это случится ещё не скоро, а пока мы, как слепцы неразумные, разыгрываем комедию: Коломбина живёт в дачном домике с ними, но не одна. Арлекином при ней состоит младший брат Тименчика, Миша. Роль Пьеро в этой пьеске отказана мне. За завтраками все собираются на веранде. Пока бубнит новостями Би-би-си, мы поглощаем простоквашу с обильным количеством хлеба, Арлекин рассказывает анекдоты с похабщинкой, а Коломбина, закинувшись, хохочет во всю свою молодую пасть. При этом Пьеро, стараясь не думать, как они там гоняют ночами любовного зайца, томится и ждёт реванша. А вот дождался ли – извините, сказать не могу. На такие вопросы не отвечаю.

Между тем происходит смена жанра. Арестован Якир, сын командарма. Наталью – как подменили: собранная, решительная, она первым делом составляет ему передачу.

– Курит он только «Капитанский».

– Тогда нужно и трубку, – подсказываю я как курильщик.

– Трубку не пропустят. А вот папиросной бумаги хорошо бы добавить.

– Почему ж не послать тогда папирос?

– Папиросы, сигареты – всё на проверке переломают: что-то там ищут...

Сложна ты, диссидентская наука! Но вот мы и в Москве. Первая передача уже отправлена – дочкой. А с ним самим – осложнение: начал давать показания. Наталья в задумчивой тревоге:

– А ведь он предупреждал: «Если я начну давать показания, значит, это не я». Что это значит?

Означать это может многое. Если он курит только «Капитанский», то имеет, должно быть, и другие привычки и

клавиши, на которых играют теперь мастера с холодным умом и горячим сердцем. Но не мне судить. У меня свои пути и цели, о чём я напоминаю Наташе. И слышу в ответ:

– Всё помню. Завтра к двенадцати едем на Преображенку к отцу Димитрию Дудко.

Даже батюшка у неё диссидентский! Пока выносили купель, он, качая громадной лысиной, докладывал моей крёстной о допросах и обысках с изъятием книг. Странно мне было раздеваться до трусов в церкви, хотя и пустой. Странно было, что священник отстриг ножничками у меня прядь волос, вмял её в тёплый воск, бросил в купель.

– Отженяешься ли от Сатаны? Говори: «Отженяюсь!»

– Отженяюсь!

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа крещается раб Божий Димитрий...

Причастил затем преждеосвящённым Дарам, даже без исповеди. Ведь я был тогда «технически» совершенно безгрешен. Всё, всё прежнее, плохое, упрямое, даже просто глупое, связанное вольно или невольно с делами и помышлениями, всё было смыто с меня этим таинством. Чувство немыслимой чистоты и воздушной лёгкости, располагающей к левитации, припомнилось много позже, когда мы с Галей стояли на краю купели Христовой на реке Иордань, и – на грани тысячелетий. Вечность была ощутима и поражала мирной тишиной, изгибом речки, стайкой мальков в проточной струе. Две голубые стрекозы сухо зашелестели крыльями, стараясь оседлать хвощинку, упорно колеблемую теченьем. Оказалось, что я помню ещё все те слова, что произнёс тогда отец Димитрий, и мы повторили обряд великого таинства сами.

УХОД ИЗ ПОЭЗИИ

Мой лабиринт на Петроградской стороне раскидывал в сумраке коленчатые коридоры, направляющие обитателя от одного коммунального удобства к другому: крутой поворот от входа направо вёл на кухню с затуманенным видом в окнах, глядящих в колодец двора. Пять убогих столиков с утварью и посудой определяли число обитающих здесь семей, газовые плиты также были распределены с расчётом по две горелки на семью. Ведро в простенке меж двух дверей на чёрную лестницу накапливало сор и отходы. Ржавое журчанье бачка слышалось из сортира, примыкающего к кухне.

Вернувшись в небольшую прихожую, посетитель приятно удивлялся, обнаруживая телефон. Это была сущая роскошь, которой располагала далеко не всякая коммуналка!

Дальше тёмный коридор вёл в недра, и там, нашарив выключатель, можно было осветить следующую прихожую с дверью в ванную, где находилась дровяная колонка, ещё одно немаловажное удобство, отменяющее походы в баню. Пара дощатых ящиков, подхваченных на задах овощного магазина в проходном дворе, могла обеспечить краткий, но горячий и живительный душ, либо же – холостяцкую постирушку. Ещё один беспросветный коридор вёл вбок, в совсем уже мрачные дебри, откуда иногда, переваливаясь, вылезала толстая неопрятная баба с грубым лицом. А в другую сторону был направлен короткий аппендикс с сюрпризом: справа и слева в его тупичке располагались двери. За одной жила продвинутая по профсоюзной линии ткачиха, а другая открывалась в моё собственное жилище.

С соседями установились у меня почти идеальные отношения, то есть – никаких. У бабы-минотаврихи столовался и частенько останавливался на ночлег её сын, прописанный в другом месте. Это обстоятельство делало её уязвимой и, чтоб не навесили на неё дополнительных трат и обязанностей по квартирным дежурствам, она держала себя «ниже воды, тише травы» – так, а не наоборот, следует читать известную поговорку. Ткачиха, плотная тридцатилетняя разведёнка со взбитой причёской, принимала тайком воздыхателя с производства, наверняка семейного, и потому тоже на коммунальном ристалище не возникала. Ближе всех к телефону жил пожарник с работницей-женой и малолетней дочерью. Но он стоял в очереди на квартиру по их ведомству, и в здешних конфликтах предпочитал не участвовать. А вот ближе к входной двери

обитали две потенциальные скандалистки, мать с дочерью: колченогая пенсионерка с палкой и пронзительным голосом и под стать ей больничная нянька с неустроенной женской судьбой. Эти, чуть что, начинали:

– На ваши звонки не наотвечаешься: «Диму можно?», «Диму можно?»

Или:

– К вам слишком много ходят. Топчут, следят тут... Грязь по паркету разносят!

Я уходил в свою комнату, глядел в окно, и капля досады испарялась. Кроны деревьев в саду напротив пооблетели, и то, что лишь поблескивало летом, теперь являлось воочию: золочёная игла и на ней крылатый трубач. Петропавловка! Символ и смысл моего пребывания здесь. Вот так и перо должно позлащаться от истины, им описуемой в гармонических образах. И станет поэзия в конце концов ангелической. Сколько ангелов может поместиться на кончике моего пера?

И что такое она сама, эта поэзия? Не по толковым же словарям шарить в определениях. Впрочем, почему бы и нет, – например, по Владимир Иванычу, казаку Луганскому: «Словесное искусство, духовное и художественное изящество, выражаемое мерной речью». Да, но изящество – это ведь что-то балетное, в белых пачках и с задранной ножкой над головой. Это – отчасти от Пушкина, и уж никак не от Державина. Но духовность помянута здесь к месту и очень по делу, о чём вы, друзья мои, слегка подзабыли.

Вот как об этом взахлёб и исступлённо нами цитируемый Борис Леонидович изъяснялся:

Это – круто налившийся свист,
Это – щёлканье сдавленных льдинок,
Это – ночь, леденящая лист,
Это – двух соловьёв поединок...

Свист может исходить и от соловья, и от разбойника, и от обоих разом – то есть былинный... Ледяные образы сродни священному ознобу вдохновения. А поединок – не из-за общего червяка, конечно, и не царапаясь и пища, но с признанием того, что твоя полновесная трель – только часть единящего звука.

А несравненная и трепетно нами чтимая Анна Андреевна вот как предмет определяла:

Это – выжимки бессонниц,
Это свеч кривой нагар,

Это сотен белых звонниц
Первый утренний удар…

Ну что с того, что это названо «О стихах Нарбута»? Это ведь прежде всего о её, да и о любых стихах вообще, растущих из сора, из праздного или даже суетного томления, «кривого нагара» чувственности и вдруг дождавшихся чистого и могучего зова, воспаряющего и возносящего тебя к поднебесью.

Именно это и выразил, пожалуй, полнее всех наставник поэтов и царей, тихий гений русской словесности: «Поэзия есть Бог в святых мечтах Земли!»

Мало кто об этом высказывании помнил к тому времени, когда его тема блеснула золотым восклицанием в двух петроградских окошках. А напоминания вызывали споры даже у наиболее духовно близких, включая и Наймана. Для разговора мы выбрали картиннейшее место в городе, Летний сад, и оттого уже сами казались друг другу какими-то, если не оперными, то по крайней мере литературными персонажами, наподобие Блока и Белого. Наш дуэт об искусстве и Боге раздваивался на тезы и антитезы, а выйти на коду не получалось. По широким продольным аллеям и узким поперечным, мимо чёрных вытянутых стволов лип к широкоруким вязам, позирующим, словно борцы, по краям цветника (вязов тех больше нет), мимо Артемиды и Феба-Аполлона сребролукого к ужасному Сатурну и Немезиде карающей, от полукружья пруда с лебедями к струнной решётке, за которой хоть всю жизнь просидеть в заключении было бы счастьем, исходили мы сад вдоль и поперек многократно и говорили всё время лишь о религии. Найман представлял себе веру в Бога как подвиг праведничества, если не святости:

– Как мог ты принять христианство – ты ведь грешник… Ты – грешник?

– Так ведь, Толя, Спаситель как раз и явился мытарям и блудницам. А праведники, Он говорил, уже вознаграждены.

– Ну и что ж ты теперь – продолжаешь, наверно, грешить?

– В этом я исповедуюсь перед батюшкой. Преступлений, как ты знаешь, за мной не водилось. А что было дурного, всё смылось крещеньем.

Мы закончили разговор у площадки с двуликим Янусом, который так и напрашивался на роль символического завершения к теме. Расхоже трактуют его как лицемера, но ведь беседа была откровенной… Я бы истолковал эту фигуру иначе. Мы с Найманом и есть два лица одной головы: мыслим о том же, а смотрим в разные стороны. Особенно настаивал он на

невозможности сочетания поэзии с Богом – ив том разговоре, и позже. Отвергал в стихах слово «говеть» – возможно, из-за его неблагозвучного корня... «Стигматы» объявил лубком. Не иконой, конечно, как мне изначально мечталось, не картиной и даже не иллюстрацией, а вот таким примитивным видом искусства. Это озадачивало, но когда я узнал, что Толиным духовником стал отец Стефан, всё для меня вернулось на свои места.

Он был когда-то поэт. Да не «когда-то», а, если по-настоящему, то на все времена, – ярко и блестяще талантливый Станислав Красовицкий, звезда московского самиздата. Я был с ним тоже знаком, виделся два-три раза как до его обращения в христианство, так и после этого, протекавшего драматически, события. В пору описанных раздумий его судьба мне была особенно небезразлична, я побывал у него под Москвой, разговор перешёл в обмен мыслями, который мы продолжили в переписке. Письма я сохранил, но у них сложилась непростая история.

* * *

Десятилетие спустя я оказался по другую сторону Атлантики, и обнаружив, что та проблематика не остыла, решил переписку подготовить для публикации. Подходящим журналом мне показался двуязычный «Гнозис», издаваемый супружеской парой моих земляков – Аркадием Ровнером, прозаиком, и поэтессой Викторией Андреевой. Кроме своих сочинений, они печатали материалы духовного характера с уклоном в «таинственное». Ровнер держался со мной прохладно и рассеянно, Андреева – настороженно и иронично, но переписку они взяли. Взяли, да и начали мурыжить. Прошло ещё десятилетие. За это время журнал то переезжал, то совсем закрывался, то выходил вновь, в общем – дышал на ладан. Мне кажется, что где-то мелькнуло сообщение о смерти Виктории, и я с сожалением распрощался с образом миловидной и по-своему умной женщины, оставшимся в моей памяти. Но публикация всё же состоялась – правда, по частям. Первая половина была объявлена в 10-м номере, вышедшем в Нью-Йорке в 1991 году, а вторую – в следующем, после пятилетнего перерыва напечатали уже в Москве. Ни одного экземпляра я так и не получил. Я заказал обе части по межбиблиотечному каталогу, но раньше 10-й номер пришёл из Лондона, от друга Славинского, который не пожалел прислать свой собственный с автографом издателя. Оттуда я и привожу нашу переписку со Станиславом Красовицким, относящуюся к 1970 – 1971 годам, с моим более поздним вступлением.

НЕСКОЛЬКО ПОЯСНЕНИЙ

Стихи москвича Красовицкого, появившиеся в списках в конце пятидесятых, ошеломили меня и моих сверстников-стихотворцев из близких кругов и компаний. Все повторяли «Астры», «Белоснежный сад», «Шведский тупик». Я и сейчас нахожу в них блеск ранней гениальности. Я пишу «ранней», потому что время, отдавшееся, как водится, «временщикам», не посчиталось с Красовицким. Полтора, от силы два десятка очарованных им читателей самиздата не в счёт. А ведь он мог оказаться для нашего поколения новым Аполлинером, обновил бы эстетику, воздействовал на живопись, стал бы жупелом или знаменем...

Стоит здесь показать хотя бы, как головокружителен ракурс его зрения в таком вот автопортрете:

Отражаясь в собственном ботинке,
Я стою на грани тротуара.
Дождь.
Моя нога в суглинке,
Как царица чёрная Тамара.

_____
Но как странно —
Там, где я всё меньше,
Где тускнеет чёрная слюда,
Видеть самого себя умершим
В собственном ботинке иногда.

Когда он приехал в Ленинград в 1959-м, одним из его почитателей был задан ужин – почёт и роскошь по нашим возможностям колоссальные! Тогда я и увидел впервые Красовицкого. Невысокий, изящный, с небольшими пшеничного цвета усами, с бархатным ошейником вместо галстука, он сидел в кресле, на коленях – девица, держался с достоинством.

Говорил мало. Стоит также заметить, что его польское имя и польская внешность добавляли ему значимости – Польша по тем временам слыла, да и была для нас чем-то вроде «окна в Европу».

Несколько последующих лет я мало что слышал о Красовицком. Изредка, впрочем, доходили его стихи – новые, либо неизвестные, из сочинённых ранее. Потом стали говорить: «Стась больше не пишет стихов», «Стась отобрал свой архив у Минны», «Он сжёг свои стихи» и т. д.

Наконец узнал я вполне достоверно о глубокой перемене в жизни этого человека. Он действительно отрёкся от своих стихов, забрал архив у близкой знакомой и ещё у одного лица и, возможно, пробовал сжечь его, но, по счастью, стихи не так просто поддаются уничтожению. Далее я узнал, что он принял православную веру, женился, живёт теперь под Москвой, растит четверых детей. Всё это вновь сильно впечатлило меня. Я уже давно искал мудреца, который сказал бы мне «всю правду» о жизни и поэзии. Авторитет первого поэта моей юности и авторитет христианского вероучения неожиданно объединились в одном лице, и я почувствовал, что мне необходимо увидеться с Красовицким.

* * *

Весной 1970 года я оказался в Москве. Было решено с двумя друзьями Красовицкого тогда же поехать к нему. Оказалось, что он с семьёй занимает половину дома в дачном посёлке. Был праздник Пасхи, воскресенье, все уселись за стол. Красовицкий теперь выглядел иначе: он оброс светлой курчавой бородой, лицо его похудело. Мы выяснили, что работает он переводчиком технических текстов, но ездит на работу не каждый день. Из детей один ребёнок хворал, двое как-то мирно играли в комнате, четвёртого, грудного, держали на руках то он, то его жена.

Трудно было вот так, с ходу, разговориться. Но я рассказал о моём отношении к нему – примерно то, что я изложил здесь. Воспринял он это как-то отчуждённо: молчал или напевал что-то в бороду – может быть, укачивая ребёнка. Меня интересовало, главным образом, как он выскажется на такие темы: «Поэзия и христианство», «Поэзия и молчание», «Слово и словесность». Я уточнил, что имею в виду не темы вообще, а то, как эти понятия соглашаются или отрицают друг друга и какая новизна и, может быть, правда, выходит из таких сопоставлений.

Сговорились мы на том, что объяснимся подробнее в письмах. Для меня это было самое лучшее. Прощаясь, я оставил ему подборку своих стихов, чтобы он ясней представлял себе адресата. Эта подборка и была моим первым, из рук в руки, письмом к нему. Так завязалась наша переписка.

Но я хотел бы сказать несколько слов о почерке моего корреспондента. Такие летящие перекладины и закрученные окончания букв я встречал в автографах Пастернака. Подобный почерк, возможно, восходит к веку гусиных перьев, но тогда он меня поразил. И всё же он удивительно подходит к содержанию

писем. Где мог, я приложил свои короткие письма с репликами и новыми вопросами, восстановив их по черновикам, но дело не в них. Дело в ответах Красовицкого.

Красовицкий – Бобышеву
21 мая 1970 г.
Дорогой Дима!

Как и всякое земное проявление, искусство нельзя рассматривать как нечто самостоятельное, но как выражающее то, что за ним стоит. Если искусство истинно, то оно выражает истину. Истина в данном случае заключается в том, что человек не есть существо самостоятельное, но сам есть создание, а, следовательно, есть существо, руководимое согласно определённым законам. Если, поэтому, в так называемом произведении искусства человек стремится к самовыражению, то это уже не отражает истину (так как человек – существо не самостоятельное), а, следовательно, не является истинным искусством. Если художник стремится сам к нахождению «объективной» гармонии, подавляет в себе самовыражающуюся субъективность, то это свидетельствует о наличии истинного художественного чутья, но также о том, что художник делает роковую ошибку (Хлебников), так как стремится к этому сам, своими силами, то есть проявляет высшее самовыражение. Никакой художник не может сам не стремиться либо к самовыражению, либо к объективной гармонии, если только сознательно не решил действовать в согласии, а не в противоборстве законам, его создавшим. Такое мы и назовём истинным искусством в широком смысле. Как достигнуть, однако, этой решимости, исключающей самостное проявление? Ведь оно не должно быть результатом проявления своей воли, так как это уже самость. Оно, поэтому, должно достигаться через веру во Христа распятого и воскресшего. Эта вера должна сводиться просто к вере, что так оно и есть без каких-либо добавочных рассуждений, а, наоборот, при подавлении всяких стремлений к таким рассуждениям, чтобы не заглушить истинную веру воображением. (Не совсем ясная фраза, но так в оригинале. – Д. Б.)

Сила Креста при такой вере, раскрывающаяся в человеке постепенно, даёт возможность самоотвержения, а, следовательно, и действия согласно не своей воле, но

согласно воле руководящей, т. е. не самому искать гармонии, но самому стать элементом гармонии.

Итак, если назовём такое действие человека искусством в истинном смысле слова, то оно, следовательно, заключается не обязательно в творчестве художественном (а только если на это есть Воля Божия), а вообще в узнавании (путём совершенствования души) и выполнения того, что есть Воля Божия.

Таким образом, истинное искусство возможно при непривязанности собственно к искусству. Душевные силы человека (или таланты) действуют в данном случае аналогично, независимо от того, занимается ли человек художественным творчеством или по-иному проявляет себя в жизни христианской. Я во всяком случае на опыте не обнаружил никаких различий.

Вот вкратце то, что я думаю об искусстве на основе своего опыта. Прочее можно выяснить при наличии вопросов с твоей стороны. Что касается твоих стихов, то они, как мне кажется, не лучше моих, которые ты знаешь, а следовательно, как и в моём случае, предполагают не столько совершенствование в данном плане, сколько изменения взглядов на жизнь, согласно описанному выше, а именно: непривязанность к искусству, то есть отсутствие желания действовать именно в сфере искусства, но желание вести христианскую жизнь, частью которой и будет (а возможно, не будет) занятие искусством – что от нашей воли не должно зависеть.

Посылаю тебе также небольшую заметку касательно мыслей Жуковского о поэзии (имеющих отношение к нашему вопросу). Остальное обещанное вышлю впоследствии.

С приветом. Стась

КОММЕНТАРИЙ К ЖУКОВСКОМУ

«В поэтической жизни, сколь бы она ни имела блестящего, именно поэтому много лжи (которая всё ложь, хотя по большей части непроизвольная), и эта ложь теряет весь свой мишурный блеск, когда поднесёшь к ней (рано или поздно) лампаду христианства». (Из письма Плетнёву от 6 марта 1850 г.)

«Моя жизнь пролетела на крыльях лёгкой беззаботности, рука об руку с призраком поэзии, которая нас часто гибельным образом обманывает насчёт нас самих, и часто мы её светлую радугу, привидение ничтожное и быстро исчезающее, принимаем за твёрдый мост, ведущий с земли на небо...» (Из письма А. О. Смирновой от 23 февраля 1847 г.)

Жуковский пишет, что искусство обманывает нас насчёт нас самих, то есть обманывает насчёт того, какие мы есть и какими должны быть.

Далее он пишет: «гибельно обманывает», то есть этот обман имеет гибельные последствия для души. А следовательно, это ложь.

Истинное искусство – это не обманываться насчёт того, какими мы должны быть, то есть прожить жизнь по-христиански.

(И это воистину искусство.)

Иногда это прожитие жизни по-христиански может частично выливаться в то, что мы называем искусством, но опять же христианское (то есть принадлежащее христианам). Не христианское же искусство есть ложное искусство, иллюзия, табачный дым.

Некоторые могут подумать, что у них отнимают искусство.

Нет, мы защищаем истинное искусство.

И те, кто в искусстве стремились к истине, но по ошибке искали её в «искусстве», – все пришли к христианству.

Гоголь тоже защищал истинное искусство, когда сжигал «Мёртвые души».

(Что такое искусство, если уничтожение его более его самого).

Тот же, кто думает, что у него «отнимают» искусство, вообще не знает истинного искусства.

«...что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя» (Иуд. 1:10).

Бобышев – Красовицкому
Дорогой Стась!
Когда несколько лет тому назад до меня дошли

слухи, что ты отрёкся от своих стихов и что будто бы ты замолчал, я пришёл в ужас. Это было в пору (которая, впрочем, не кончилась и теперь), когда стихи эти были частью моего существования. Впоследствии, однако, я понял, что такое молчание живое, а что – молчание мёртвое. Понял я также и разницу между тем, как молчит, скажем, орган и как – предположим – молчит какая-нибудь свистулька. Но и не пренебрегая, конечно, никакою свистулькою, ибо «всякое дыхание...», – могу теперь сказать, что молчание, как и звучание, становится грандиозным, когда оно направлено к адресату бесконечному. То есть писать или, опять же, молчать надо не «для себя» и не «для людей», а для, по крайней мере, Феба сребролукого. Так я решаю для себя то, что называешь ты непривязанностью к гармонии субъективной, но утверждаю зато привязанность к гармонии объективной. Что это – привидение, радуга или твёрдый мост? Знаю лишь твёрдо, что «В начале было Слово...» и что единый смысл его рассеян теперь по языкам. Верю также, что словоговорение, а равно – молчание тех же слов, направленные вертикально, дают этому смыслу дыхание и жизнь. Жизнь – жизнь нам дающему, вечно живому, но не бессмертному. А ложь (конечно, я имею в виду лишь непреднамеренную) – это неизбежное искажение замысла при воплощении. Поэтому непроизнесённое верней. Произношу же только от несовершенства замысла. В произнесении он совершенствуется. Но совершенство – это молчание. Вот – вкратце.

Д. Б.

* * *

Красовицкий – Бобышеву

13 июня 1970 г.

Дорогой Дима!

Разница между философией и христианством в том, что философия предполагает возможность человека своею силою искать правду и, следовательно, составлять себе верные понятия о чём-то. А в христианстве необходимо не примешивать ни к чему своих представлений (а, наоборот, их подавлять – собственно, в этом и заключается борьба, которую ведёт

Христианство), а только веровать во Христа, и тогда истина сама будет в человеке раскрываться.

Так были выведены понятия, которыми пользуется Христианство, и восхождение к ним возможно этим же путём. В противном случае мы будем иметь ряд подобий, составленных сообразно нашим представлениям, а не объективную истину.

Именно такими подобиями оперирует всякая философия. Твои рассуждения также строятся по этому же принципу. Это относится к твоим рассуждениям вообще и, в частности, к использованию мест из Евангелия. Посылаю тебе обещанные стихи. Они, вероятно, не сильны, но я рассуждаю несколько иначе, чем ты, и считаю, что если допустимы вообще, то уже хороши, а недопустимы – то плохи, какими бы сильными на вид не были. Ясно, что понятия «сильны» и «слабы» здесь несколько иные, чем общепринято.

Передай привет всем знакомым. Тебе привет от Нины.

Пиши.

Стась

* * *

Бобышев – Красовицкому

Здравствуй, дорогой Стась!

Прости за промедление с ответом, но, признаться, трудно мне было сразу одолеть некоторое разочарование, связанное с нашей перепиской. Разочарования, оговариваюсь сразу же, вызвано отнюдь не твоей позицией, твоими высказываниями или стихами, к которым отношусь с заведомым уважением, а именно моей позицией, – точнее, невозможностью близко сопоставить наши взгляды и мнения... Я думал, что мои соображения, основанные как на опыте личных размышлений, так и на общекультурных выводах, окажутся гораздо ближе к канонической системе взглядов, то есть – к тебе. Но – нет.

В самом нашем возрасте, срединном возрасте, заключена жажда прильнуть к некоей общности, почувствовать себя частью целого, напитаться какими-то силами извне, так как сила природного роста естественно иссякает. В эту пору идут: кто – в партию,

кто – в религию, кто – в шовинизм. С этими общностями совпадают и частные представления об истине – гражданской, национальной, общечеловеческой...

Мне важно было сопоставить свой опыт именно с твоим (воспользуюсь самодельными терминами) опытом «словоговорения» и «молчания тех же слов». Сопоставления не выходит: ты предлагаешь не опыт, а выводы, и эта позиция выявляет ясность, кристальность, каноничность, неподвижность. Из выводов этих исключено понятие природы, и, вероятно, оттого они столь ясны. Так; существует ли природа?

Д. Б.

* * *

Красовицкий – Бобышеву
19 августа 1970 г.
Дорогой Дима!

Посылаю тебе тетрадь, которую писал давно – лет семь назад. В ней то, что касается природы. Так как у меня не было времени переписывать, то прошу тебя по прочтении отправить тем же способом назад.

С приветом. Стась

* * *

На этом публикация в 10-м номере «Гнозиса» заканчивается с редакционным уведомлением: «Письмо к естествоиспытателю» и продолжение переписки в следующем номере». Но следующий и, кажется, окончательный номер вышел не в Нью-Йорке, а в Москве, и к тому же пять лет спустя. Межбиблиотечная служба его пока не разыскала. Придётся прибегнуть к такому не всегда надёжному инструменту, как память. Например, я надеюсь, что трактат о природе напечатан там с моего списка, а оригинал я вернул автору. Но так ли это – я не помню. Переписку, не надеясь на «Гнозис», я передал в ещё одно печатное издание, возникшее в начале 90-х в Питере. Оно оказалось настолько эфемерным, что не имело даже собственного названия, обозначая себя «Новым журналом», на манер нью-йоркского. Материал я сдал Елене Колояровой, сделавшей для меня немало хорошего, номер с ним вышел, но я его так и не увидел. Журнал закрылся, Колоярова тяжело заболела и, увы, ушла из жизни. Вспоминая о ней с

грустью, я перебираю в памяти и то, что вошло в мою незадавшуюся публикацию.

Помню фразу из «Письма к естествоиспытателю», пробравшую меня прямо-таки по-толстовски: «Одно дело, когда мы говорим о смерти, и совсем другое, когда она приходит». Но всё-таки после столь радикального отрицания искусства (и отрицания этого отрицания), трактат мне показался предсказуемым и статичным, я же был увлечён динамическими идеями, то есть тем кругом представлений, который связан с именами Лосского, Булгакова, Бердяева, Франка, Шестова… Об этом я и написал Стасю (черновика у меня не сохранилось) и получил в ответ его последнее письмо.

> Красовицкий – Бобышеву
> 11 марта 1971 г.
> Дорогой Дима!
> Лосский, Бердяев, Франк, Соловьёв и некоторые другие – это обожествление материалистической идеи (как ты и сам можешь видеть даже из приведённых тобою цитат). Ты прав, говоря, что здесь нет благодати, так как не

может быть благодати в материалистической идее. Ты также прав, говоря, что «в них есть сильное движение и в глубь, и ввысь». Материалистическая идея – бескрыла и мало привлекательна даже для её приверженцев. Будучи обожествлённой – она обретает крылья.

> В недалёком будущем останется лишь несколько чудаков, верующих в наивный материализм. Мир же будет разделён на две категории: масса, исповедующая обожествлённую материалистическую идею, и небольшая группа, живущих по-Божьи. Именно тогда, а не сейчас, начнутся настоящие гонения на христиан со стороны материалистов, укреплённых в своём материализме идолом, которого они поставят.
> Привет всем знакомым. Нина тебе кланяется.
> Стась

* * *

И всё-таки я написал ему ещё одно письмо, в котором задал, быть может, самый главный вопрос, вызванный у меня не любопытством, но насущной потребностью узнать: как

сообразуется у него отказ от искусства с евангельской притчей о зарытом в землю таланте? Наша переписка вскоре прекратилась, вопрос остался без прямого ответа.

Но вот мои догадки: наверное, сама художественная натура Красовицкого восставала против насилия над ней (яведь недаром задавал ему вопрос о природе). И в то же время именно в ней, в её особенностях обозначился и созрел острый психологический конфликт, жизненный кризис. Да, у него была восхитительная элегантность художественного почерка и свобода, позволяющая соединять в едином образе головокружительно разные понятия. Эта свобода подталкивала его исследовать свои границы, то и дело зависая над провалами в недозволенное… Недозволенное – кем? Им же самим, человеческим естеством. Эротика, да ещё с иронией, – это даже забавно, его «Любовница палача» или «Педро-развратник» воспринимались как экстравагантность, а вот и ещё пикантней – стихи с элементами педофилии. И этого мало? Получайте каннибализм!

Но настойчивее всего повторялась с нарастанием разрушительная тема – самоубийство. Он, любуясь, расцвечивал её образы: в них распускался то «чёрный цветок пистолета», то «замечательный красный шиповник», приколотый себе на висок. Картинность не покидала его и при описании убийственного акта:

Хорошо, пистолет имея,
отведя локтевой костыль,
застрелиться в пустой аллее,
потому что всё это – пыль.

Наверное, ангел Божий схватил его за руку с этим воображаемым или реальным пистолетом. Исчез Стась, которым мы восхищались, появился православный священник отец Стефан. Но и Стефану Красовицкому по плечу резкие метаморфозы: он отходит от юрисдикции Московской патриархии, эмигрирует в Америку. Там его вновь рукополагают в священники Русской православной зарубежной церкви. Он служит во Франции, в Англии. Возвращается в Россию, где парадоксальным образом тоже имеется Зарубежная церковь, и руководит её миссией. Оказывается в центре её раскола. Из Подмосковья уезжает служить в Карелию, где окормляет скаутскую дружину имени святого мученика короля Олафа Норвежского!

И при этом вновь пишет стихи, уже продиктованные ему христианской верой. Но мне больше по душе другие, из более ранних, хотя и тоже духовного содержания:

Калитку тяжестью откроют облака,
и Бог войдёт с болтушкой молока.
Ты не потянешься, но ляжешь наповал,
убитый тем, в чью душу наплевал.

О ком, о чём это тёмное пророчество? Оно и не должно иметь разгадку.

ВТОРАЯ КУЛЬТУРА

Не знаю, откуда вошло в обиход это выражение – скорее всего, из принудительных марксистских штудий, где рассматривалось различие между «буржуазной» и «пролетарской» культурами. Но я впервые услышал его от поэта Кривулина, и он вкладывал в него иное содержание: «катакомбная» или «андеграундная» культура в противовес официальной. Чтобы обсудить это, Виктор даже удостоил меня посещением, а для него каждый выезд был довольно громоздким предприятием.

Жильцы коммуналки, как раз оказавшиеся вне своих нор, глядели с почтительным изумлением на кудлатую голову поэта, закидывавшего при ходьбе пышную бороду кверху, на то, как он по частям перемещает своё тело, опираясь на полукостыль и палку, и, переваливаясь и подволакивая ногу в ортопедическом ботинке, эдаким китоврасом пересекает прихожую и движется в сторону моей двери.

Мы были уже знакомы, я ранее читал его тексты, которые весьма полюбил, хотя и не без критического прищура. Мне казалось, что мысль в них извивается, как виноградная лоза, от одной метафорической грозди к другой и, не доверяя шатким вертикалям духовности, опирается лишь на горизонтали культурных соответствий. Ну и что ж тут плохого? В сущности, его стихи были автопортретом и повторяли не только его зримый образ, но и сливались со звучанием поэтического имени – Виктор Кривулин.

Сейчас он читал, задумчиво распевая, да изредка кидая на единственного слушателя карий, чуть расфокусированный взгляд, стихотворение «Пью вино архаизмов».

– Поздравляю, Виктор! Под этими стихами не только я подписался бы с радостью, но наверняка и ваши сверстники: Охапкин, Стратановский, Шварц.

– Спасибо. И хорошо бы нам объединиться под каким-нибудь ключевым словом. «Неохристиане», например?

– К чему же эта приставка «нео»? Ведь христианство вечно, и оно должно объединять само по себе.

– Должно, но не всегда объединяет. Вот у нас в Псково-Печерском монастыре...

– Как? Вы разве монах?

– Я был там одно время послушником.

– Я слыхал, что в монастырях произносят «послушник», а не «послушник». От слова «послух», от послушания, подчинения старшему.

– Нет, у нас так говорили, – ответил он неуверенно.

Виктор был фантазёр, и я делал на это поправку. Но и – рисковый организатор, побуждающий других к смелому поведению. Устроил у себя дома религиозно-философский семинар, женившись на философине-совушке Татьяне Горичевой. Я побывал тогда в их просторной комнате с окнами на Большой проспект Петроградской стороны. Сам номер квартиры 37 заставлял вспомнить о сталинских репрессиях, и Виктор сделал его названием самиздатовского журнала.

– Ничего, пусть гэбуха трепещет, – сказал он по поводу этой аналогии.

Действительно, журнал «37» удавалось ему выпускать годами, несмотря на угрозы ГБ. Я думал, статус инвалида защищал его, но оказалось, что лишь до известной степени. Виктор сказал, что ему не раз угрожали физической расправой. Однако речь теперь пошла о «второй культуре» как о литературном движении. Кривулин предполагал собрать как можно больше неофициалов и потребовать у Союза писателей признания.

– Неужели вы думаете, что эти чиновники вдруг нас признают? Кроме того, почему «вторая»? Я не считаю их «первыми».

– Ну, это всего лишь термин. А не признают, мы будем писать открытые письма, обращения. Вот, например, художники: сначала их разогнали, а потом всё-таки разрешили.

Тут он был прав. Художников прорвало, и несколько смельчаков в Москве устроили несанкционированную выставку где-то под открытым небом, на окраине. Власти двинули против них строительную технику. Среди немногих зрителей были иностранные корреспонденты, даже какой-то дипломат, и в результате скандал получился международный – «Бульдозерная выставка»! Властям пришлось пойти на попятный, и блага для художников получились немалые: им дали Манеж и разрешили профсоюз, тем самым легализовав бесправных «тунеядцев». Из них выдвинулись имена и пошла коммерция. Отозвалось даже в Питере.

Странно, что о событии я узнал от раскрасавицы, героини моего романа, а не она от меня:

– В «Газа» выставка неофициалов. Пойдём?

Это был Дом культуры в рабочем районе, вдали от центра. Он назывался так в честь полусвятого доктора и гуманиста Гаазе, но не исключено, что имелся в виду его однофамилец и, наоборот, социал-демократ. Как бы то ни было, нам пришлось выйти на станции метро «Кировский завод» и встать в конец длиннейшей

очереди, пересекающей по диагонали немалый заснеженный сквер перед фасадом. Там, у входа, маячили милицейские ушанки с кокардами.

– До закрытия вряд ли успеем. Но – вдруг? – сказал я разрумянившейся от морозца подруге.

Вдоль очереди прошёлся какой-то милицейский наблюдательный чин. Серьёзное дело! Затем стал обходить некто в дублёнке и с микрофоном. Зеленовато-холодные чуть навыкате глаза, нос – как на политических рисунках Сойфертиса или Бродаты. Би-би-си?

– Скажите, что вы ожидаете увидеть на этой выставке?

– Ну, что-то новое, талантливое…

– Иное, чем насаждаемый соцреализм? – подсказывал «корреспондент».

Люди жались, мялись, на прямые высказывания не шли. Да и не корреспондент это был, и не художник тоже, но активист Александр Глезер, антрепренёр московских протестов. Однако сколько можно ждать на морозе?

– Дима, что ты здесь стоишь? – вдруг раздался спасительный голос. – На тебя же там выписаны билеты!

То был Яков Виньковецкий – вообще-то геолог, но и художник, и даже участник выставки. С этого момента наше знакомство с ним стремительно переросло в крепкую многолетнюю дружбу. Всё здание было заполнено возбуждённо толпящимися зрителями, которых оттесняли к выходу новые порции входящих. На стенах кричаще пестрели холсты с работами непривычно разнообразных манер и умений: от незатейливых «мыслей в красках» до хитроумнейше выстроенных комбинаций фигур, линий и колорита.

У входа был поставлен мольберт с белым картоном. Рядом стоял длинноволосый славянин иконописного вида с ремешком мастерового на лбу и предлагал входящим оставить подпись.

– Что это? Учёт посетителей?

– Нет, это моя следующая работа в соавторстве с вами, которую я завтра здесь вывешу!

– А вы сами-то кто?

– Игорь Синявин. Вот мои работы, в следующем зале.

Там как раз и висели его «Мысли в красках». И не возразишь: ведь могут же быть у человека такие мысли! С Синявиным, так же, как не раз с Глезером, да и многократно с Виньковецким, я ещё увижусь, но уже в мирах отдалённых…

Вот и Яшины акрилики, совершенно в манере Джексона Поллока. Абстрактный экспрессионизм! А вот и он сам.

– Яша, я слышал, что у тебя появились новые, фигуративные

работы. Где же они?

– Ты понимаешь, все они – религиозного плана.

– Ну и что – выставка-то свободная?

– Так-то оно так, но по договорённости с властями, а именно – со здешним райкомом, мы исключили три темы: религию, политику и эротику.

* * *

То же самое и в литературе. Уже описанный разговор с Кривулиным завершился его приглашением «внести лепту». Это означало моё участие в альманахе «Лепта», долженствующим, словно кузминская «Форель», разбить лёд непризнания и дать дорогу в жизнь многим неофициалам. Для того собирались у Юлии Вознесенской в мрачной, но довольно вместительной комнате. У одной из стен с оббитой до кирпичей штукатуркой часть кладки была вынута, образуя нишу, куда вставили большой, точно по её контуру, осколок зеркала. Это создавало пронзительную до фальши атмосферу мистики, присутствия «потустороннего».

– Как вы сумели устроить такое, да ещё в коммуналке? А соседи? А жилконтора?

Подвижная и худощавая Юлия с вытянутым и таким питерским, даже ингерманландским, зеленовато-бледным, лицом уверяла:

– С соседями – идеальные отношения. А вот с жилконторой мы судимся.

– Менты, конечно, вязались... – добавил её муж Окулов, высокий красивый парень с добродушной улыбкой, но, увы, без передних зубов. Быть может, последствия их конфликта с властями?

Но в случае с «Лептой» Юлия шла на заведомый компромис: никакой политики и никакой религиозной тематики, пожалуйста. А у меня к тому времени другой тематики и не было. Считалось, что она поэтесса, но её стихов я не помню, – возможно, весь артистизм уходил на эту вот деятельность: с другими лидерами – в кавычках или без – отбирать какие-то тексты (а среди них было немало талантливых), составлять из них «Лепту», сдавать её на отзывы, получать отказы, писать петиции и требования, то есть осуществлять ту самую «вторую культуру», делать её реальной. Но беда была в том, что для всего этого явления не оказывалось иного места, кроме как в подполье, подвале и подземелье, которые для звучности стали именовать «Андеграунд». Именно

там, в социальном низу и находились разные прикрытия для нашей, не охваченной профсоюзом литбратии: кочегарки, сторожки, пусконаладочные конторы, даже дворницкие и прочие лавочки типа «Не-бей-лежачего», где за минимальную плату, конечно, можно было иметь максимум свободного времени для писания тех же текстов.

КОТЕЛЬНЫ ЮНОШИ

И девы тоже. А на самом деле – они были уже давно не молодёжь, но дальше передней их в писательство не пускали. Поэты, прозаики в расцвете творческого «акме», делавшие исподволь литературную действительность застойных 70-х годов, то есть те, кто в последующие десятилетия должны были получить полную меру успеха и приязни, и, увы, получившие её так мало. Вот потому так напрашивается параллель с известным пушкинским выражением:

Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят...

Сорвавшись с лёгкого пера, эта необидная кличка стала обозначать группу московской интеллектуальной молодёжи тридцатых годов позапрошлого века, впоследствии образовавшую кружок «любомудров». Туда входили истинно талантливые люди: Веневитинов, Шевырёв и Одоевский, позднее – Киреевский, а пушкинский приятель Сергей Соболевский был всеобъединяющим знакомцем. И конечно, единило то, что все более или менее условно состояли при Московском архиве коллегии иностранных дел.

Это обстоятельство и явилось солью пушкинской шутки, а если в ней и была капля иронии, то наверняка самого добродушного свойства. Кто их действительно терпеть не мог – это Фаддей Булгарин. Вот что он писал: «Чиновники, неслужащие в службе, или матушкины сынки, то есть задняя шеренга фаланги... Их называют архивным юношеством».

Почему же, в самом деле, цветущие, одарённые молодые люди, вместо того чтобы блистать на балах эполетами или строить головокружительные карьеры, занялись таким непритязательным и непрестижным делом, которое в первую очередь ассоциировалось с бумажной пылью и согбенными спинами? Пожалуй, лучше всего эти мотивы выразил близкий им по духу современник Владимир Печерин, которого можно было назвать петербургским «архивным юношей» и который впоследствии сделался загадочным «невозвращенцем», странствующим по свету рыцарем-интеллектуалом. В книге «Оправдание моей жизни» он пишет о собственных нравственных метаниях той поры. Выбрав своей духовной поддержкой стоицизм, он говорит, что «это единственная философская

система, возможная в деспотической стране». И далее Печерин делает вывод: «Вот, – думал я, – вот единственное убежище от деспотизма! Запереться в какой-нибудь келье, да и разбирать старые рукописи».

Становится несомненным, что этот уход честного юношества искать себе поприще в «задней шеренге» был их ответом на николаевский режим, начавшийся с удавления пяти политических противников и массовых ссылок оппозиции. Конечно, такой ответ был понят как пассивный протест, это обсуждалось в обществе и вызвало раздражённый пассаж Булгарина.

В удивительно схожих чертах подобное явления стало происходить полтора века спустя, в глухие десятилетия брежневского правления. С одним различием – архивы, наоборот, стали тогда охраняться, как Кащеева смерть. И честное интеллектуальное юношество, да и литераторы постарше, пошли в кочегары, ночные сторожа, наладчики очистных сооружений. В порядке самоиронии они, вероятно, и выдумали названье для всего этого слоя, довольно многочисленного: люмпен-интеллигенция. Конечно, в эту категорию входили и неудачники, и графоманы, но много было и недюжинных талантов, личностей с сильными принципами и потенциалами, и таков стал их жизненный выбор. Существуя на мизерную зарплату или на инвалидную пенсию, эти люди, действительно, проявляли стоицизм, уже не только философский, а и практический.

Любопытно, что в предыдущую, хрущёвскую эпоху у Пастернака было опубликовано волшебное стихотворение «Ночь» с такой строфой:

В пространствах беспредельных
Горят материки,
В подвалах и котельных
Не спят истопники.

Скорее всего, Борис Леонидович имел в виду настоящих истопников, то есть простой рабочий люд, который не спит, чтобы давать другим тепло. Но уже в последующую эпоху этими истопниками становились поэты. Это они сидели по ночам в подвалах и котельных и что-то писали в рабочих тетрадях, заполняя их не графиком дежурств, а какими-то своими, выхваченными из сердца, строками.

* * *

В Москве целая группа полуподпольных литераторов прославилась на весь мир скандальным альманахом «Метрополь». Правда, с ними смешались, дав альманаху свои имена, ряд знаменитостей, официально признанных, но с двусмысленной славой. Обе эти группы – полуподвал и полуистеблишмент – конечно, нуждались друг в друге. Первым были нужны вторые для придания громкости скандалу, и они этого добились, получив известность за рубежом и чувствительные неприятности дома. Но зачем этот союз нужен был знаменитостям, литературным баловням, которым и так разрешалось многое, запрещённое для других: от острых тем до формальных экспериментов? В сущности, они представляли собой разрешённый неофициоз, иногда дерзили в печати или на сцене, пользовались всеми благами своего положения и чувствовали себя, да и были гораздо свободнее, чем обитатели «подвалов и котелен», отсутствие которых в культурной жизни страны они восполняли своим присутствием. Дело не в благах – их-то они заслужили, – дело в том ореоле гонимости, который они присвоили незаслуженно.

В отличие от москвичей, у ленинградцев не было влиятельных союзников из либерального истеблишмента – такая категория там вообще отсутствовала. Приходилось рассчитывать на себя. Неудача с «Лептой», конечно, обескуражила, но ненадолго: Кривулин придумал ещё один способ подразнить быка. Он объявил знакомым по телефону о демонстрации протеста – не когда-либо, а именно 14 декабря, и не где-либо, а на Сенатской площади! Всех немногочисленных «декабристов» по одному задержали на подходах к Медному всаднику, но вскоре отпустили. Юлия Вознесенская тоже ударилась в политику (и пребольно), была арестована, выпущена, арестована вновь, отправлена в ссылку, сбежала оттуда, была сдана обратно коллегой-поэтом и наконец водворена в ГУЛАГ. Это уже – целый эпос! Там началось новое писательство – её «Женский Декамерон» и «Звезда Чернобыль»

были у многих на слуху благодаря несмолкаемому радиоэфиру. А жизненный эпос имел продолжение в эмигрантских и религиозных скитаниях. Наконец осела она где-то на севере Франции, но всё-таки в русском монастыре, и как писательница нашла себя в христианских назидательных фэнтэзи.

БЕЛЫЕ РЫЦАРИ

Возможна ли истинная дружба между поэтами? Да и вообще – возможна ли она? Ведь рано или поздно дунет на них какое-нибудь ревнивое веяние, и всему конец. А что сказать насчёт разнополых дружб? Тут уже не паршивый перепончатый бесёнок поджидает за каждым углом, а симпатичный пернатый пупс, который норовит тебе сделать бо-бо: ах, и в койку! Постельный режим, amoris fatalis. Правда я долго, слишком долго гордился нашей платонической дружбой с Галей Руби, видя в этом блестящее опровержение всяких цинических прогнозов, но чем (к счастию) всё это кончилось? Читатель ещё узнает.

А в описываемую пору возникло у меня нежное и нервное приятельство с таинственным выползком андеграунда, его сокровенной красой Василисой Вайсс, а попросту Васькой Прекрасной или, как называли её в близком окружении, Бякой. Да какое там окружение? Скорей прикрытие от «свинцовых мерзостей жизни» – мать, пропадавшая на таинственной службе, да её тётка, да некий опочивший кот, опекавший Василису с небес, куда переселилась его мерцающая душа. Да чёрный пуделёк Яша, занявший впоследствии его место в хозяйкином сердце. Ну и, конечно, её доверенные ночные посетители, ибо существовала она, словно вампир или летучая мышь, от сумерек до сумерек. В число этих приближённых на некоторое время попал и я.

Как многим подлинным поэтам (хотя и не всем), легенда предшествовала Василисе Вайсс: вундеркинд, гений, дикарка, маленькое ночное чудовище и так далее... Для поддержания образа Бяка изредка выезжала «в свет», то есть появлялась с причудливой свитой к концу какой-нибудь вечеринки и учиняла скандал.

Однажды я по-приятельски зашёл к прозаику Фёдору Чирскову и с удивлением обнаружил на его благородном лице здоровенный синяк под глазом.

– Что случилось, Федя? Поединок или уличное нападение?

– Просто синяк, и он скоро пройдёт. Меня больше беспокоит зуб, который и так сидел на штифте. Он теперь вывалился совсем. Опять придётся мне раскошелиться на дантиста.

– Как это всё произошло?

Выяснилось, что накануне он был на дне рождения у поэта Стратановского в профессорской квартире его отца: множество книг в шкафах, буфет с хрусталями, празднично накрытый стол. Приглашены поэты и филологи. Когда веселье достигло апогея,

явилась Василиса, которую сопровождал некий культурист-качок, гора мышц. Васька Прекрасная выпила рюмку, выпила две, да и уселась Фёдору на колени. Человек-гора взревновал! И в результате пострадали фамильный хрусталь и фаянс, часть мебели, туалеты гостей и физиономия моего приятеля.

Все эти россказни, вдобавок ко многим другим, только возбудили моё любопытство к её текстам, за которыми я не стал охотиться, а решил, что лучше услышать от неё самой. Для этого я воспользовался приездом Наймана и пригласил гостей на литературный вечер в его честь. Позвонил и Василисе Вайсс, с которой уже был шапочно знаком, и она согласилась принести свои стихи и почитать тоже.

Туалет на ней был – оторви и брось: какие-то декоративные тряпки. Но фигурка стройная, чёлка, овал лица – яичком, взгляд ускользающий, в колечке вытянутых губ – постоянно торчащая сигарета. Тут же начала сорить пеплом и спорить с Найманом, кому начинать. Ну, даме, конечно. Я как хозяин настаивал.

И вдруг Найман уступил, стал читать первым. Я любил его стихи, как не знаю что, – ну, как черкес любит свой кинжал: блеск, серебро с чернью! Ум, живость, краса, гордость, не чурающаяся то искренности, то иронии, – текст совершенно сливался с ним самим, а это ведь и есть признак подлинного поэта.

Но сам поэт нервничал, слегка замораживал себя в чтении, оттого и красоты его строк хрупко, хотя и сверкающе, леденели. Нет, для меня всё было чарующе, дивно. Но если кто-то сидел среди приглашённых с холодильным коробом предубеждений, тот с ним, нерастаявшим, и остался.

– Послушаем теперь нашу гостью.

Глухой и ломкий голос с пробормотом заговорил вдруг ритмически о потустороннем, но очень конкретно. Это был голос возлюбленной поэта Проперция, своенравной Цинтии, истинной римлянки! Сегодня она, несмотря на минувшие два тысячелетия, всё ещё дуется на своего приятеля:

Ливень льёт с утра —
ледяными хлыстами
Рим сечёт, как раба,
пойманного в воровстве.
Всё верещит попугай,
жалкого жалкий подарок.
Задуши его быстро, рабыня...

Не меланхолический Проперций ей ближе по темпераменту, а

желчный и взрывной Катулл, но у того уже есть его Лесбия. Да и не ужились бы они вдвоём, словно медведь и пантера. Даже отец, сунувшийся к ней с поучением, получает свирепый отпор:

Говорю я рабам – немедля
киньте дурака в бассейн...

И в следующей части нежнейшая и чувствительнейшая Цинтия бурно гневается на рабыню за то, что та

Наступила мне прямо на – тень —
на голову и после на предплечье.

И – вот уже она не римлянка, а Василиса, даже Васька, – бросила белёсый взгляд из-под тёмной чёлки, размусолила сигарету и, злясь, заедается, мелко ссорится с Найманом, хоть он и не Катулл, и не Проперций. Ну пусть хоть Тибулл.

Лёня Чертков разгорячённо шепчет мне:

– Он ей завидует. Он ей завидует.

Я говорю вслух:

– Зачем же ему завидовать? Разве он хочет быть ею? Найман и есть Найман.

Остаток вечера был уже безнадёжно испорчен – Василиса «украла» у Наймана шоу, как сказали бы мы все теперь. Да, водиться с ней было непросто, но интересно: что-то ещё она учудит? И я позвонил ей снова. Повод был неотразимый – в Музее истории города на Английской набережной объявили юбилей «Бродячей собаки», а ведь мы с ней могли смело считать себя правонаследниками былых завсегдатаев этого кабаре. Дело было зимой, и Василиса явилась в шинели, упреждая моду лет на двадцать, и в оленьей шапке с длиннющими ушами, какие носили девочки, наоборот, лет двадцать назад. Я немедленно сравнил её с Малой Медведицей, Ursa Minor. Она тут же надулась.

– Но это ж созвездие! – оправдывался я. – В конце концов, именно там находится Полярная звезда, вокруг которой всё крутится.

Самое интересное было представлено в фойе музея: афиши и пригласительные билеты из коллекции Михаила Лесмана. И имена на этих афишах «друзей и врагов, друзей и врагов» расцветали то дерзкими костюмами и декорациями, то сногсшибательной пантомимой, то эротическим фуэте (на зеркале!), то пряными романсами и текстами, текстами, текстами, которые складывались в великий человекотекст

Серебряного века.

Пародийным отражением былого показалось нам то, что происходило в зале. Списанные актрисули шамкали что-то о том, какие шикарные тряпки были на них надеты, когда к ним подходил познакомиться Блок. Никаких подробностей о Блоке при этом не сообщалось, и неудивительно: Блок, как известно, игнорировал «Собаку». Стало быть, старушки попросту врали.

Поэт Рюрик Ивнев, несомненно там бывавший, приехать на вечер не смог, но нашамкал в магнитофон несколько фраз вроде следующей: «Творческая интеллигенция десятых, одиннадцатых, двенадцатых и особенно тринадцатых годов любила собираться». Точка! Бяка прыскала в ладошку, я презрительно ухмылялся.

Апофеозом было выступление Романа Рубинштейна, чтеца-декламатора и мужа Ирины Пуниной, ахматовской падчерицы. Я видел его прежде, но мельком и как-то пантомимически, даже чуть комически, когда навещал Ахматову в её последней квартире на Петроградской. Сейчас Роман Альбертович вышел, чтобы показать себя профессионалом своего дела. Он начал читать Мандельштама:

Над желтизной правительственных зданий…

И вдруг бедняга забыл, как дальше. От ужаса и стыда за него все затаили дыхание. Кто-то скорый и сообразительный из зала тут же подсказал:

Кружилась долго мутная метель…

Чтец молчал. Тот же голос щадяще подкинул ему следующее слово: «и правовед»… Роман Альбертович очнулся:

И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.

Следующую строфу он прочёл без запинок, а потом опять сбился. Тут уже завыли мы с Василисой:

А над Невой посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!

Совместными усилиями кое-как закончили это великое стихотворение, а с ним и весь жалкий вечер. Но «Собака»

впоследствии ещё очнётся от летаргии и обретёт новую жизнь.

Я продолжал изредка встречаться с Вайсс, а новых россказней о её скандалах больше не слышал. Зато познакомился с другими её стихами и пришёл к убеждению, что это маленькое ночное чудовище – чуть не гений. Да гений и есть. Не в том смысле, что она – светоч всего человечества или солнце поэзии, как у нас привыкли награждать любимцев толпы, а в том, что её глубокий оригинальный талант зажигается порой божественным огнём. Но горела она (или её стихи) и тёмным огнём, совсем не божественным.

Вот, например, стихотворение «Соловей». Казалось бы, романтическая банальность. Она, кстати, с этого и начинает – мол, конечно, романтическая банальность. Но дальше её соловей начинает расклёвывать мир, ища в нём слабую или гулкую точку, и начинает бить её, буравить, рыть, тянуть из неё яд и, ожидая ответа с другой стороны, превращает землю в горошину, катающуюся в певчем горле. Прекрасно, не правда ли? Но этого ей мало. Она создаёт второго соловья, в отдельном стихотворении, переиначивая те же образы и воспроизводя бесконечность или, по крайней мере, длительность нашей ингерманландской белой ночи. В почти близнецовом образе этого соловья появляется большая кислота и жгучесть, и большая жажда нездешнего. Второй соловей выплёвывает горошину и падает без сил.

Вот где был воспроизведён «двух соловьёв поединок»! Но для меня был виден тут ещё и новаторский чертёж нашего могучего Тютчева, калька с его «Двух голосов», – то есть начало полифонии, твердыни, о которую бился я сам и с сестринским различием и такой же похожестью – она, эта Василиса.

Однажды она мне сказала:

– А я гениальнее вас.

Мне бы на том и согласиться – всё-таки неплохо быть гением, хотя бы и следующим после неё, но я поддразнил:

– Нет, я всё-таки гениальней.

– Нет я!

– Нет я!

Таким детским спором мы и закончили тогда наш «поединок».

Мы виделись с ней не особенно часто, но когда моё отсутствие затягивалось, у неё находился повод его прервать. Однажды Бяка пригласила меня к себе «на американку». Это была славистка Барбара Хелдт из Сиэтла. Сама она, впрочем, была из Канады, а её муж Джералд Смит, англичанин и тоже славист, преподавал в Оксфорде. Так что настоящим американцем

оказывался лишь их малолетний сын, которому очень нравились наши белые ночи из-за их фонетического сходства (только по-английски, конечно) с «белыми рыцарями».

Бяка её спросила опять же по-детски:

– А какая она, Америка?

Тут я вмешался:

– Прежде чем вы, Барбара, ответите, позвольте мне сказать в двух словах, как я себе представляю Америку, а вы рассудите, прав ли я? Я, конечно, там не бывал и вряд ли когда буду, но для меня Америка – это библиотека. Книги, книги... Так ведь?

– Да, можно сказать и так.

Барбаре «моя Америка» определённо понравилась. А я об этом разговоре забыл. Забыл и о Барбаре, и о белых ночах, и даже о чудовищно талантливой Бяке-ломаке, кривляке... Влюбился в другую, отбыл в мир иной, сам стал американским славистом. И вот, на одной из конференций подходит ко мне какая-то женщина – Барбара Хелдт!

– Дмитрий! Помните, как вы определили Америку? «Это – библиотека». А теперь что скажете?

– Теперь – это конференция, Барбара! А помните «белых рыцарей»?

– Конечно. А помните Василису?

А вот Василису-то я, действительно, позабыл. Зато помнил это вот стихотворение, ей посвящённое:

И ЗРЕНИЕ, И СЛУХ
Зеницу глаза абразив созвездий
у астронома острит и гранит,
и на сетчатке оседают вести.
И, оснащён глаголами планид,
своей полусестре-полуневесте
он посылает взгляд многоочит
и видит: белый камушек на месте
её сердечка в темноте стучит.
Когда окном небесного ночлега
мне голубая искрилась звезда,
я думал: Виноградинка и Нега
(так светоч называл я иногда)
мне посылает направленье бега.
За Лирой балансировал туда,
по этой струнке, голос мой, но Вега,
должно быть, отвернулась навсегда.
И новыми наплывами запела
в сверканье херувимских горл и крыл

благословенно-яркая Капелла.
Казалось, я навеки насладил
и зрение, и слух, и дух, и тело,
но колесницу с нею укатил
Возничий прочь от моего предела…
Тогда я отвернулся от светил.
И вдруг увидел, что крупинкой льдистой
на камушке замёрзшая вода
мне отражает самый центр диска.
Небесный центр – на крупинке льда!
И вот уже в глаза мои глядится,
луч преломив, Полярная звезда.
Так видел Дант мерцанье Парадиза
на самом дне страданья и стыда,
так дважды преломлённый луч традиций
упал случайно в этот стих, сюда.
– Но морехода взор и слух радиста,
ведущие Улиссовы суда,
в Медведицыных ласках возродиться
сумеют ли? Рассеянное «да»
бормочет мне глухой и ломкий дискант,
да камушком сердечко иногда…

ЧЁРНЫЙ ПУДЕЛЬ

Там же содержался намёк на мою истинную возлюбленную, ту, которую я называю заёмным именем, но при этом избегаю его произносить. Я думал, что уже потерял её, но она появлялась всегда безошибочно в те моменты, когда могла потерять меня. И тут вдруг звонит:

– Я у тебя буду сейчас. Скоро.

– Где тебя встретить – у метро?

– Не надо. Будь дома.

Явилась и – сразу в атаку: ты что, что с тобой? А со мной то, что я так больше не могу. Нельзя же меня отключить на время, когда я тебе не нужен, или засунуть в холодильник. Я хочу жить с кем-то, а так мне одиноко. К тому же я, кажется, влюбился и даже, кажется, женюсь. Да, она хороша собой, но это неважно, потому что очень талантлива, чуть ли не гений. Сегодня я приглашён на ужин, и она познакомит меня с матерью. И, наверное, я сделаю предложение.

– Нет, ты не можешь. Я ведь люблю тебя.

Я с недоумением смотрел на неё: признание, которого я безуспешно добивался, теперь само выскочило из неё вместе со слезами, буквально запрыгавшими из глаз.

– Не веришь? Смотри!

Она схватила со стола лезвие бритвы, которым я точил карандаши, и полоснула себя по тыльной стороне ладони.

– Смотри, вот кровь...

Я заметался в поисках бинта, стал совать бумажку, платок, она не давалась помочь ей. В умопомрачении я взял ту же бритву, резанул себе руку, и она дала моей крови смешаться со своей. Такого я не ожидал ни от неё, ни от себя, и это, конечно, всё разом изменило: мы стали самоповенчаны.

Что я наделал – с нею, с собой, с Василисой? Крупные символы блуждали в мозгу, словно с больного похмельного сна, но и неразгаданные, все они были грозно-укоряющими. Позвонила Бяка, я мёртвым голосом сказал, что не могу приехать. Она переспросила, удивившись, потом вдруг поняла, повесила трубку и больше уже не звонила.

Как автомат, добрёл я до своего ложа и погрузился в тяжёлую дрёму, но там было ещё хуже. Тёмный образ со следами копоти ходил вокруг, приближался, примеривался, желая проникнуть через зренье в меня и овладеть. Я сопротивлялся, барахтался, отвергал его присутствие. Собирая всю волю, запрещал его кинжальному взгляду вонзиться, отторгал его. Отбивался... И –

отбился!

Проснувшись после стольких потрясших меня метафизических передряг, я продолжал лежать пластом. Тяжёлый стыд перед Василисой испарялся нехотя, доводы рассудка не помогали. Да, было бы безумьем связать свою жизнь с Бякой, с этим избалованным ночным зверьком, воистину Малой Медведицей, пусть в ней светят все восемь Полярных звёзд! Да, конечно, вчерашняя кровная клятва была спасеньем, но спасеньем неправедным, даже духовно опасным, – потому-то и Тот, с тёмным ликом, явился, потому и тоска сосёт подложечкой, и вина сжимает затылок.

Я знал панацею от всех этих напастей и начал врачеваться: писать. Стала у меня складываться череда мучительных образов – рваных, кровавых, червивых и ржавых, среди которых был и Темноликий, от которого я всё-таки оберёгся, и другие нарывающие и нарыданные боли в ороговевшей, одеревеневшей душе, которые сдвинули набрякшую колоду, и из-под неё, из глубины забил тайный живительный источник.

В тот же день приходила и моя врачевательница, миловала, целила и наслаждала мне зрение и слух, и дух, и тело. Она стала совсем шёлковой. Порезы наши почти зажили, и на том месте, где романтики моря обычно татуируют себе якорёк, у меня остался тонкий прямой шрам, памятка на всю жизнь. Такая же мета оставалась и у неё. Мы то и дело теперь, как тогда на литовской косе, превращались в оленей, бегущих по дюнам в молодом сосняке, продуваемом ветром, – сильные счастливые животные. Тот же западный ветер дул и здесь, в северной столице, но уже не надо было прятаться от него по музеям и сомнительным кафешкам, – у меня было пристанище, из окон которого виднелся золотой ангел этого ветра, вечно повёрнутый влево.

Теперь подруга надолго меня не оставляла, нас разлучали только большие праздники, которые она, понятное дело, должна была проводить с семьёй. Но и тут она нашла способ оградить меня от свободных гулянок. В канун – какого же это года? – она пригласила меня к себе на ёлку, сказав:

– Ты, кажется, дружишь с Галей Руби? Вот и приходите вместе.

Галя, отчасти догадываясь и любопытствуя, согласилась, я принёс шампанского, она мандарины, и мы с виду легальной парой присутствовали на семейном застолье. Муж моей оленихи сделал несколько снимков у ёлки. Фотки впоследствии очень пригодились нам с Галей…

Всё это сильно щекотало нервы, я чувствовал себя по крайней мере авантюристом Феликсом Крулем, а то и ловким и

безжалостным наглецом из набоковской «Камеры обскура», но я не мог не отдавать себе отчёта в том, что если раньше обманывала мужа только она, а я был псевдоневинным её соучастником, то теперь мы занимаемся этим оба. И я стал настаивать на единоличном обладании ею.

– Тебе что – так как есть – плохо?

Нет, мне было легко и сладко жить с ней – пусть во грехе, в адюльтере, но – с ней. Просто восхитительно! Волшебно.

– Тебе нужно жениться на Гале, – однажды предложила она такую идею.

– Ещё чего! Галя – мой хороший друг. Что ж – использовать её ради прикрытия и испортить всю дружбу?

Какой же это год был? Наверное, 1974-й. В конце прошлого года прокатилась арабо-израильская «война Судного дня», которая многих встревожила, ведь эмиграция в (или – через) Израиль вставала тогда на крыло. А там у сирийцев оказались тысячи советских танков, у египтян – сотни советских боевых самолётов. Однако споткнулась коса о камень, и на эту жуткую технику нашёлся окорот.

– Счёт пошёл на МИГи, – острил будущий протопоп Михаил, который иногда забегал ко мне после работ на Ленфильме. Под псевдонимом «Нарбеков» он написал роман о таком же, как он сам или я, прозелите, который глядит на мир глазами новообращённого, и мы обсуждали эту книгу – в машинописи, конечно. Например, московский метрополитен воспринимался героем как принаряженный ад, преисподняя, и это сравнение подтверждалось уже тем, что при строительстве многих станций обязательно разрушали Божий храм. Кроме того, неофит его наслаждался и мучился, встречаясь с замужней красавицей, приезжавшей, между прочим, к нему на метро и распалявшей его тем, что её прошлое было каким-то образом «связано с кровью».

Пугающе много было у автора и его почти автопортретного героя совпадений, и со мной тоже.

* * *

Между тем идея отъезда не только завладела умами, но воплощалась на практике и даже вошла в анекдоты. За смехом, однако, пряталась горечь. Собиралась в дорогу Горбаневская, отчаливал Виньковецкий, распрощался я со Славинским, даже стало заметно по городской толпе: в ней, словно изюмин в выпекаемых булках, становилось всё меньше ярких лиц. Получали вызовы из Израиля знакомые и незнакомые. Моя подруга теперь

жадно слушала «голоса», восхищалась диссидентами, превозносила всё «штатское».

Захотела сама к моему удивлению, чуть ли не напросилась в Комарово, когда я возил туда матушку Наталью с сыном в прощальную поездку на могилу Ахматовой. На пути назад сказала Наталье с неожиданной силой:

– Я преклоняюсь перед вами!

Та понимающе глядела на нас в электричке, улыбалась глазами в стрекозино-громадных «потусторонних» очках.

Наконец, уже не совсем тайная, частично рассекреченная подруга сделала мне настолько интересное предложение, что я чуть не взлетел на пружинной тахте (мы в этот момент возлежали). Она сообщила, что решилась уехать с детьми, бросив мужа, и при этом пойти за меня, если я еду с ними.

– А ему мы скажем, что это фиктивно, чтобы только помочь тебе выехать.

– А он что?

– Он уходит со своей работы, ищет другую, потому что их танки-самолёты не нас защищают, а воюют против Израиля, где у нас друзья и родственники. Но у него секретность, которую снимут только через десять лет.

– И тогда что? Он приедет, и – здравствуйте, я ваш муж?

– Тогда и посмотрим.

– Ну зачем? Это ведь такая ломка! Разве нам сейчас не хорошо? Я ведь только и мечтаю жить вместе с тобой здесь.

– В этой коммуналке? А дети? Я не хочу, чтобы они в будущем, ради хорошей работы, должны были вступать в партию… Это такая гадость!

– Но можно ведь и не вступать. Я вот давно уже хочу уйти с телевидения, тоже осточертело: сплошная пропаганда. Но уезжать отсюда не собираюсь. Более того – если начнут выдворять, буду за косяки дверные хвататься!

И сквознячок впервые пробежал между нами.

И Горбаневская, и Виньковецкий, уезжая, дарили мне своих друзей, свои приятельские и интеллектуальные связи, как бы заштопывая дыры от их будущего отсутствия. Наталья больше знакомила с диссидентами, Яков – с художниками и геологами. И оба – с пастырями духовными.

Золотоискателем был Соломон Давидович Цирель-Спринцсон, ровесник века, – причём, не советского, начинающегося с семнадцатого года, а именно календарного. На сталинской каторге он провёл двадцать лет жизни (от года моего рождения до освободительного 1956-го) – правда, с краткими перерывами, но и со смертным приговором уже в лагере.

Тридцать дней провёл в камере смертников. Колымские холода, страхи и унижения не истребили в нём внутреннего (да и внешнего) достоинства – он оставался истинным джентльменом: держался прямо, разговаривал учтиво, интересовался искусствами, носил галстук-бабочку. И – не пасовал перед нахрапистой ложью, открыто высказывал иные предпочтения.

Я бывал у него на Школьной и после Яшиного отъезда. Выяснилось, что он в восторге от стихов всё ещё юной и непредсказуемой Вайсс. Что ж, я – тоже. И он предложил устроить у него нашу совместную читку. Я продолжал чувствовать свою вину перед ней, уже неведомо – истинную или мнимую, но здесь усмотрел повод к примирению, хотя бы дипломатическому. И согласился.

Квартира Цирель-Спринцсона была мини-коммуналкой, но его комната позволяла разместить небольшую компанию. Я пришел первым. В одном углу стоял уже накрытый для скромного пиршества стол, оставшееся пространство занимали кушетка, шкаф с книгами и несколько стульев. Василиса явилась с опозданием, с небольшой свитой незнакомых мне людей и с чёрным пуделком, тёзкой нашего уехавшего друга. Мазнула меня взглядом белёсо из-под чёлки, уселась со свитой на кушетку. Пуделёк весело бегал по комнате, тыкаясь каждому в колени, прося внимания, ласки, игры. Как водится в кругу малознакомых людей, чтобы замять смущение, об этой собачонке все только и разговаривали, каждый трепал пёсика, гладил, и Яшка крутился, повизгивал от удовольствия.

Наконец мы заспорили, кому первому читать. Бяка, конечно, упёрлась и начинать ни в какую не соглашалась. Хозяин просил меня «быть рыцарем» и уступить даме. Все эти мелкие Бякины уловки мне были известны (так я самонадеянно тогда подумал), и я решил начинать, но при этом показать, «кто есть кто». И стал обрушивать на них «Стигматы» в полный голос:

Порожний череп в чей-то след
здесь, у подножия, повержен.
И пёстрый ультрафиолет
в зубцах пронзительных воздет,
и – свет. И прозревают вежды!

С первых же звуков я заметил, что слушатели мои отвлекаются на что-то другое, дико их смущающее, происходящее у моих ног. Отведя рукопись в сторону, я увидел, а затем и ощутил, что этот поганый кобелёк обхватил мою ногу лапами и, вместо того чтобы внимать глаголам высоких истин, приладился

и даже начал с ногою совокупляться!

– Уберите собаку! – заорал я злобно.

Блудливый пёс прыснул от меня в сторону и шкодливо спрятался под кушетку.

– Что ж это такое происходит? – обратился я возмущённо к Бяке. Она торжествующе молчала.

– Да не обращайте на это внимания, – уговаривали меня остальные. – Продолжайте, пожалуйста.

Успокоившись, я стал читать сначала, но уже вынужденно следил за происходящим. И что же? Мерзкий Яшка вылез из-под кушетки и вновь стал прилаживаться к моей правой брючине. Я именно этот манёвр и поджидал, и мой мозг, словно рефери – свисток, дал приказ ударной ноге пробить сокрушительный пенальти. Но на долю мгновения раньше, когда мышцы, взгорячённые гневом, только начали сокращаться, подлый бесёнок соскользнул с ноги и опять спрятался под кушетку.

– Ну – всё!

Схватив по дороге пальто и теряя листы бумаги, я через две ступеньки скатился с лестницы и зашагал прочь. Бедняга Цирель-Спринцсон бежал следом, не поспевая, и умолял вернуться. Пришлось остановиться и хоть как-то успокоить старика, возвратить его, выскочившего в одной рубашке, домой. А ведь мне надо было и самому успокоиться.

Шагая, я горестно думал о поэзии: это ли – «двух соловьёв поединок»? Какие там соловьи... Поединок летучих мышей!

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛИСТ

Наталья Горбаневская не зря писала поэму «Северо-Запад», объясняясь в любви к этому углу нашей советской вселенной, не зря ещё при жизни Ахматовой просилась «принять» её в нашу четвёрку пятой составляющей, – за полушутками прятался полусерьёзный эстетический выбор москвички в пользу ленинградской школы, если она когда-либо существовала. А если и нет, то надо её основать по образцу Озёрной школы в английской поэзии и наречь её Ладожской с отделениями для модернистов и консерваторов соответственно в Новой или Старой Ладоге. Так мы тогда перешучивались.

– Возьми. Эта книга должна тебе понравиться.

С такими словами она подарила мне «Уолден, или Жизнь в лесу» Генри Торо в добротном академическом издании. Добротном, но всё-таки советском: трактата о гражданском неповиновении туда включено не было. Эта идея славного американца XIX века звучала явно антисоветски. Впрочем, достаточно было и самого «Уолдена» с его неотмирными стихотворными вкраплениями и скрупулёзной калькуляцией расходов на строительные материалы, с заметками натуралиста и размышлениями натурфилософа. Этот интеллектуальный отшельник, выстроивший хижину на берегу немалого озера, вовсе не заслуживающего наименования «пруд», наблюдавший восходы и закаты на его водной поверхности, вызвал у меня почтительное изумление. Нет, не руссоист, потому что искал не плоского упрощения, свойственного землепашцам и хлеборобам, а новой сложности, включающей как отблеск полярных сияний, так и тихий хруст бобового стручка, изгрызаемого на грядке бурундуком, полноправным жителем того же Уолдена. Здесь – его романтический спор с прагматикой фермера, считающего урожай собственностью, стопроцентно неотторжимой от его труда. А природа, она что, не потрудилась над твоими бобами? Вот и не ропщи, когда приходит момент с нею делиться.

Трансцендентализм – это было мощное по идеям своим литературное движение, делавшее честь его начинателю Ралфу Уолдо Эмерсону. Да и Натаниель Готорн имел неслабую репутацию, не говоря уж о великанском Уолте Уитмане, диком отростке от тех же, по существу, принципов. Это сопряжение конкретных земных деталей с головокружительной космической беспредельностью увлекло меня чрезвычайно и, более того – показалось мне квинтэссенцией моего собственного посильного художества, той самой крупинкой льда из вышеприведённого

стихотворения, которая кристаллически отразила Полярную звезду, – этот образ я, кстати, не выдумал, а к удивлению своему наблюдал, обнаружив в действительности. Подражавшей на этот раз – мне.

И я провозгласил себя трансценденталистом.

Вот так и пожить бы вдали от всех, наблюдая лишь зори, поневоле безгрешно, служа для блезиру лесником или егерем! На макароны зарплаты хватило б, лес бы ещё подкармливал, да огородец. Собаку б завёл, обязательно лайку. Имя Генри для клички совсем не годится, а вот Ральф подошло б:

– Ральф, к ноге!

И так это меня захватило, что стал я отчима Василия Константиновича разговорами обихаживать: мол, ты ж охотник, и даже главный по этой части в своём номерном институте, ну что тебе стоит найти для меня работёнку в лесу? Мать ходила вокруг нас в недоуменном онемении, а он мне как-то поверил. Да и мечта была больно уж хороша, словно сказка для ружейного человека: егеря своего заиметь. Недели две-три мы оба к идее такой привыкали, и вот, похоже, всё вдруг и решилось: у завода имени Свердлова оказался охотничий участок к северу от Приозёрска, как раз между берегом Ладоги и железной дорогой, – лучшего и не придумать. Егерь им нужен. Отлично! Жму скорей на завод.

Председатель охотников, застенчивый парень под тридцать, перечисляет обязанности: заводчан принимать по выходным и только в сезон, а так – приглядывать, что за живность в лесу. Если лось забредёт – хорошо. Осинку срубить ему, пусть обгложет. В пне приямок какой-нибудь выдолбить, соли насыпать – пусть лижет, может останется. Зайчикам веников насушить и зимою развесить. Вот, пожалуй, и всё. Только надо с месткомом ещё утрясти вашу кандидатуру.

Освобождённый председатель месткома, избалованный бездельем чиновник, с подозреньем ковыряет меня вопросиками: где работали, почему ушли? Телевидение вызывает его удивленье. Нет, что-то не так. Надо с директором провентилировать этот вопрос.

И вот среди рабочего дня трое мужей премудрых, хозяйственников, руководителей производства, уже битый час решают: принять – не принять меня на грошовую зарплату. Первые двое молчат, а директор (бритый череп, умные глаза на безбровом лице) всё допытывается, обращаясь на ты:

– Как же ты будешь без бабы-то жить?

– Да не беспокойтесь, найдётся...

– Ну а почему же ты инженером не хочешь?

– Как-то душа не лежит.

– Что, американских писателей начитался?

Этот вопрос застаёт меня врасплох. Откуда он знает? Может, сам читал – глаза-то живые. И решаюсь ответить:

– Да, но не то чтобы Хемингуэй, Фицджеральд или даже Фолкнер. Из них Генри Торо – мой самый излюбленный. Трасценденталист...

И вижу: лицо директора гаснет, интерес исчезает. Значит, сам не читал, просто чутьём угадал очень точно. Недаром – директор. Он машет рукой, и уже на вы:

– Вам позвонят.

– Когда?

– Через месяц-другой.

И уже ясно, что никогда. Да и я в это дурацкое дело больше не сунусь. Будь я гугнив и увечен, числись я в злостных алиментщиках, наверняка подошёл бы. А так – не расстраиваться же, что оказался слишком хорош!

Со смехом я рассказал об этом заскочившему ко мне по-соседски Жене Егельскому, бывшему ихтиологу. И он пустился в ответ воспевать вдохновенно свою пусконаладочную контору по очистке вод Ленинградской области.

– Лен-водка-спец-накладка! Дима, поступай лучше к нам. Будешь числиться в командировке и жить у себя на даче. Показываться в конторе только в дни получек.

– А как же очистные сооружения? Их же всё-таки надо запускать и налаживать...

– Не беспокойся. Ты разве не знаешь наших строителей? Они быстро начинают и долго не кончают, за что их якобы любят женщины. Так что ты будешь сидеть себе дома и писать. И никакой телепропаганды.

– Да, насчёт пропаганды ты прав. Там, на студии, от неё сейчас не продохнуть.

– Ну, вот видишь. А не выпить ли нам по такому поводу?

Выпить он готов был по любому случаю и, даже действуя из дружелюбия, всё-таки имел в виду неизбежный кутёж с первой получки, если я перейду в его пусконаладку. Но я теперь не спешил с трудоустройством и, не спеша, созревал. Поторопил меня неожиданный случай.

* * *

Главным редактором в моё второе служение на учебной программе был Дамир Зебров, страшноватый и самоуверенный

хват с бородою котлеткой. Перед ним робел даже отставной генерал Варлыго, мой непосредственный начальник, и, когда тот входил, он приветствовал его, по-военному стоя во фрунт. Этот Дамир («Даёшь мировую революцию!») не скрывал своих связей «с органами», а, может быть, и специально эти связи преувеличивал, но уж пропагандой напихивал наши передачи под завязку и даже с верхом. Я уклонялся, как мог, и, можно сказать, строил из себя (в его глазах) невинность, которой он вознамерился меня лишить.

И вот через седую голову генерала он «предложил» мне подготовить передачу «очень важную в идеологическом отношении», а именно – о социалистическом соревновании, и в режиссёры дал своего любимца Игоря Шадхана, человека способного, умного, игрового и лысого как колено, несмотря на относительную молодость. Отказаться было исключено. Я только спросил:

– А кто будет ведущий?

– Пишите ведущим меня, – ответил Зебров.

С отвращением состряпал я сценарий, вложив в жирные «уста» ведущего все пошло-газетные штампы, все пропагандные атрибуты этой темы, пригласил инструктора райкома «нашей партии» и двух директоров: речного пароходства и крупного научно-производственного объединения. Тяжёлая получилась артиллерия, как одобрительно заметил мой генерал. На предварительном обговоре Зебров с ходу сладил себе катер в пароходстве, а на трактовую репетицию не явился. Это меня забеспокоило.

– Ничего, – утешил Шадхан. – Ты иди пока в кадр за него. На запись он придёт обязательно.

Но он не пришёл.

– Всё! – скомандовал режиссёр. – Дайте ведущего поясным планом, участников – панорамой!

И понеслась скверна.

Но самая-то поганка заключалась в том, что по телевизионным канонам передача эта весьма даже получилась, и на летучке была отмечена нашим обозревателем:

– Учебная программа всё жалуется, что у неё нет ведущего. Вот вам ведущий – смотрится хорошо, и инженер к тому же!

На следующее утро мы с Егельским спускались в подвальчик на Лиговке, где тогда находилась «Ленводспецналадка». Юра Климов, теперь уже мой новый начальник, оказался бывшим однокурсником Коки Кузьминского по биофаку, бредил поэзией, сам когда-то пописывал и выразил полнейший ко мне пиетет.

И вместе с Егельским мы отметили это дело «кутежом трёх князей» в ресторане на Московском вокзале.

ПОСТНОЕ И СКОРОМНОЕ

Моё наполовину выветрившееся инженерство не обременяло сознания, но, как и на престижном телевизионном поприще, так и на смиренной пусконаладке было нелишним приложением ко мне самому. Глубоких технических знаний или особенных навыков там не требовалось. А вот ореол некоего небожителя, спустившегося добровольно (да хоть бы и вынужденно) в низы, на предпоследний лимб советского общества, приблизившись к истопникам, сторожам и прочим париям, этот ореол мне первое время сопутствовал – может быть, благодаря мифотворчеству Егельского. Он любил дружески пообщаться с коллегами-наладчиками в дни получек (а в иное время все, как считалось официально, разъезжались по объектам), и, чокнувшись гранёными стопками в ближайшей рюмочной, пораспросить напарника, закусывающего бутербродом с яйцом и килькой, о том о сём и после этого, зайдя ко мне в надежде на продолжение, повздыхать с восторженным удивлением:

– Какие люди! Какие люди!

И в самом деле, люди были матёрые, инициативные, действующие в одиночку и все до единого переживающие какой-нибудь жизненный кризис. У одних не заладилась научная карьера, как у самого Жени, по причине чрезмерной близости к источнику этилового спирта, нужного для лабораторных исследований, у других поломалась семья по схожим причинам и, за вычетом алиментов, поддерживать свои привычки было не на что, кроме как на командировочные, оброком этим не облагаемые. Но были и полутрезвенники, и совсем непьющие из хрупкой, недолговременной категории «завязавших». Был среди этих последних писатель-нелюдим, так никогда и не вышедший из подполья. Был и океанограф, изъездивший многие моря, но ставший за какую-то провинность невыездным. В своих исканиях он поступил в наладку, принял православие (между прочим, мой крестник), затем побыл некоторое время толстовцем, прежде чем переметнуться в иудаизм и осесть со статусом беженца в Германии.

Моими стараниями был принят в контору Вениамин Иофе, впоследствии глава ленинградского «Мемориала». Вот уж кто был «матёрый человечище» и «рыцарь белого камина», всё в кавычках, так как первое высказывание – из Николая Ленина о Толстом, а второе – из Василия Кулаковского, бывшего главного редактора газеты «Технолог» о самом Вене. После отсидки по делу «Колокола» этот умнейший человек вместо того чтобы быть в Афинах Периклетом, прозябал на изнурительной работе в цеху по производству фанеры. Но и там его ущемляли. Перейдя к нам, он превратил и без того богатую талантами пуско-наладку в альфа-подразделение интеллектуальной элиты!

* * *

Сама работа относилась к типу «хоть-стой-хоть-падай», то есть не требовала почти никаких усилий. Под благородным лозунгом охраны окружающей среды по всей области начали

строиться сооружения водоочистки. За этим процессом присматривали «специалисты» вроде меня и вышеописанных. Но, как верно обрисовал ситуацию Егельский, обязанности наладчика сводились к тому, чтобы изредка съездить на строящийся объект, убедиться в отсутствии прогресса, написать грозное напоминание местному начальству и закрыть у него «процентовку» на месяц. И начальство это, ко всегдашнему моему удивлению, охотно отстёгивало свои фиктивные деньги за наши столь же фиктивные услуги. А зарплату мы всё-таки получали в рублях. На том всё стояло.

Я бурно сочинительствовал, отделывая каждую строку, каждое слово, и это наслаждало мой вкус. Слова складывались, образуя стиль, оснащённый мыслями великих праведников, но выраженными в моих звуках и образах. А можно ли так писать, льзя ль? Вспоминались запрещающие доводы из писем Красовицкого, споры с Найманом, вспоминались тяжёлые укоры родни по поводу влияния моих стихов на психическое здоровье брата и племянника. А между тем оба они стали моими крестниками – это ли не довод? Ко мне нередко обращались за этим. Я их всех, зовомых оглашенными, отвозил на Охту, к отцу Василию Лесняку в кладбищенскую церковь. Отстаивали мы там литургию, ставил я свечу Всем Святым за моих дорогих, на том кладбище лежащих, а потом покупал дешёвый крестик для новообращаемого, и после окончания службы приступали мы к таинственному обряду.

«Отженяешься ли от сатаны? Говори: “отженяюсь”»! – «Отженяюсь!»

Так крестили мы не только племянника, но и его отца, а моего двоюродного брата. Крестили сына телевизионной раскрасавицы Тани Миловидовой, ставшей таким образом моей кумой. Лёшу Любегина, прозаика, одного из любимцев Давида Яковлевича Дара. Серёжу Кочетова, программиста. Леночку, между прочим, Захарову. И других. Словом, пробили некоторую брешь в диалектическом материализме.

* * *

Отца Василия вскоре перевели в удельнинскую церковь, он тому очень радовался. В Удельном ведь он и жил. Частенько туда приглашал – и на службу, и к себе домой. Однажды собрались в его светёлке Олег, да Наташа, да я. Ещё, кажется, был Сергей. Все – поэты. Душеспасительно беседовали. Шли потом к станции, обходя огромные лужи. Разряжались после чинных разговоров.

Дурашливо шутили. Олег взял Наташу к себе на закорки, её сильные ноги в светлых блестящих чулках обнажились. В электричке она выглядела очень миловидно: рыжеватые кудельки, бледная в веснушках кожа, грустноватые глаза и большая улыбка, вздрагивающая от смеха. С вокзала я пошёл её провожать. Она окончила Библиотечный институт, там же защитила диссертацию, и нечто, роднящее всех библиотекарш и училок присутствовало, увы, не только в облике, но и в её пресноватых стихах. Мы с ней как-то по-деревенски просто сблизились, без излишних ухаживаний, – все эти прелюдии заменило взаимное знакомство со стихами. Её были бесхитростны, лишь кое-где за обкатанными образами мог я теперь угадывать живой телесный жар её существа. Простодушно показала она мне все шрамы: её многократно оперировали от спаек в кишечнике. Эдакие подробности меня отнюдь не оттолкнули – наоборот, растрогали и ещё более сблизили: у меня в прошлом был такой же печальный опыт – один, но чуть не фатальный.

Это случилось спустя год после того, как меня едва не убили местные в Сталиногорске. Всё уже давно зажило, как вдруг ночью тупо заболел живот. Боль прибывала по миллиметру, а к утру выросла размером с дом. Скорая увезла в заводскую больницу, где ленивая врачиха посчитала, что у меня пищевое отравление. Но и от этого не лечили, что, впрочем, к счастью, а то было бы хуже. Через сутки меня навестила мать и попросту спасла, заставив врачей перевезти меня в Мечниковскую. Хирург Мирзаев немедленно вспорол мне брюшную полость, освободил от спаек и заново переложил кишечник.

Вот в такой болтовне проводили мы время свиданий, – скорее приятели, чем любовники, могущие так же легко прервать отношения, как и длить их до нескончаемости. Я написал ей об этом стихи:

Как расхистанно, токопроводно
дали вяжутся в провода,
так и у двоих – случайно, свободно
завязалось хоть на вечер, хоть навсегда...

Она вдруг обиделась. Жаль. Ни грех, ни покаяние никак не укладывались своими тяжёлыми утюгами на прохладную нежность наших отношений. А вот слово «навсегда» обернулось своим противоположным смыслом – «никогда». Только поздней, листая её незамысловатую, но чистую, честную книжицу, я наткнулся на безымянный ответ, тем более тронувший меня, что

разделяли нас тогда годы и расстояния...

Всё то, что с именем твоим
невольно свяжется на свете, —
не превратится в прах и дым,
не будет брошено на ветер...
Вот дерево, что ты писал,
махнуло мне рукой.
А вот и мостик, и канал...
Ты сам, наверно, ими стал —
или они тобой.

Стать Банковским пешеходным мостиком над Екатерининским каналом – не завидная ли участь? Вот стоим, на открытках изредка красуемся. Прохожие, правда, снуют, отчего спине немного щекотно, но это пустяк.

Говорили, Наташа стала совсем богомольной. За плавающих и путешествующих, недугующих и плененных. Надеюсь, и за меня тоже. И, конечно же, за Россию, в которую вместе с Гласностью пришло одичание, выламывание скамеек, распарывание сидений в поездах. Наташу зарезали на улице, когда шла она к ранней литургии в Спасо-Преображенский собор, что рядом с домом Мурузи. Кто? Зачем? За что? Упокой её, Господи, в свете лица Твоего.

Говорят, только молитвой и постом... Как раз наступал Великий пост, когда Василию Константиновичу, моему отчиму, объявили окончательный диагноз: рак левого лёгкого. Курильщик он был заядлый – от одной разжёванной беломорины прикуривал другую, свежую. Удаление лёгкого давало какую-то, пусть временную, надежду. Но дело осложнялось наследственностью – от рака умерли его брат и старшая сестра. И я решил хоть как-то, хоть символически, быть солидарным с ним. Вспомнил, что всё моё детство был он мне лучше, чем многие родные отцы у сверстников, в ответ на мои выходки и эскапады не то чтобы не замахнулся ни разу, но даже и не отругал по-настоящему. Вот, понял когда-то, что я «слышу песню». Принял участие в моём, пусть не удавшемся, егерстве. И я заговел.

Овсянка на воде, макароны, болгарские стручки в банках, если удавалось их достать, хлеб, чай с сухим печеньем, – это всё было одолимо. Но если приходилось обедать в городе или, пуще, по станционным буфетам в поездках по области, вот когда приходилось класть зубы на полку! Единственным блюдом в харчевнях бывал шницель – подозрительный кусок жира в сухарях... В лучшем случае тогда выручал какой-нибудь

капустный салатик. Диетические столовые не годились совсем – там предлагались исключительно молочные блюда. Бывали ещё рыбные дни, но не по средам и пятницам, как следовало бы, а – нате вот – по четвергам! Из-за этого «нате» ноги сами уводили от бесовской иронии таких заведений.

Изголодавшись, иногда забредал на Таврическую, там Федосья всегда первым делом накормит. Но: то творожники, то мясные щи, то рисовый суп на молоке, – приходилось отказываться. Она и скумекала:

– Да ты, парень, постисси!

Рассказала, конечно, ему. Отчим с благодарным интересом на меня посмотрел. Но ни пост, ни молитва поправить больного уже не могли. Он бросил курить, страдал ещё и от этого. Сидел, задумчиво глядя в пространство, да изредка произносил:

– Да… Ну что ж!

И через некоторое время опять:

– Да… Ну что ж!

Прочесть его мысли, так крупно проступающие за междометиями, было несложно. Он готовил себя к концу. Между тем ему предстояла ещё страшная операция, долгое заживление её последствий, и вот, как ни странно, к осени он всё же поднялся на ноги и даже стал изредка похаживать на работу. Только ремиссией можно было объяснить его воодушевление, румянец, когда в январе охотники предложили ему возглавить с двумя десятками ружей охоту на лося. Мать ни в какую не хотела его отпускать вообще, но потом сказала, что не отпустит одного, и он вцепился в меня: мол, поедем-ка вместе, ты ж в егеря просишься, вот и увидишь… Ну не мог я ему отказать, и мать успокоилась, даже с практической стороны: на двоих будет и добыча двойная.

* * *

Поехали мы все институтским автобусом куда-то за Волхов: километры и километры мелколесья, продолжающегося всё дальше… Где же леса? Но вот подъехали к деревне, раскинувшейся на снежной равнине, примыкающей к еловому лесу. Егерь, явно местный мужик, похаживал по огромной натопленной избе, его баба, в валенках и сарафане, шуровала в печке до плеча открытыми, но лишь до локтя загорелыми руками, вытаскивая ухватами что-то большое съедобное для приезжих охотников. Я невольно прикидывал, ставил себя на место хозяина. И – никак не видел.

Выпили под картофельную запеканку перцовки, повалились

на боковую: спать, спать, и – вдруг! – подъём в темноте. Поехали стрелков расставлять, а потом и загонщиков. Я, естественно, попадаю в загонщики, но ружьё мне всё-таки выдают, – а вдруг зверь пойдёт вспять, что вообще-то маловероятно. Но бывает. По сигналу начали шуметь и шагать по глубокому снегу через лес по направлению к стрелкам. Кричать скоро надоело, и не только мне. Поутихло в лесу. Но выстрела так и не было, это оказался пустой загон. Дождались всех, поехали в другое место. Там повторилось то же самое. Шли по сугробам, кричали. Но вот раздался выстрел! Как ни устал, я прибавил шагу. Впереди всё сильней слышались возбуждённые голоса охотников. Вот видна их ватага, скопившаяся у края заснеженного поля вокруг шерстистой груды убитого зверя, к ним подтягиваются отставшие загонщики. Лосиха! В центре орудует егерь, растаптывая кровь, раскладывая на снегу большие красные комья. Отчим стоит там же, распоряжается делёжкой, но как-то обессиленно... Инициативу всё время перехватывает молодой рыжеватый охотник с беспокойным – то виноватым, то торжествующим – взглядом. Это и есть герой всей затеи, выстрелом уложивший лосиху. И, оказывается – тяжёлую, беременную. Герою, помимо своей доли от кровавой добычи полагается ещё голова. А егерь из распоротого брюха извлекает мутный пузырь с нерождённым лосёнком.

– Плод, плод, – заболботали убийцы.

– Кто-нибудь это берёт? – спросил егерь.

Никто не отозвался.

– Ну, так собаке скормлю.

С охоты мы привезли на двоих килограммов десять мяса, но есть я его не мог, а Василий Константинович как истый охотник вообще дичью брезговал. Поездка, ходьба не пошли ему на пользу, здоровье стало стремительно ухудшаться. Ну а я с отвращением вспоминал об этом, скорей всего браконьерском, похождении и с ужасом воображал, что было бы со мной, окажись директор завода имени Свердлова чуть поглупей.

Отчим совсем угасал, и матери с Федосьей стало страшно по ночам оставаться с умирающим. Они попросили меня ночевать на Таврической. Это случилось как раз в моё «дежурство», когда обе женщины спали. Началась агония, и Федосью я всё-таки разбудил, а матери мы дали отдохнуть до утра. ЗАГС, похоронное бюро, крематорий – это тоже досталось мне. В середине дня приехали из морга два полутрезвых «ангела» в медицинских несвежих халатах, взялись за углы простыни и в эдаком мешке утащили Василия Константиновича по лестнице вниз. Но это уже был не он, а просто тело.

ПРОЩАНЬЯ И ЗНАКОМСТВА

Семидесятые годы, точно вписавшиеся в метрическую линейку века, были десятилетием отъездных прощаний. Эмиграция, юридически оформленная как воссоединение еврейских семей, кроме вызовов от фальшивых родственников из Израиля требовала во многих случаях именно разрушения семей, разрыва живых связей между уезжающими и остающимися – нередко между мужьями и жёнами, детьми и родителями, и уж, конечно, рвала многие сердечные и дружественные привязанности.

Отъезд был репетицией смерти, ибо все верили, что это – разлука навсегда, а на проводы ходили, как на похороны. Среди провожающих бытовало свежевозникшее суеверие, что пятые проводы будут твоими. Первые, на которые я попал, были, чуть не написал «поминки», Льва Полякова, спортсмена, фотографа, наймановского одноклассника и – через Наймана – моего знакомца. Широкий крепкий мужчина, боксёр, Лёва теперь и в самом деле выглядел так, что «краше в гроб кладут». Но сын его Кирилл был радостно возбуждён, носился от стенки к стенки, лавируя между понурых гостей. Я остановил подростка:

– Кирилл, скажи, кто ты теперь?

– Изменник родины! – весело отрапортовал он.

«Ещё здесь, а уже свободен», – подумал я с некоторым даже восхищеньем. Но Кирилл этот ещё наломает дров в Нью-Йорке... Не помню, писал ли я о Полякове в первой книге, а вот об отъезде Леонида Черткова точно писал, и он-то отозвался о причинах отъезда самым верным образом: ехал он за новизной.

Вскоре стал собираться в дальний путь Славинский, хотя, собственно, собирать-то ему было нечего. Последние год-полтора обитал он на птичьих правах в Москве, ночуя по приятелям, а прописан был в избе под Владимиром у художника Эдуарда Зеленина. Но наше с ним дружество оставалось живым, поддерживаясь то письмом, то приветом.

Прощаясь с Ленинградом, он приехал и расположился у меня, благо что обзавёлся я ещё одним ложем. Собственно, это была кровать, на которой умирал Василий Константинович, и мать боялась оставлять её у себя дома. Даже на дачу взять не хотела. Не без мистического трепета я всё-таки решился перевезти смертный одр к себе, сам на нём не спал, но впоследствии там безмятежно дрыхли заезжие гости, обжив его до состояния уюта: поэты Олег Григорьев, Горбаневская, Кублановский и, вот, Славинский, ныне подданный Её Величества.

Он был прекрасный компаньон, и, не стесняя друг друга, мы прожили бок о бок пару недель. Привыкший к спартанским условиям, в моей коммуналке он чувствовал себя комфортно. Ладил с соседскими грымзами. Делал себе постирушки, иногда кухарил и отправлялся по своим кругам. Оставил мне итальянский кофейник. И одарил бесценным рецептом закуски, в духе того достославного из Елены Молоховец: «Если к вам пришли гости, а у вас к столу ничего нет, то...»

– То, – продолжал Славинский, – быстро очистите и нарежьте луковицу, залейте уксусом и насыпьте немного сахару. Пока расставляете рюмки, режете хлеб и откупориваете водку – слейте уксус, и закуска готова!

– Что ж, будьте здоровы!

– И вам не хворать.

Связь этого уже почти готового гражданина мира с некогда святою Русью делалась всё эфемерней и небезопасней, и ясно было, что кому-кому, а уж ему-то лучше всего оказаться за бугром. Но он всё колебался. Однажды я застал его дома, когда он с огорчением рассматривал свою жёлтую нарядную рубашку, так шедшую к фирменным джинсам и его средиземноморскому облику. На ней были пыльные, грязные отпечатки. На моё недоумение он ответил:

– Только что сшибло трамваем, когда переходил Кронверкский.

– Сам-то цел?

– Цел. Но что это может означать в символическом смысле? Прощальный пинок под зад от Родины?

– Прими как благословление. Причём, весьма снисходительное.

– Да, могло быть и покруче...

Мы договорились железно друг другу писать в открыточном формате, и чуть ли не год я получал по почте великолепные виды Италии. Вот вечереющий разворот Тибра в опаловых и золотистых тонах. Чуть вдали – купол Св. Петра, ближе – пешеходный мост и боковой фасад замка Св. Ангела, где сидел в узилище Бенвенуто Челини и где его травили толчёным стеклом. Текст такой:

> Город обалденный, ослепительный, иногда неуловимо напоминает Ленинград. В прогулках выхожу на такие места, что сердце останавливается. Часто жалею, что тебя нет рядом, ты бы здесь заторчал.

Следующая открытка гласила:

Вот старая Аппиева дорога, по сторонам развалины древних вилл, новые виллы (в частности, Джины Лоллобриджиды) и гробницы, гробницы, вернее, их кирпичные остовы. Весь мрамор посдирали варвары, завоеватели, императоры, папы и прочие – всё это теперь в Лувре, Эрмитаже, Британском музее и у богатых янки. Я прошёл её из конца в конец на закате – оранжевом в полнеба… Грусть, грусть и благодать.

На открытке – арочный переулок в Ассизи с текстом:

В Риети обнаружились друзья, и я поехал к ним в гости. Это самый центр Италии, во всех смыслах. Кругом полно старины, древние церкви и замки, и городки на вершинах холмов, виноградники, синие горы (некоторые в снегу), в долинах золотая осень, ну и, конечно, провинциальное гостеприимство и прекрасные дороги. Сполето весь серо-голубой, Ассизи розовый, не влюбиться во всё это невозможно. Жаль-жаль-жаль, что тебя нет со мной сию минуту, дышалось бы легче, а то дух перехватывает от всей этой красотищи. Дети играют под римской аркой, старики греются на солнце у знаменитой базилики, где гробница св. Франциска, у входа в которую я поставил свечку за упокой Ю. Г. (Юрия Галанскова. – Д. Б.), в общем, я влюблён.

Вид с рощицей пиний под Равенной.

Вот остатки дремучего леса на берегу Адриатики, в котором, говорят, заблудился Данте и начал сочинять свою Комедию. Равенна действительно спит в тумане, как ей и полагается. Я положил белые гвоздики на могилу Данте с запиской «От Д. Б. и А. Н.» (Дмитрия Бобышева и Анатолия Наймана. – Д. Б.) Чувствительный и пошлый жест, но почему бы не воспользоваться возможностью его сделать? Уверен, что ты не против. Завтра увижу Венецию.

И дальше:

Полюбуйся: это знаменитый мост Вздохов, по нему во времена дожей водили зеков из крытки (справа) во дворец на допрос и обратно. Там была свинцовая крыша, и в жаркий день им приходилось туго. Казанове однажды удалось бежать оттуда. На то он и Казанова… Вчера

утром звонит Несчастливцев (Иосиф Бродский. – Д. Б.): «Юхим, я в Риме». Вообрази себе этот стык. Мы гуляем, выпиваем и треплемся. Я прочёл, что запомнилось из счастливцевского (бобышевского. – Д. Б.) ответа, не без колебаний, так как не уверен, что ты бы этого хотел. Он среагировал вяло: «Ну чего Митяй завёлся, „Феликс“ – ерунда, побрякушки, и потом – я ведь обещал Марине, что никому не дам, это гад Мейлах виноват» и т. д. Что он сам же этого Мейлаха облажал – категорически отрицает, в общем, он всё тот же. Я был рад, не скрою, оказаться в стихии настоящей русской речи, с идиомами, подначками, подтекстами, без скидок на глупого одессита или непонятливого иностранца. Вообрази, повторяю, всю ситуацую, Рим и прочее, моё одиночество – ну? Понял? Он, между прочим, сказал абсолютно правильную вещь: о несоизмеримо высокой культуре дружбы в России по сравнению с Западом. Тут мы их обставили на сто лет. Ах, Деметр, если ты и вправду осуществляешься через меня в западной жизни, ты всё поймёшь.

Открытка с базиликой Св. Клары в Ассизи и текстом:

Дружище! Идёт (вернее, летит) жаркое занятое лето, ни дня свободного. И всё хорошо, главное, что я в Италии. Документов, однако, никаких; ХИАС не знает, куда меня приткнуть, и находится в полном бюрократическом задвиге. С пособия меня сняли, но накидали кучу переводов, и вот – вкалываю, расплачиваюсь с долгами и пытаюсь отложить денег на грядущие тощие дни странствий. И знаешь: приятно просыпаться в Риме рано утром и топать в офис. Прохладно, ласточки режут небо, из баров пахнет свежесмолотым кофе.

Поздней Славинский получил временную работу (где – из конспирации не писал), но на обороте заснеженной Венеции сообщал:

Мой нынешний контракт истекает через полгода, предложили постоянный, я, конечно, польщён, но раздумываю… Все советуют не валять дурака и подписывать немедля. Машка (та самая, с блюдом жареной печёнки. – Д. Б.) так и сделала. Насчёт подданства пока глухо.

И наконец пришла совсем другая открытка – с красным двухэтажным автобусом, лихо огибающем по левой стороне улицы высокую колокольню Св. Мэри-на-Стрэнде. В манере Славинского, посланье было тройным – общему приятелю, то есть мне.

Одним почерком (Натальи Горбаневской) было написано

> Милый Димочка! Сидим втроём со Славкой и Машкой на террасе закрытого паба («по пабам!») в полутьме, в полусне пишем. Славинский просит написать, что он в маразме, но Верка (Машина сестра) точно определила его состояние как ранний климакс. Машка всё такая же красивая, но ещё и седая: седая девушка. Я – стриженая, как курсистка-эмансипантка. Послала тебе на днях стихи. Письмо получила давно, но жутко замотана. Целую. Наташа

Другой женский почерк изъявлял следующее:

> Где ты, Дима? Насчёт красоты – преувеличение, седина же, как и должно, в бороду. Сейчас переместились ко мне, Славка пьёт виски, я – кока-колу, а Наташка читает. Париж Наташе идёт – очень похорошела и помолодела. Целую. Скоро еду в Данию на море – посмотрю, какая Прибалтика здесь. Маша

Борода здесь была ни при чём, а намекнуть на Прибалтику с её стороны очень мило. И, наконец, Славинский, по-видимому, допив свой виски, написал:

> Мой дорогой! Всё не как в Италии. Рутина. Забытьё. Работа и работа – неинтересно как-то. Кто я? Зачем вы посетили нас, – спрашиваю я Наташу, – в глуши забытого селенья? А всё же какой кайф был увидеть её на постаменте колонны Нельсона, а я внизу на горячем асфальте с магнитофоном, а потом бегом в это серое здание слева от этой элегантной церквушки – это наша с Машкой шарага, отметил крестиком вход. Описано в 84-м как Министерство Истины.

Так он – на Би-би-си! И скоро в гудящем эфире я услышал его говорок с лёгким, но неисправимым киевским отголоском: «Из *Чеасловакии* нам сообщают...»

С ним, значит, всё теперь в порядке!

* * *

Следующими *были* проводы Владимира Аллоя с женой Радой и её сестрой, почти близнецом, но прехорошенькой Эддой. Это были фанаты моего знаменитого недоброжелателя, и пошёл я к ним на Лиговку лишь затем, чтобы сопроводить даму, желавшую не только проститься с Аллоем, но и приветствовать в его лице нового директора парижского YMCA-Press. Да, да, ему ещё до отъезда было обещано это место хозяином и владельцем издательства, что бы он ни писал потом о своих безработных скитаниях в Италии. Сопровождаемая дама, хоть и велела мне молчать, но сама это знала точно, что впоследствии и подтвердилось. Да и Раду, сморгнув десятилетие, видел я в магазине издательства, вполне увлечённую работой с книгами, а вот Эдду, увы, уже не видел, кроме как тогда, на проводах.

Володя, курчавый и быстроглазый, заинтересовался было пришедшими, но тут же пустился в открытую ругать трусливость дипломатов и нерадивость многих, кроме голландского, европейских посольств: мол, смотрите, до чего довели – и это всего за два дня до отъезда! На полу, действительно, стояли короба с наваленными в них магнитофонными кассетами, страницами рукописей, хвостами лент. Это была будущая Антология бардов, которая всё-таки отправится на Запад, и Аллой опубликует её с параллельными текстами (и тучей ошибок), а я попытаюсь развлекать ею студентов в Иллинойсе, но толку от этого путаного издания не будет, одно раздраженье.

Всё ж, кто он такой, откуда взялся и почему так заранее ему раскрыл в Париже свои объятья Никита Струве? Про этого физико-филолога я знал лишь, что он оказывал услуги Иосифу во время пребывания того в ссылке, предоставляя свой телефон для связи с Мариной, когда она вела двойную игру. Услуги эти Жозеф, несомненно, должен был очень ценить. Но неужели он стал настолько всесилен, что по его слову раздаются директорские должности? А связь моего соперника со Струве была очевидна: только что в христианском «Вестнике» была напечатана его, как нарочно, фривольная поэмка. В мрачнейшем настроении я распрощался с будущими парижанами. Неужели я тогда позавидовал уезжающему? Вот чего делать не стоило – особенно, если знать его окончательный фатум. Но кто ж знал?

А между тем готовился в дорогу ещё один противоборец фатума, конец которого мне был особенно горек, потому что я крепко сдружился с ним перед отъездом, – волевой, гордый человек... Яшу Виньковецкого (а это был он) я знал со стародавних времён, когда он захаживал в нашу компанию.

Помню, стоял он у печки в салоне Эры Коробовой и старательно пел сипловатым горняцким голосом «Сероглазую» – мы тогда увлекались китчем, и у каждого был свой номер. Я, например, мелодекламировал «Коричневую пуговку», пионерскую песню тридцатых годов. Вот, приблизительно, и всё тогдашнее общение. Но, встретившись годами позже, мы обнаружили, что прошли во многом одинаковый и, если ещё дозволено употреблять это слово, одинаково духовный путь.

Я прочитал ему «Из глубины», «В груди гудит развал» и «Медитации», он радостно воспринял мой новый стиль, образы и благозвучие. Сам он, по-прежнему оставаясь геологом и учёным, пробовал и дерзал в живописи. Дерзал и даже дерзил: занялся абстракционизмом в пору лютых гонений на это течение. При этом он умудрялся устраивать выставки в самых немыслимых местах, даже в Доме писателя, этом гнезде ретроградов. Но перещеголять своего ментора Евгения Михнова-Войтенко ему не удалось: тот выставился аж в клубе МВД на Полтавской. Однако, у михновских абстрактов мотивы были скорей театральные с балетным изяществом, а Яшины – скорей религиозно-медитативные. Особенно явно это стало, когда он попытался сочетать беспредметность с иконописью!

Можно было назвать его и натурфилософом. Как и меня, его интересовала, казалось бы, непроходимая межа, разделяющая сознание научное и религиозное, и оба мы догадывались, что противоречия здесь мнимы. Но Яков, легко разгрызающий математические загадки астрофизики и космогонии, делал обзор самых смелых научных прозрений и извлекал оттуда неожиданный вывод, подтверждающий сотворение мира Богом. Остроумнейшим способом он отвергал скорость света как константу для всех систем (признавая её лишь для нашей) и делал головокружительное заключение об изменяемости времени, предлагая поверить, что мир действительно мог быть сотворён за семь дней.

Здесь Яков близко подходил к теории времени Николая Козырева, выдающегося астрофизика, затоптанного советской наукой, но воскресшего из лагерной пыли. Освободившись, Козырев открыл вулканы на Луне, атмосферу на Меркурии и выдвинул дерзкую теорию времени, обнаружив его энергетическую природу и нелинейно меняющийся вектор. Незадолго до разговоров с Яковом я побывал на популярно-образовательной лекции Николая Александровича и имел честь быть ему представленным. Зал в Промке был набит. Присутствовала и официальная наука целыми школами. Доводы Козырева были просты и ошеломляющи. На каждом повороте его

могучей мысли вставал с шумом очередной глава школы и, окружённый шестёрками и аспирантами, покидал зал, не забыв хлопнуть дверью.

После лекции я спросил у гениального возмутителя спокойствия:

– Где же источник времён?

Он, взрывчато заглянув мне в зрачки, ответил:

– Вы – знаете.

У Якова, наоборот, были спокойные, даже несколько неподвижные чёрные глаза и заметный шрамик на переносице, будто он когда-то ударился о невидимую преграду, да так и остался в противостоянии с ней. Если это была, по всеохватному выражению Вагрича Бахчаняна, «Великая Берлинская Кремлёвская Китайская Стена Плача», то он ей противостоял образцово. На следствии по делу Марамзина и потом на суде Яков держался крепко, не уступая чекистам «за други своя» ни-ни, даже ради тех доводов, которыми любят оправдываться типичные кандидаты наук: «семья, дети, научная карьера». Более того, он выказал завидную волю и ум, а затем описал свою тактику в статье «Как вести себя на допросах в КГБ» – бесценном пособии для начинающих диссидентов!

Я расспросил о деталях. Особенно интересно было узнать, как он справлялся с пыткой неизвестностью, которой тебя подвергают мучители «по особо важным делам», затягивая ожидание допроса. Он ответил:

– Прежде всего, ты можешь помолиться на свет окна. А можешь и захватить с собой книгу и хотя бы делать вид, что читаешь. Это чекистов обескураживает – они ведь любят, чтоб трепетали. Но я сначала попробовал подойти к ситуации в зрительных образах. Представил себе происходящее в виде чёрной копоти, заполняющей комнату. Затем я определил центр сгущения и сосредоточился на нём. И вся копоть стала сплывать туда, к этому центру. Чтоб её не выпустить, я мысленно обвёл вокруг раму, и темнота в ней осталась. Теперь надо было подобрать краску, чтоб её упразднить. Красную? Розовую? Нет, это была бы ошибка. Я выбрал зелёную: грубую, заборную, и – крест-накрест! – перечеркнул всё это и похерил. И стал читать книгу.

– Это же техника медитации! – восхитился я.

– Надо же! А я и не знал, что тоже могу медитировать.

– А твои абстракты – разве они что-то другое?

– Да, да, конечно, конечно...

Мы оказались одновременно в Москве (Яков оформлял там выездные документы), и он повёл меня знакомиться с гуру –

Евгением Шифферсом. Я много слыхал восклицаний об этом человеке, но очень уж контрастных: армия, венгерские события, театр, кино, богословие...

Чуть-чуть седеющий и чуть лысеющий брюнет-сангвиник, ещё почти молодой, спортивных пропорций, он принял нас, полусидя на ковровой кушетке; мы уселись в полукресла. Квадратная комната, часть небольшой квартиры, была хотя и без шика, но убрана тщательно, чуть не вылизана. Из смежной комнаты вышла хозяйка, вынесла чай. По виду – актриса, оставившая сцену ради семьи и счастливая этой жертвой.

Шифферс, в момент разгорячась и часто меняя позы, расспрашивал Якова о выставочных и отъездных перипетиях, затем перешёл на более общие темы и вдруг заинтриговал меня – чем бы вы думали? – знаками препинания. К Яшиному удовольствию, мы с Шифферсом, будто два Акакия Акакиевича, обсмаковали их все, отметив беспомощность, но и задумчивость многоточия, вальяжную эпичность точки с запятой, размашистую жестикуляцию тире и, наконец, сошлись в симпатиях к двоеточию – мистическому, метафизическому знаку пунктуации, уводящему вбок, за пределы листа, в иные измерения... Нетрудно догадаться, что разговор тогда шёл о появившейся моде писать стихи без каких-либо знаков препинания, моде сомнительной, обедняющей тексты, обделяющей их диетически, обрекающей даже хорошие строки на бесцветное, безынтонационное голодание.

Но меня самого изнуряли другие нерешённые вопросы. Можно ли и этично ли будет в стихах совместить христианскую архаику с новофилософской мыслью? А с динамически закрученной формой? Как сделать стихи эти вестью сегодняшней, но при этом благой и вечной?

– Тебе обязательно нужно повидаться с одним человеком, – сказал Яков. – Освободи завтрашний день, и давай-ка встретимся как можно раньше на Ярославском вокзале. Например, в семь. Сможешь?

Я-то смог, а Яков запаздывал, заставив меня изрядно переволноваться – без него мне б не найти дороги, и весь день превратился бы в бессмысленно лопнувший мыльный пузырь. Но вот и он, и предстоящий день тут же стал наполняться праведным содержанием! Этот путь до Пушкино и к Новой Деревне помнят и сейчас многие из тогдашней московской фронды, ринувшейся, подобно мне, подобно Якову, в православие. Я встречал потом самых неожиданных людей, оказывавшихся или считавших себя духовными чадами и прихожанами отца Александра Меня.

Чтобы не слишком повторять чужие описания, скажу лишь о главных его чертах, оставшихся в моей памяти. Первое – это его

христоподобие, присущее, впрочем, любому священнику. Но ему – особенно, и не столько из-за благообразия его лица и всего облика, сколько из-за чудных, как бы источающих свет, одухотворённых глаз. Будь я дамой или каким-нибудь голубым, я бы в это глаза обязательно влюбился. И – влюблялись, и ездили к нему из диссидентски-интеллигентской Москвы целыми стаями.

Когда мы с Яковом вошли в храм, служба уже началась. Отец Александр, увидев нас, принял исповеди во время предваряющих чтений, а затем, благословляя после причастия, предложил подождать его в крестильном флигеле. Там уже находилось несколько человек. После литургии отец Александр с каждым из нас отдельно беседовал, и люди уходили от него с облегчением, как от врачевателя.

Когда я изложил ему суть моих вопрошаний, он сказал, что тема нуждается в отдельном разговоре, и предложил мне сопроводить его в деревню, куда он зван был на совершение требы.

– А по пути и поговорим...

И мы пошли втроём по заснеженной дорожке сначала по полю, а затем вдоль палисадников Новой Деревни. Среди поля мне пришлось остановиться, чтобы по его просьбе прочитать стихи, о которых шла речь. Сначала – короткое стихотвореньице о голубизне, пронизываемой взглядом, и другое – о самом взгляде, медитативно направленном внутрь. Второе было длиннее, и мне вдруг почудилось нетерпение моего слушателя, торопящегося к ожидающей его бабке. Я оборвал чтение, сказав на манер Хлебникова:

– Ну и так далее...

Увы, он не попросил продолжить и тут же зашагал дальше, подтверждая мою догадку. «А может, он просто не врубился», – предположил позднее Яков, который эти стихи чуть не обожал. Ну не попросил и не попросил, зато сказал следующее:

– Вы ведь веруете?

– Верую.

– Вот и всё. Больше ничего и не нужно. Пишите как пишется.

И у меня – гора с плеч. И я уже в восторге от такой простоты ответа на мои надуманные мучения, на досадные и ненужные споры. Эти «Медитации», дописав к ним третью часть, я посвятил позднее ему. А когда мы пришли к бабке, меня восхитила другая черта отца Александра. Вот он только что распутывал философские недоумения двух интеллектуалов – художника и стихотворца, и тут же, с такой же равной готовностью пустился освящать у деревенской бабы свинарник.

Когда мы выходили, выпив по рюмке водки и отведав с

утренней голодухи бабкиного холодца, Мень объяснил:

– У неё 12 рублей пенсия. Вся надежда – вырастить кабанчика на продажу. Да вот беда – двое уже околели. Всем миром собрали ей на третьего. Чтоб сохранить его, прибегли к последнему средству – святой воде и молитве.

И вдруг пронеслись-пролетели весьма крупные величины и категории: континенты, океаны, государства, клочья каких-то газет и, конечно же, годы. И даже жизни. Якова уже нет. Как когда-то в Новой Деревне, мы идём с отцом Александром по белой тропе, только это не снег, а битый мрамор, которым вымощена дорожка. Вокруг ярко зеленеет трава, цветут рододендроны, почти чернеют кипарисы на фоне белых стен и небесной голубизны. Мы во внутреннем саду католического монастыря в Баварии на Штарнбергерзее, куда отец Александр прибыл на экуменическую конференцию, а я, оказавшись поблизости в Мюнхене, приехал, чтобы повидаться с ним. Неправдоподобно и величаво, оба в светлых одеждах, мы выходим на бельведер с видом на огромное озеро, испещряемое парусами и моторками; лёгкие облака плывут над нами. Он сам такой же, лишь локоны вокруг его прекрасного лица побелели. Я предлагаю вспомнить (а подразумеваю – молитвенно помянуть) бедного Якова.

– Яшку-то? – неожиданно переспрашивает он о погибшем. – А что всё-таки с ним произошло?

– Ну, там много было причин: депрессия, творческий кризис. Но на самом низком, материальном уровне вот что. Он ведь работал в «Экссоне» и устроил туда свою Дину, жену, а «Экссон» – это же нефтяной гигант, акула капитализма. Но акула поощряла благотворительность. Если кто-то из сотрудников жертвовал на культуру или на церковь, то от акулы шло туда столько же. Например, Яков таким образом профинансировал книгу Анри Волохонского.

– А как на нём это сказалось?

– Сказалось не это, а то, что он так же профинансировал книжку Дины, жены. Но это уже не было, строго говоря, благотворительностью, поскольку книга-то продавалась, и какие-то деньги возвращались: если не самому дарителю, то к нему в дом. Об этом в «Экссон» кто-то направил донос, и их обоих уволили. Тут и разразилась трагедия.

Не помню, удалось ли мне рассказать эту грустную историю до финала, но отца Александра вдруг позвали. Наскоро благословив меня, он вернулся к библейскому семинару.

А через два месяца кто-то страшно зарубил его на выходе из дома, вонзив топор в затылок. Слухи ходили самые дикие: винили

власти, ГБ, даже патриархию. Но убийца так и не был найден.

ХУДОЖНИКИ

Яков Виньковецкий, будучи сам художником, хотя и не профессионалом, познакомил меня с ещё двумя – не просто профессионалами, но чемпионами, богатырями своего дела, которые, несмотря на своё сверхмастерство и чемпионство, так и не стали ни успешными, ни сколько-нибудь знаменитыми. Это Игорь Тюльпанов и Михаил Шварцман, по манере, по опыту, по всему – две полных противоположности друг другу. Что ж, в этих заметках они получат полную меру признания их талантов. Но сначала – о моих собственных отношениях с этим искусством и с изобразительностью вообще.

В соседнем доме на Таврической, том самом, увенчанном башней Вячеслава Иванова, находилось с ещё школьных моих времён Художественное училище имени Сурикова, и мазилок с этюдниками шныряло туда-сюда мимо нашего дома немало. Но то, что они таскали с собой на подрамниках и картонах, было неописуемо.

Стал туда хаживать Костя, мой брат, и у него получалось, на мой взгляд, свежо, но дальше этого дело не пошло, и занялся он фотографией. Виктор Павлов, мой одноклассник по 157-й школе, как-то между уроками проговорился, что он рисует и даже пишет маслом. Я побывал у него на последнем этаже высокого дома чуть не впритык рядом со Смольным и даже загляделся на его живописный пейзажик, в головокружительном ракурсе изображающий скверик внизу. Но автор пейзажа сделался впоследствии реставратором и лишь с годами дослужился до главхудожника Эрмитажа.

Да в конце-то концов и сестра моя Таня вышла ведь замуж за художника-монументалиста Олега Марушкина, прошу любить и жаловать: зять.

* * *

В раннюю пору студенчества Галя Рубинштейн (по дружескому и весьма американизированному прозвищу Галя Руби), не то чтоб «открывшая мне мир симфонической музыки», но действительно нередко таскавшая меня с собой в филармонию, сделала ещё один галактического размаха подарок: третий этаж Зимнего дворца. Там, вопреки партийно-начальственному брюзжанию, были вывешены французские импрессионисты. А позднее – и постимпрессионисты, и даже

кубисты! Галя, оказывается, занималась в эрмитажном кружке у Антонины Изергиной, которая и сотворила этот подвиг. Вот где промывались все донные колбочки-палочки глаз – чуть ли не лечебная процедура и визуальное пиршество одновременно. Бывал я там бессчётно впоследствии, благодарно любуясь Марке, Дереном, и, конечно же, Манэ и Ренуаром, зрительно празднуя то Матисса, то Вламинка, то Брака и Пикассо. Всё иное казалось – фуфло.

А вот ещё подлинное и своё: в заскорузлом соцреалистическом ЛОСХе открылась краткая выставка Павла Кузнецова, и сам художник, вполне чета Матиссу, с виду маленький, кругленький, лысенький, седенький пожаловал на вернисаж. Его узнали, и малая толпа посетителей, среди которых были мы с Рейном, почтительно окружила его. Он мигом вычислил ситуацию и сказал самое главное, как швырнул горсть зерна в гипотетическую почву: «Художник, он что? Он должен, к примеру, идти по улице и замечать: вот жёлтенькое, синенькое, зелёненькое, красненькое... И – радоваться!» Ну чем не манифест?

В ту же примерно пору загремело имя Ильи Глазунова со скандальной начальственной бранью, и оттого сразу ушки у всех сделались на макушке: что-то, значит, в нём есть! Рейн пошёл в Академию с ним знакомиться, взял меня для поддержки. Илья, красивый парень, чем-то похожий на Брюллова, чуть шепелявя маленьким ртом, жаловался на администрацию: зажимают!

– Я для диплома вот какую вещь задумал – «Дороги войны». А комиссия на предвариловке забраковала. Мол, откуда я взялся, чтоб такую тему и в таком формате решать? А я ж – блокадник, я сам пацаном по этим дорогам прошёл!

Его мастерская была ограничена свисающими полотнищами в громадном Тицановском зале, где имелось ещё несколько таких же временных выгородок для дипломантов. Незаконченная картина, на которую указывал Глазунов, непомерно высилась, вылезая поверх полотнищ, и была, при всём своём соцреализме, довольно-таки ужасна.

Художник, которого поджимали сроки, теперь бурно работал над новой картиной на тему колхозной деревни и в более скромном формате: «Рождение телёнка». Изображён был хлев, освещённый скрытым источником света, склонившиеся над лежащей коровою ветеринары и животноводы и в центре – новорожденный. Телёнок, конечно.

Позднее мы узнали, что мстительные профессора обозвали картину «Рождеством телёнка» и влепили дипломанту трояк. Но не на такого они напали: Глазунов закрутил карьерную интригу всерьёз и на десятилетия вперёд. Он перебрался в Москву и, живя

сначала по иностранным посольствам, стал рисовать портреты жён дипломатов – с изрядным мастерством и изрядной же лестью, и дело пошло при бешеной зависти официозных коллег. Но и художник наш для равновесия софициозничал: съездил во Вьетнам и привёз серию зарисовок героических и слегка узкоглазых бойцов. Слегка! Это был такой творческий приём – художник сознательно расширял своим моделям глаза, чтоб они выглядели одухотворённее.

Я навестил Глазунова в его московской квартире, всё ещё видя в нём ущемляемого артиста. Но это было уже далеко не так. Мебель в гостиной, где он со мной разговаривал, была как в средневековом тереме, всюду стояли ларцы, складни, чаши. Сам художник был современен и элегантен в светлом двубортном костюме при шёлковом галстуке и платочке, готовясь идти на какой-то приём.

– Новые картины? Есть, конечно. Но мастерская у меня в другом месте, показать сейчас не могу.

Тяжёлые доски старинно золотились со стен. Распятия, древние лики... Разлучённый с иконой, в проёме отдельно мерцал серебром кованый оклад.

– Как живу? Да ничего. Вот только что съездил в Италию, писал там Джину Лоллобриджиду.

Я чуть не свалился с неудобного дубового стула. Не стал расспрашивать о подробностях – зачем? Для меня это уже были бы новости из какого-нибудь созвездия Центавра.

– Ну, не буду мешать. Я пошёл.

В той же Москве, где стремительно восходила в зенит карьера одного художника, примерно тогда же закатывалась в сырой подвалец на Соколе звезда другого – причудливого искусника и скульптора Эрьзи. Он уже побывал в других экзотических галактиках, ещё более удалённых от нас. Правда, сначала была родная Мордовия и опять же Москва, а затем уже головокружительные дали: Париж, Аргентина, дебри амазонских джунглей, где находил он себе чудовищные наросты на деревьях особых пород и, угадывая, вызволял из них спрятанные образы: кудлато-брадатого Льва Толстого, как бы двурогого Моисея, львиногривого Бетховена. Квебрахо – так назывался материал. Или – кебрачо – в написании того советского дипломато-шпиона, который «разрабатывал» Степана Дмитриевича Нефёдова, – таково было настоящее имя скульптора. Беднягу обманывали много раз, заманивали в дальние страны, при этом лишая его драгоценных скульптур, и вот в последний раз заманили обратно, наобещав сорок бочек арестантов и разбитое корыто в придачу. И ни выставок, ни кинохроник, ни мастерской – только вот этот

подвалец.

Меня привёл туда вездесущий и разнообразно осведомленный Рейн, которому самому не терпелось познакомиться с этим чудом заморским. Сухонький старичок с нелепыми усами кобзаря стал горько сетовать нам, явно ничем ему не могущим помочь:

– Материал дорогой в сырости пропадает. Сушить нельзя – трещинами пойдёт. Я ж целый пароход его понавёз, а работать негде.

– А выставки? Выставки? – спрашивал Рейн.

– На одной экзотике здесь не проедешь. Леду с лебедем не выставишь – эротично. Ну, Толстой, ну, Бетховен. А Моисей уже не годится – религиозная тематика. И техника у меня, видите ли, неправильная. Я ведь фрезами и бормашиной работаю, а не резцом. Но главное – где Ленин? Где мой Ленин, я спрашиваю!

Он показывал на крупную фотографию, прикреплённую на стене. Действительно, Ленин. И, если за скобки вывести всю пропаганду, с этим именем связанную, то получится очень сильный и необычный образ, созданный из того же квебрахо. Наверное, лучший из всех! А мастер горевал:

– Я его ещё до приезда сюда в дар послал, в музей Ленина. А приехал – в музее говорят: мы, мол, ничего не получали. Как же так? Где мой Ленин, я спрашиваю?

И он в огорчении удалился в смежную конторку. У меня была с собой широкоплёночная камера «Любитель», и я наснимал груды то шершавых, то гладких и экстатически изогнутых форм. Кое-что у меня получилось.

ИЕРАТ

Здесь придётся мне вновь перенести читателя из эпохи в эпоху, но теперь, после знакомства с козыревской теорией времени, это будет не так сложно. Помните? Виньковецкий жив и, более того, он ещё не уехал. Мы долго, с двумя пересадками и электричкой пробираемся по расползшейся Московии. Останавливаемся у киоска, пока ждём троллейбуса, чтобы доехать до 3-й Кабельной.

– Мастер любит слатенькое, – говорит Яша, покупая в «Кулинарии» тортик.

Мастер – Михаил Матвеевич Шварцман, иератический художник (что бы это ни означало), негласный авторитет и глава катакомбного религиозного искусства, которого просто не может быть в Советском Союзе. Но оно есть. К тому же он, и это не случайно, потомок, а именно – внучатый племянник философа Льва Шестова, перед которым преклоняемся и которого превозносим мы с Яковом.

Ласточкой промчи, перо,
мимо страшного зеро,
мимо яблочка пустого,
мимо бездны Льва Шестова.
– Надо нам пройти сквозь нуль, —
так он мысль свою загнул. —
Надо, чтобы свет забрезжил,
тьмы побольше, побезбрежней...

Так воскликнул поэт, и подтвердил Заратустра. Или: сквозь мрак неверия к свету горних истин, – как утверждал философ, по сути дела – примерно то же, что и вячеслав-ивановское *Ad aspera per astra.* Но во мрак мы пока не хотим, и внутрь терновых нулей нас тоже не тянет. А ведь именно это, хоть и в злобно-пародийном виде, и осуществилось в Расеюшке, стране нашей. Или – не нашей? Чья она там?

Вот и мастер – курчаво седеющий бородач, широкоплечий приземистый богатырь с просторным лбом и выпуклыми карими очами. Он слывёт нелюдимом, живёт в затворничестве с супругой Ириной Александровной, которая держится скромнейше при нём, небожителе. Принимают они далеко не всех, и даже Яков, с ним прежде знакомый, волновался о встрече. Но она, можно сказать, более чем состоялась.

Михаил Матвеевич был из говорливых художников, и очень скоро наши диалоги превратились в его доверительный монолог о священно-знаковом, эмблематическом (а он называл его «иератическом») искусстве. Само это слово уводило в загадочную древность, в сакральные письмена на папирусах и базальтах, повествующих о запредельных гностических тайнах. Но сами «иературы» глядели со стен тесной комнаты в глубоком, исполненном мирною мощью молчании. Их лишь отчасти выявленные лики напоминали иконы, да ими отчасти и были, выполненные глубокими матовыми тонами на досках с левкасом и уж, конечно, с молитвенной истовостью. Необыкновенным, но органическим образом иконопись сочеталась в них с авангардным – может быть, пост-кубистическим рисунком.

Это было, как если бы, например, Пабло Пикассо обратился в христианство, бросил бы вдруг свой кричащий эпатаж (заодно с коммунизмом) и, вместо полутораглазых раскоряк, стал изображать бы погружённых в божественное созерцание святых. Да нет, куда там, тот обуян был самоизвержением, а богатырский наш Михаил Матвеевич, наоборот, самоустранялся перед являемой через него духовностью, был лишь пером и кистью, записывающими её эмблемы и знаки.

Они были различимы и зрителю, учёному грамоте, допущенному до них: вот в этом образе сосредоточенной мощи угадывался Илья-пророк, там в мирной строгости и силе узнавалась Параскева Пятница, а здесь на грани спасительного чуда – Никола Морской.

* * *

Я молчаливо признал за Михаилом Матвеевичем высоченную степень в духовной иерархии, не унижая, однако, и себя, и взаимно был признан. Я прочитал ему те же две части «Медитаций», что и отцу Александру, но полностью, не обрывая чтения, и получил сочувственную оценку. Вернувшись из Москвы, я написал Шварцману письмо, в котором подытожил мои впечатления от его работ, и вскоре пришёл от него ответ, написанный ясным и косо летучим, без нажима, почерком. Завязалась переписка. Я посылал ему новые стихи, он отзывался на них, порой критикуя, но и это я принимал как честь. Рассказывал, размышлял. Изредка внутри писем делал наброски. У меня сохранился черновик только одного моего письма, первого, его ответ и дальнейшие письма от него. Всё это с краткими пояснениями я привожу ниже. Вот моё первое послание:

9 января 1975 г.

Михаил Матвеевич!

Уже в который раз я перебираю в памяти линии, слова, цвета, – все впечатления незабываемого вечера на станции «Новая». Воспоминания складываются в знаки и эмблемы, в них проступают черты возвышенного опыта, проясняются свойства души, поместившей себя на самый кончик кисти, на самое остриё отважно бегущего пера. Какой риск! Но как явны признаки удачи! Яков был прав – несмотря на обилие увиденных работ, я, кажется, помню их во всех неотделимых от целого подробностях, – во всяком случае, смогу узнать и вспомнить их разом в первый же миг нового общения.

Но, впрочем, и сейчас действие первых впечатлений не прервано: я чувствую в себе мудрое мерцание поверхностей, которые представляются мне зримыми знаками, видимыми личинами невидимых, но живых объёмов. Я и сейчас ощущаю влияние глубокого тёмно-прозрачного цвета и знаю, чувствую, воспринимаю его как обозначение света, проницающего зрение, будто бы сквозь толщи цветного стекла.

Не стану скрывать, – помимо чувства новизны и силы, сомнения двоякого рода мешали мне тогда высказаться... Вот они: нет ли здесь своеволия, демонизма? И почему столь неявна красота, неотделимая, казалось бы, от созерцания идеальных сущностей? В течение месяца после встречи, вспоминая Вас, размышляя о Вашем искусстве, я не раз возвращался на круги этих сомнений, и постепенно стало проясняться вот что: первым залогом того, что это не демонизм, являетесь Вы сами, Ваш спокойный и, если хотите, добродушно-богатырский облик, не вызывающий, к счастью, ассоциаций с оккультизмом, магией, волхвованием и т. д.

Успокаивает на этот счёт и тихое, но явное веяние молитвы в Вашем доме, простота и непретенциозность обстановки, множество чистых и непритязательных примет труда. Да и сами вещи (произведения), почти полностью погружённые в задумчивое бытие самосуществования, в созерцание своей исполненности, хотя и не отрицают наблюдателя (так же, как и автора), но, кажется, уже и не нуждаются в них, а лишь тёмно-прозрачными намёками дают понять о достигнутой ими вне-трагедийности, вневременности, счастья. И вправду,

агрессивная полупросветлённость (что, видимо, и есть демонизм) в них преодолена, пошла на материал, на дальнейшее преображение; может быть даже, что этот процесс преодоления, пресуществления, подобный созреванию плода, свидетельствует наблюдателю о зарождении таинственной, как бы внутриутробной жизни. Ведь иначе незримое не было бы зримо.

Итак, демонизм – лишь упорство постепенно поддающейся творческому акту материи, последнее упрямство преображаемого вещества, и художник, умащивая левкасом доску, – этот почти живой, дремлющий в полуобмороке деревянной смерти материал, – побуждает её погрузиться в иной сон, в успение духовного созревания.

При этом – чем была бы пластическая красота? – только фальшью, победою материала над податливым художником, вещества над существом, материи над духом. Красота, выдаваемая как результат творчества, – это, конечно, верх артистизма, но и всего лишь иллюзия, видимость. «Красивое – это уже не красота», как сказал, кажется, Матисс и, похоже, он был прав. Но красота глубоко и тайно созревающая, творимая и творящаяся, – вот что проступает из Ваших творений. Но, чтобы её увидеть, необходимо поверить Вам. Я – поверил.

Ваш Д. Б.

Вскоре от Шварцмана пришло ответное послание:

25 января, год 1975, Москва

Мир Вам, Дмитрий.

Письмо Ваше получил. Оно прекрасно. Вы поверили мне, за то спасибо, но что здесь я? – лишь знаменую. Понимаю двойственность восприятия Вашего. Такие сомнения и в Евангелии изъявлены: чудеса самого (!) Христа Божьего, видя явными знамения Духа Святого, страшась (без опыта встречи), принимали за дела князя бесовского: – Силою де князя тьмы изгоняются беси.

А касаемо т. наз. «красоты» думается, что воспитание наше, хоть и плохо повсеместно, «гуманистическими» установками того более ухудшено, ибо снято откровение Богопознания и верят только опыту-разуму нащупи, а красоте – телесной. Таким образом, и лучшие умы России прельщались Возрожденным эллинизмом. Сикстинский шоколадный набор, телесная сладость (на своём, впрочем, месте вещь

прекрасная) принималась за предельное горнее, экзальтация – за мистическое, красивость – за красоту. По-своему даже артистическая интуиция это чует – Вы правы.

Но не здесь Высшая Реальность. Знамения её не в латинских чувственных актах. Они, знамения эти, даны в иконах и др. явлениях высокой формы, они оставлены нами самим себе в прошлых воплощениях наших, прочтения ради, присного умного делания для.

Здесь свой есть критерий прекрасного. Прекрасное – результат оплотнения Духа. Он явлен как знак духовной иерархии. Слово «эмблема» будет не точно, ибо само понятие это подразумевает атрибутивную сферу, (чужеродную), годную для магов, масонов и пр. Вы и сами отметили: этого нет.

Ножево мелькнувшее слово «личина» и вовсе страшно, не только что неточностью, но прямым противополаганием-противосмыслием: личина прикрывает сущность, она-то и есть демоническое и т. д. и т. д. (об этом хорошо писано отцом Павлом Флоренским). Суть же моего дела – открыть феноменом знака выход Духу, просыпаться-проснуться в нумен.

И не то, что надобно (для сего) веровать.

Верую.

«И видится прозрачный взлёт
в бесчисленные полосы высот,
в зенит, к живым высотам,
туда, в лазурь, блаженную, как мёд,
где мысль медовая свеченье льёт
и льнёт к небесным сотам».

Ваш М. Шварцман

В конце письма он процитировал строфу из первой части «Медитаций», и я, не скрывая, радовался совпадению в основных чувствованиях и устремлениях с таким мастером и мыслителем, и радостью этой делился. Когда написалась третья часть «Медитаций», цикл оказался закончен, и я тут же отослал его Шварцману вместе с самиздатовским сборничком, распечатанным Галей Руби. Он в ответном письме перешёл на ласковое обращение:

Милый Митя.

Письмо Ваше получил, стихам рад. Третья часть «Медитаций» так же выведена отменно, как и первые две. Скажу лишь о взаимозаёмных ленгор-окоёмах в тени

ходовых средостений, пусть даже обойдённых (на сей раз) каёмкой, что они (на мой взгляд) не совсем медитативны. На сём, впрочем, не стою. Но стою вот на чём: выспренний набор прорыва не знаменует. В сборнике Вашем есть прекрасные стихи, и я решился, не спросясь, дать его посмотреть хорошим людям – любителям словесности и знатокам. Все хвалят, даже лингвисты.

Тут был питерский большой поэтический заезд, и домашние мои сказывали, что звонили. Я был в мастерской, где торчу с утра до ночи, никого не видел и стихов новых не читывал. Кривулин, однако, нашёл меня и привёз к нам Лену Шварц с пуделем и сопровождающим рыжим филологом. Рыжий в стиле иронического поклонника. Все были (а пудель особенно) – элегантны. Лена, легенде вопреки, нежна, казалась взволнованной и вся эдак несколько невпопад. Словом – лучше легенды и мила, прочитала два хороших стиха. Кривулин очень угощал. Он Вас хвалит, но не за «Медитации». Побыли гости у нас часа полтора.

С трудом собрался написать Вам: сейчас всё хвораю да работаю. Как хорошо получать письма и как трудно отвечать. Вы уж не взыщите за не столь полный ответ – весна и свет, и дело.

Спасибо за письмо и память. Вы, Слава Богу, нам пришлись во всём. Привет примите и от жены моей.

Весь Ваш М. Шварцман

Апрель, 7 день. Благовещение

Москва, г. от Р. Х. 1975

Такое письмо получить было куда как лестно, но меня всё же задело, как он едко (и метко) спародировал мои словесные изыски там, где был у меня, наверное, и в самом деле лексический перехлёст. Я, впрочем, написал ему, что это для меня не беда, а некоторая (и, возможно, кажущаяся) выспренность происходит от воспарённости строчащего пера. Он ответил:

21 дня мая, г. от Р. Х. 1975

Милый Митя.

Не беда, действительно что не «беда», что Вы решили, что мне не понравилась 3-я часть «Медитаций». Важно то, что я действительно почувствовал Вас «на границе разумения», а посему и позволил себе два слова сериозных, хотя и наспех и в щели между дневной и ночной мастерскими. Я не против выспренних (лексик) и

не за них. Выспренность не реабилитировать (лишь) надобно: свидетельство о Духе Св. само рождает высокую метаморфозу.

Преображение в свидетельском акте преображает и ткань. В актах завета творцы завета, восприемники Благовестия не задавались ни «Высоким штилем» как таковым, ни (тем более) художественностью. Выбора не было – они были свободны. Дух оплотневал высшей красотою. Феномен знака Духа неизъяснимо прекрасен, потому высок, высок – потому прекрасен. Не имитирует взлёт – потому взлёт, ибо до превыспренних. А что до «средостений», то они ни в чём воистину неповинны. Читать ответ мой (и на сей раз) можно в щелях меж дел. Я просто против ходовых и не медитативных взаимозаёмов питерских, они (эти заёмы) литературны только, и только наборно-словарны. Я не за записную лексику, изготовленную в актуальном, осознанном самозаказе. Кто зван, у того нет выбора – тот свободен. Не наваливаюсь на неповинные слова и, грешным делом, не очень верю, что Вы меня поняли именно таковым образом – если только уж совсем в обрез было времени.

Эсхатология ныне не менее Библейской, «чудище обло», облыжны словесны личины и лексик и лекций partaiных

(так в письме. – *Д. Б.*) геносных-поносных, на выбор мало надежд. А надежда есть – перед нами вечность – живём на радиоактивном фоне – куда спешить – знай люби, прямо Дантова лава... (а пузыри на ней, матушки!)

Приятно было получить Ваше кроткое письмо, жаль ответ задержал: некогда, Вы уж простите – прямо набело (то бишь, увы, начерно). Христос в вами, милый Митя, тяжко Вам с батюшкой Вашим, тут ещё куда ни кинь – всё клин, либо на параллелизмах не сойдёшься, либо кривизн не выправишь, грех да только.

Христос с Вами!

Привет от Ирины.

Ваш Шварцман

P. S. Приезжайте-ка лучше в гости.

Это письмо было, действительно, написано вдоль и поперёк на листке с наброском геральдического щитка и играющих собак – по виду афганских борзых. А приглашением я воспользовался в следующем году, но прежде получил от Михаила Матвеевича

открытку с перуджиновской Мадонной и его собственное благословение:

Год от Р. Хр. 1976, Москва
С Рождеством Христовым, дорогой Митя!
Да будет на Вас и свершениях Ваших Благодать г-да Бога нашего. Аминь.
М. Шварцман

Я съездил в Москву, остановился у своих на Соколе и, договорившись со Шварцманами, отправился к ним чуть не на целый день, если считать долгую езду к ним и обратно. Знакомые лики на стенах тихо созерцали сакральные тайны, создавая атмосферу намоленности, как в часовне, и в то же время давали понять, что я здесь не чужд, я – свой. Хозяева приняли радушно. Я привёз что-то к чаю, а Ирина Александровна неожиданно выставила маленькую водки с закуской, и мы с мастером опрокинули по рюмочке за плавающих и путешествующих, то есть за друзей, отбывших за пределы, и осталось мне ещё на одну – за недугующих и пленённых, а вообще – за их здоровье. Но, конечно, ещё до застолья Михаил Матвеевич щедро показал мне свои работы.

Он уже не писал авангардные лики – скорей орнаментальные и даже конструктивные мотивы появились в его композициях. Но таинственность, истовость их стала ещё глубже. Похоже было на то, что если раньше Шварцман писал пророков и святых, то теперь это были медитации в цвете о Силах и Престолах, то есть о более высоком ангельском чине. Я даже увидел там зрительные элементы метамеханики, надмирно движущей временами и судьбами, и подивился запредельной высоте его духа.

Показал он и множество рисунков, даже оставил меня на какое-то время одного перебирать слои листов с графическими фантазиями – это были причудливо-изящные зооморфные, вообще биологические и растительные композиции, где непрерывной и точно изгибающейся линией одна идея возникала из другой и переходила в третью, в четвёртую, и так далее. Что это изображало – шевеления в листве Древа жизни?

Я возмечтал тогда о книге стихов, которые были бы достойны таких иллюстраций. Оставалось их написать. И я задумал композицию о сегодняшнем переживании страстей Христовых – о том, что значат они для меня, болят ли те раны во мне теперешнем, включающем тех, кого я люблю, кто стоит в мире так близко, что я чувствую их тепло и слышу их дыхание, то есть во мне и в том, что моё. И каковы эти раны для Него, пригвождаемого, каково Ему быть казнимым тогда, сейчас и

всегда, потому что существует Он и во временах, и в вечности. Вот это сопереживание в настоящем для него времени показал своими стигматами святой и кроткий Франциск из Ассизи.

А сейчас разве не больно? И как вовремя, будто сама (спасибо за это Олегу Охапкину) прыгнула мне в руки самиздатовская брошюра с материалами о Туринской плащанице! Тогда это была обжигающая сенсация, которую впоследствии «разоблачили», так нигде и не объяснив, беспристрастные исследователи. Да чудо ведь и необъяснимо. Между тем эти материалы были не только о погребальных пеленах Иисуса, но и о самой казни, сообщая такие факты и детали, такие анатомические, медицинские и даже химические подробности, от которых при чтении волосы вставали дыбом и чуть не рвались собственные нервы.

Как выразить это в целостном единстве с благословляющим Крестным знамением, да ещё и в стихах, да ещё и современными образными средствами? И каков риск, – ведь есть даже запрет на эти попытки, если вспомнить былые диспуты с Красовицким и недавние – с Найманом. Мол, грех, да и только! Да, иконописи в стихах пока не существует, но есть же державинская ода «Бог». А то, что делает сейчас в красках Михаил Шварцман, это ли не пример, это ли не духовный подвиг мастерства и смирения? И – разве отец Александр Мень не дал на то мне благословения? Консерваторы с ним не посчитаются – пусть. Но у меня оказался (опять же своевременно и своечасно) могущественный заступник, безусловный для всех – святитель Димитрий Ростовский, который даже именем покровительствовал надо мной. В своих «Поучениях» он как будто прямо мне диктовал:

«Поучимся у пяти ран Господних любить праведных и миловать грешных. Станем на праведный путь и оставим пути злые… У раны сердца поучимся любить не только друзей, но и врагов… Но не оставим и прочих всех гроздей той лозы, не пренебрежём и прочими ранами на теле Господнем. Святой Фома осязал их вещественно, мы же должны осязать их духовно, внедривши ум в язвы Христовы. О пресладкие язвы ручные! Поклоняемся вам благодарственным поклонением и простираем к вам руки наши, дабы ущедрили нас. Не мы ли виноваты в уязвлении ног Христовых, ходящие всегда путями беззакония и неправды, путей же Господних не знающие… О пречистые ноги Господни! Поклоняемся вам, лобызаем вас и ваши язвы гвоздиные, лобызаем же сердцем и устами. Господь позволил людям ранить Своё сердце, изволил принять внутрь сердца Своего холодное железо, рёбра открыл, как дверь, сердце же, прияв рану, стало как открытое оконце… Вот открыта уже эта дверь: всякий желающий пусть войдёт в неё и пажить обрящет».

И я стал бурно сочинять иконную, как я хотел бы верить, композицию под названьем «Стигматы», которая должна была состоять из пяти частей. Когда были готовы две, вторую из них, с визуальными знаками в тексте, я посвятил Михаилу Шварцману и не утерпел, сразу послал написанное по почте. Не дождавшись от него письма, через некоторое время дослал и третью часть, в терцинах, посвящённую на этот раз (прозорливо и целомудренно) сердцу Галины Рубинштейн. Видимо, он посчитал, что это – поэма, и она закончена. Последовал его неоднозначный, как бы двухголосый ответ, написанный разными чернилами и явно не за один присест:

Москва, января 29 дня, год от Р. Хр. 1977.

Дорогой Митя.

Рад был Вашему письму, поздравлению и в особенности стихам (3-й части триптиха), которые уж никому, но самому сердцу посвящены. Спешу сказать (вот те и спешу: всё начало года проболел, к тому же, как всегда, прокомякался с ответом).

Так вот. Мне нравится Ваше Сердце, и близки Вы благочестием побуждения. Язык от коммунальных плазм очищен, «выкресав жизнь» мастерством. Рифмы, как аркбутаны, почти и надобности в них нет. Преодолеть бы и их. Рифма, впрочем, привычное зло. Фонетика! кто? слышит ангела этой стихии! Где царствуют чистые знаки, там нет экспрессий. Слава Богу!

Вот главное, что хотелось бы сказать и это элегантно (можно было бы) заключить подписью. При всём том, прошу прощения, несколько слов о гигиене смыслов. Например: святость не «горкнет», а если так, как быть с пригорком? Метафора «горклая святость» – сарказм горький, на Ваших высотах едва ли уместный. «Музыки мускул»... в начальном мусикийском «му» привычно не ново, зато акмеистически гладко. Затем же звук скулит.

«Спазм гладкой мускулатуры», – сказал бы медик. Опять не для Ваших высот. Этакая чувствилизация мистического. «Феноменолизация», – сказал бы философ. Неверный логосмысл режет и фонетически. В слоях фонем сквозные смыслы и цепи ассоциаций.

А мы ведь «грех вещества вымываем». Что делать прикажете с «заплаканным демоном»? Так и выходит: – не цельны, не твёрды младшие – или уж чистый «дыр бул щил», на который предыдущие поколения надеялись, либо чистота мистосмысла и никакой эстетической

ностальгии. О! БОЖЕ! Верно ли будет сводить неофитски приближенные литургические знаки-слова в литургическом акте, не сушит ли это плоды? (Тут мастер перешёл с синих на красные чернила и, видимо, взъярился. – Д. Б.)

Не говорите только, что не в своё-де лезу, ...моё-де мазать, однако и не сказать, что думаю, как-то не самопростительно.

А делясь, скажу и не о Вас, но обо всех нас: предельный изыск формы – мифу помеха. Свидетельство о Духе Св. творится с варварским доливом – дичью. Если не так – идёт свидетельство о стиле, рождается т<ак> с<казать> перевод Библии на латынь и называется «Вульгата». Так и свидетельство икон и мышление иконическое варварскими ордами выкрещивалось, крестя и старую элладскую, и римскую форму:

Ясен, звучит осиянно
дикий строительный луч.

Не скрою, две первые части триптиха Вещая Душа Моя не берёт. Да! выстроены с тем же тщанием, но...

Тронут изверженный цвет
некой толикою мрака.

И хоть имею честь получить посвящение (и спасибо), ан всё-таки честь имею сказать: они (две первых части) несколько затаённый разместительный «долг». Душа не берёт. Вот я и не ответил тогда, ибо сам эпистолярных изделий (ради их самих или тычка затаённого ради) Душа не берёт. Эпистолярной ностальгии, как и эстетической, не испытываю. Возраст не тот и Делом занят.

Ваш М. Шварцман

P. S. Милый Митя, спасибо за стихи и весьма бы рад был получить обещанную (!) плотную заветную тетрадь. Проводили Левуха. Знавали Вы его? Как будто побывал на погребенье. Слёзы. С какою болью отдираются, Россия! Как вырвешься из пряжи трав. На проводах видел Наталью (протеже Вашу). В глазах её, особо за зрачками, покоя нет и удовлетворенья. И слишком дорога профессору выходит выставка. Для ча? Но окупает белый вырез шеи любые взгляды. О! Слава вёрткая! Не знаю, все ль уста вдыхают имя: На-талья... Но выдыхают все.

Привет прекрасной Лене, если видите, Шварц. Привет Охапкису и Боре Куприяну (поэтам Олегу Охапкину и Борису Куприянову. – Д. Б.). Да, и

очаровательной приятельнице Вашей.

Прощенья прошу за чернила – кончились.

Поясню сначала постскриптум этого странного письма. Про неназванную (из опасенья перлюстрации) «заветную тетрадь» я сейчас ничего не помню – должно быть, какой-то нужный ему сам – или тамиздатский материал. Левуха я не знал и о нём ничего не сышал ни до, ни после, а вот атмосферой проводов дышал не раз. Загляделся он на Наталью – не Горбаневскую ли? Тогда неизвестно, кто чей протеже. А в том, что питерские поэты отправились на паломничество к Шварцману, допускаю частично и мою заслугу: стихи, ему посвящённые, могли их впечатлить. Но, увы, не впечатлили самого адресата. Конечно, от него «и хула – похвала», и с общими положениями можно согласиться, но их приложения к моим стихам, даже к тем строчкам, что он цитирует, меня оставили в недоумении. Можно было бы и выпустить эту часть письма, как сделал бы другой мемуарист, ан нет – не в моих правилах!

Но к Пасхе мастер как-то отмяк (или перечитал стихи) и написал уже совсем в другом духе. Нарисовал на почтовом листке голубя, сидящего на куполе, лошадку и корову с благословениями на боку, а также знак Древа жизни. Текст был такой:

> Дни стоят весёлые, и марево тёплое, и свету много, и стихи прекрасные прекрасны, и ПАСХА.
>
> ХРИСТОС ВОСКРЕС, милый Митя.
>
> Да освятит Г-дь Вашу Душу, и будет всё на месте и покойно сердцу.
>
> Ваши М., И. Шварцманы
>
> Христос Воскрес!
>
> Год от Р. Хр. 1977

Так заочно мы похристосовались, недоумения на душе, действительно, улеглись, и я продолжил работу над «Стигматами». Четвёртую часть посвятил уже уехавшему Якову Виньковецкому, а пятую и последнюю «Раненому имени», снабдив её, как и вторую, визуальными знаками в тексте. Всё вместе ощутилось уже не поэмой, не циклом, а пятичастным единым складнем, наподобие иконных, но в стихах. Готовую вещь я читал раза два в дружественных домах, обретя там некорыстную пажить, завершил первый свой большой сборник стихов, о котором ещё пойдёт речь, и, конечно, послал этот текст Михаилу Матвеевичу. Чего больше в его отзыве – тонкого яду иронии или всё-таки признания с некоторым интеллектуальным скоморошеством – до сих пор не могу рассудить. Вот, судите

сами:

Год от Р. Хр. 1978, Москва

Дорогой Дмитрий.

«Стигматы» получены.

Всё столь фосфоресцирующе выспренне: изнемогаю от совершенств. И шелушатся все царапины, и одна только остаётся —

царапина по небу, —

и не имея сил собственных и слов, иерархически соответствующих стиха достоинствам, привожу окаянный, окромя Велемировых, люто казнясь своими несовершенными, слова возлюбленного Батюшкова:

– собор красот, —

а сам во прахе остаюсь, глаз не подымая, безмерно посвящением утешенный

М. Шварцман

Но я не исключаю, что причины (или хотя бы частичное объяснение) внезапно ревнивой, чуть ли не отторгающей реакции мастера на две начальные части моей композиции были гораздо проще: первая часть имела посвящение другому художнику – Игорю Тюльпанову! Что такое Тюльпанов, если даже Боттичелли, Рафаэль, Перуджино и Микеланджело для него всего лишь «сикстинский шоколадный набор»? И Шварцман спросил меня:

– Это у него грибы из ушей растут?

– Не у него, а у одного из его персонажей. Есть такой портрет.

– Ну, вот видите!

Вижу. Цехового уважения у нас у всех большая нехватка. Вот Яков это хорошо понимал. Он-то мне и подарил обоих художников. Тюльпанова – на своей прощальной вечеринке в разорённой отъездом квартире, где-то на выселках, которые я стал кликать с некоторых пор обобщённо и без разбору Ленинградовкой. Обстановка на проводах была, как водится, похоронная, даже на грани с истерикой. Жена Якова Дина хохотала, как русалка. Яша в предвидении будущих трудностей, наоборот, был напряжённо сжат, как кулак гладиатора. Младший, ещё дошкольник, нарезвившись ранее, мирно спал, а второклассник Илюша, накачанный дедом-патриотом, устроил родителям обструкцию:

– Никуда не уеду! Я люблю нашу страну, я люблю нашу армию!

Армию он, действительно, любил и насобирал целую коллекцию военных значков и эмблемок, которую наши бдительные таможенники у него на следующий день отобрали – нельзя. И ребёнок прозрел, враз избавившись от своего милитаризма.

Между тем гости входили и уходили. Напротив меня сидел известный человек Цехновицер по прозвищу Цех. Глаза его задумчиво плавали, как рыбы в аквариуме. Чем он был известен, я, честно говоря, так и не знал. Время от времени в верхней части его бороды возникало отверстие, и туда вливалась стопка водки. После этого он вновь задумывался. Тут-то и появился Тюльпанов: на голову натянута лыжная шапка, движения – размашистые, сам пружинист, с большими кистями рук, рукопожатие – уверенное.

«Вот, какой-то спортсмен», – подумал я.

Он и на самом деле всерьёз увлекался теннисом. Но оказался, прежде всего, конечно, – редчайший искусник в своём художестве. Повернулся ко мне: толстая нижняя губа, широкий

нос… Если сравнивать типы людей с собаками (есть такой метод наблюдения), то это был тип добермана-пинчера, которого он неслучайно когда-то держал. Взгляд, неожиданно ласковый, мазнул меня фиалковым цветом, столь необычным для мужчин. Нет, нет, ничего «голубого», и при этом – фиалковый цветочный взгляд! А сам – Тюльпанов. Оказалось, что он, как и Виньковецкий, был участником выставки в «Газа», но я, к своему стыду, картин его начисто не помнил. Впрочем, художник великодушно простил мне такую промашку, и мы решили, что дело это легко поправимо.

Тюльпановы занимали комнату на первом этаже жилого корпуса в парке Политехнического института. Узкая клетушка была вытянута вперёд, к единственному окошку, и вверх, что было остроумно ими использовано: под потолком имелись жилые антресоли, а нижняя часть помещения служила мастерской.

Ольга по складу лица напоминала Игоря, смягчив женской миловидностью его черты в своём облике; ранние сединки чуть голубели в её пышных волосах, и они оба казались совершенно пригнанной друг к другу парой, но это впоследствии оказалось совсем не так.

Художник стал выдвигать из-за шкафов свои работы, и я онемел перед этим театром великолепий. Театральным представлялось прежде всего зачарованное пространство его картин, в них была магия вдруг раздвинувшегося занавеса и явившегося иного, прекрасного и таинственного мира, наполненного многозначительными мелочами. Но как раз в этих мелочах, в очаровательных и странных вещицах не виделось никакой условности и бутафории: тщательно выписанные, они *были* фантастичны и в то же время гиперреальны, добротны и полны благородства. А вот цвет предметов был настолько интенсивным, что вновь напоминал об искусственном освещении, о театральных софитах и прожекторах. Казалось, в этой красной комнате, изображённой на полотне, обитает какой-то маг, который заходит в неё, прежде чем совершить великие чудеса, либо для того, чтоб оставить в ней заветные сувениры, напоминающие о чудесах уже совершённых.

Но маг в этом пространстве отсутствовал. Я искал его в последующей серии портретов. Среди них находился и тот, с грибами из ушей, о котором было доложено Шварцману.

– Кто это? – спросил я Игоря.

– Так, один фарцовщик…

Впрочем, был там, среди его персонажей, некий, годящийся на роль если не самого чародея, то, по крайней мере, его ученика. Скажем, так: чародей-неудачник. Им оказался загадочный человек

Валентин Лукьянов, поэт, бродячий диетолог, голодарь и дервиш, житель двух столиц, связанный и с нищим андергаундом, и – через жену, научного работника Эрмитажа – с художественным официозом. Загадочным было прежде всего влияние, которое он оказывал на Игоря, внушая, как тому надо питаться. По его теории, здоровей всего было совсем не есть. Голодать, но лечебно, под его непосредственным присмотром, чтобы можно было всё время контролировать, подчинять себе голодающего.

Явившись из портрета, этот бессонный чародей бывал и у меня, зачитывая до половины четвёртого – утра, ночи? – проходными пейзажными стишатами, заговаривая до отпада, до отключения воли у слушателя, странными идеями собственного сочинения. Контролировать свой желудок я ему не позволил, голодание отверг, но из солидарности с Тюльпановым перестал есть молочные продукты (за исключением швейцарского сыра). Этот сыр, шпроты, орехи, сушёные фрукты, порой сухое вино, а то и настоящий портвейн из Португалии, невесть как попавший тогда на прилавки, составляли наши с Тюльпановым трапезы в пору частого общения. Дело в том, что он предложил мне позировать для портрета. Вернее сказать, для образа в трёхфигурной композиции, которую он задумал необычно вытянутой и притом диагональной. Мы договорились о встрече.

– Как мне одеться-то? Поярче, попарадней?

– Не стоит беспокоиться. Я сам что-нибудь придумаю.

* * *

Начались сеансы – менее утомительные, чем я предполагал. Даже занимательные. Странное самоощущение приходило, когда художник впивался зрением в каждый миллиметр лица, стремясь через внешнее вызнать сущность. Взгляд его из фиалкового становился фиолетовым, даже ультра. Но мне он до времени ничего не показывал.

Позднее, когда портрет и вся композиция были готовы, я попытался выразить свой опыт позирования, а также размышления о художнике и его методе с точки зрения модели. Получилась заметка на несколько страниц. Поколебавшись, я решился отправить её на Запад. Игорь был не против, я переслал рукопись в парижский «Континент», наводивший ужас на советских охранителей, и там её напечатала Наталья Горбаневская. Поскольку я рассматривал три стороны необыкновенного художества, заметка, которую я здесь привожу в несколько сокращённом виде, называлась: «Трижды – Тюльпанов».

Душа художника трепещет на кончике нежнейшей кисти. Его модель вторую неделю пытается соперничать с идеальным натурщиком – предметом. Тяготы вещественного мира уже освоены позирующим, досаждает лишь главная из них – неподвижность. Впрочем, сегодня сместился ракурс; можно, наконец, отвернуться от фотографии почтеннейшего, но, увы, покойного добермана, и взгляд натурщика погружается в питательные контрасты «Комнаты с красным паркетом» – уже готовой картины, висящей напротив. Художник помогает себе причудливой мимикой, преобразуя лицо модели в сложный, умный предмет со следами, которые оставило на нём время, и с глядящими мимо любых времён глазами.

А картина на противоположной стене в этот момент насыщает сотней своих предметов тесную – не повернуться – клетушку, в которой живёт и работает художник. Да поворачиваться и нельзя – сеанс! Однако хватает для разглядывания и размышлений того фрагмента, что видишь прямо перед собой. На непонятной, только для неё созданной полочке пурпурно-розовая банкнота достоинством в желанных десять рублей стоит на хрустящем полусмятом ребре, а рядом с такой же тщательностью изображён прикнопленный клочок рыхлой бумаги – всего лишь уголок книжной дешёвой иллюстрации, то есть ничто, превращённое в нечто, равноправное ассигнации уже потому, что и то и другое равно-любовно выписано на полотне… Какая-то крупная мысль проступает из гладкой фактуры поверхности. Да это же – притча! Это ж – история богача и бедного Лазаря, остановленная в своём сюжете ради нового поворота – примирения этих двух в прекращённом времени, в преображённом пространстве, в чуде. Но и этого мало: ведь не только форма, но и цвет, ритм конфигураций, даже, кажется, вес и светимость – всё добавляет свой уровень глубины, свою правду, придавая изображению многослойный смысл. Или – вот это… Массивный золотой слиток всей своей весомостью свидетельствует ещё об одном драматическом братстве. Он служит подставкой для двух тщательнейше выписанных вещей: для надкушенной чёрствой корки и для низки жемчуга, чьи круглые светящиеся зубы так странно повторяют дугу хлебного укуса. Сколько тут сказано, и всего лишь на нескольких

квадратных сантиметрах холста! А рядом – десятки иных сочетаний, зависимостей, взаимоотношений... Это создаёт исключительно плотную интеллектуальную атмосферу внутри произведений этого художника. В такой атмосфере, например, непринуждённо парящий в воздухе поднос в «Затянувшейся игре» кажется совершенно убедительным. Он просто остался висеть в пересечениях живописных и смысловых связей на этой картине.

Но работы Тюльпанова – отнюдь не сборники афоризмов или притч, а именно картины, зрелища, и потому они принципиально не могут быть истолкованы до конца, так же, как не может быть объяснён смысл, к примеру, павлиньего пера, этого колористического идеала художника. «Загадка имеет отгадку, – это его слова, – а тайна, сколько её ни постигай, всё равно остаётся тайной». В самом деле, заворожённый зритель пускается по полотну на розыски единого знака, ключа, но общая композиция каждой из картин остаётся магической и необъяснимой. Более того, в «Ящиках воспоминаний» (так странно называется его следующая картина) художник предлагает на выбор целую россыпь разнообразных ключей, но, разумеется, от утерянных замков.

И всё же на этом холсте изображён отдельный, единственный ключ, специально положенный в центр композиции и даже особо выделенный освещением. Но им уже ничего не откроешь – он распилен на части!

Конечно, тайна остаётся тайной, но пристальное созерцание, как поведал нам Рильке, раскрывает для собеседования самую душу вещей. Для этого не нужно многое. Возьмём предмет. Лучше всего – добротный, не оболганный массовым или халтурным исполнением. Так сказать – предмет-личность. И попытаемся увидеть его смысл и его красоту. И если мы истово изощрим своё зрение почти до утраты всех иных чувств, а остриё разума сосредоточим на самом кончике очень хорошей, тончайшей кисти и изо дня в день всего себя станем переводить на квадратный сантиметр изображения, то, может быть, тогда возникнет чудо – сверхбытие предмета. Да, подробность и – да, любовь – это приметы, даже приёмы чудотворения. Такая умная, терпеливая любовь делает вещь, полупогружённую в вещественном мире, духовной.

Великий бог деталей,
Великий бог любви,
Ягайлов и Ядвиг...

Так сказано у Пастернака. А живописец составляет кружок из указательного и большого пальцев и говорит: «За день я делаю вот по стольку. Правда – каждый день». Словно добрый пастырь предметов, он выпестывает даже такую мелочь, как узелок на аккуратно свёрнутом шнурке или, например, изумительную по красоте... обгорелую спичку, создавая изысканный образ, чуть ли не портрет этого ничтожнейшего из предметов.

Ещё одна, старчески-терпеливая мудрость андерсеновской сказочки:

Позолота вся сотрётся,
свиная кожа остаётся —

преодолевается таким, например, сюжетом – клочком обшивки, выхваченным из кресла, и драгоценно сияющим узором жемчужин, который обнаруживается под этой самой кожею. Этот фрагмент – одно из энергичных и прямых высказываний художника. Да, цель его – создание совершенства, но ведь и это – не остановка, а новая счастливая бесконечность. Поэтому даже такой абсолют вещественного мира, как золото, может вдруг прорасти – розою, одновременно золотой и живою, что и произошло в «Ящиках воспоминаний».

Неизбежно возникает вопрос об учителях и предтечах – откуда всё это? Да, художник окончил курс театрально-оформительского искусства у Николая Павловича Акимова и с благодарностью вспоминает о своём руководителе. Но ведь Акимов был не столько художник, сколько режиссёр и художник вместе, поэтому его интересы были несколько в стороне от устремлений его «ученика». Ставлю это слово в кавычки, потому что странно называть учеником такого филигранного мастера. Можно лишь сказать, что оба артиста были друг другу по вкусу, и это порой чувствуется в более ранних работах младшего. А современные течения в искусстве, разве что за исключением «сюр» и «магического» реализма, обтекали нашего живописца, не затрагивая.

Но и не только живописца. Передо мной – один из листов тончайшей графики: иллюстраций к сонетам Шекспира. На фоне раскрытого окна с известным стратфордовским пейзажем глядит вживлённое в костюм великого Вильяма – лицо Николая Павловича! Такое

взаимопроникновение разных эпох сначала кажется неожиданным, но потом сознаёшь, что Акимов здесь – к месту: имел же прямое отношение к Шекспиру главный режиссёр Театра комедии. Налюбовавшись тонкостью почерка, изысканностью деталей, вдруг понимаешь большее: этот лист и есть сам по себе сонет!

Два катрена – пейзаж и интерьер – создают завязку и развитие, переходящие в портрет и натюрморт – два терцета веской и стремительной коды. А точку ставит само перо, уже обмакнутое в витую чернильницу на столе. И ещё над одной графической серией работает художник – над акварельными приключениями комических человечков, которых он называет «Очарованные разгильдяи». Его мастерство и фантазия нам известны по живописи и книжной графике. Здесь прибавляется к ним новое свойство – юмор. Эти симпатичные шалуны всё время вытворяют какие-то смешные проделки, занимаются мелкими, но не всегда беззлобными пакостями, изобретают бесконечные подвохи, забавно безобразничают и разгильдяйствуют. Но при этом они благоговеют перед единственной и прекрасной дамой с голубыми пышными волосами, с обнажённым и весьма выдающимся бюстом, ниже переходящим в коренастый пень, вросший в землю. Вот загадка: как смог художник, пребывающий в полной изоляции, живущий без выставок, без восхищения и критики, этих необходимых элементов артистической жизни, – как сумел он выйти на столь высокий уровень искусства? Может быть, потому и прорвался, что было трудно? Как это ни странно, свобода от препонов часто останавливает развивающийся талант на полдороге. Один из парадоксов искусства заключается в том, что талант сам по себе отнюдь не значит – всё. Преодолеть непреодолимое, совершить духовный прорыв может только мощный характер, обладающий, помимо таланта художественности, ещё и даром стойкости. Этот дар превращает все испытания, все жизненные лишения в золото и мёд позитивного опыта.

«МЕЖ СТЕН»

Так он в конце концов назвал свою композицию, над которой работал, наверное, не меньше года. Скорей всего он имел в виду не те стены, что дают укрытие и прибежище, а те, что разъединяют и препятствуют... И в самом деле, рядом со мной он собирался расположить Коку Кузьминского, с которым у меня было мало общего, а за ним – москвича Славу Лёна, которого я тогда и вовсе не знал. Тюльпанов собрался было в Москву, но перерешил и стал писать эти образы «из головы». В результате все оказались похожими на меня, и это придало разнородной группе стилистическое единство и ещё один сильный притчевый смысл.

Вот справа вполоборота изображён молодой мужчина, поразительно схожий со мной, но на нём фантастическое одеяние, горящий взгляд его устремлён куда-то вдаль, где видится ему не иначе, как сам святой Грааль. Но этот человек не «я» или «он», а лишь его отражение в зеркале: вот видна радужка на грани стекла, видна облупившаяся кое-где амальгама.

В центре – ещё один мужской образ; он мучительно и кривляно раздвоен: то ли это Кузьминский, то ли я в его роли, и какое-то бесовство проступает из этого человеко-спектакля.

Третья фигура – старик, может быть, гипотетически и напоминающий Лёна в далёком будущем, но в неменьшей степени и меня. В глазах – пустота, в облике – бедность и скопидомство, выраженные, как всегда у Тюльпанова, в деталях: пуговки, грошики, воткнутая в ткань иголка с ниткой, аккуратно замотанной вокруг неё восьмёрками.

Эта картина, тройной портрет с элементами пейзажей, натюрмортов и иллюзий, давала сложно-странное впечатление: озадачивающее и чарующее одновременно. И всё-таки тот образ, который был написан непосредственно с меня, я стал считать своим портретом, несмотря на фантастические одежды. Или – лучше так: портретом лирического героя моих стихов. Поэтому, когда настало время, я, испросив позволения у Тюльпанова, послал фотографию этого образа вместе с рукописью книги в Париж, Наталье Горбаневской. Подпись художника под портретом не стояла – однако, не из-за того, что он побоялся заграничной публикации. К тому времени эту картину купил американский коллекционер Нортон Додж, и тиражирование, хотя бы фрагментарное, было уже под его контролем. Но фотография была сделана раньше, чем покупка, и потому без подписи это сошло.

С Доджем я познакомился позже, уже после «великого скачка»

через океан, совершенного мною в конце 1979 года. Я зашёл на его доклад на конференции в Нью-Йорке (или – в Чикаго?), и он сразу узнал меня по портрету. Заговорил, как со старым знакомым:

– Что у вас с Игорем произошло? Он переписывал портрет несколько раз, делал с вами ужасные вещи…

– Что же он делал?

– Ужасные вещи. Но потом всё исправил. Так что же произошло?

– Представьте себе, даже не ссора. Просто разрыв отношений…

Никаких «ужасных вещей» между нами и не было. Наоборот, сначала были очень даже прекрасные вещи – например, знаменитая выставка неофициальных художников в ДК «Невский» на проспекте Обуховской обороны, в индустриальном районе на левом берегу Невы. Зал там большой, нервозности было меньше, чем в «Газа», но художники всё равно жёстко спорили между собой из-за места, из-за лидерства – за что-то своё… Юрий Жарких опалял краску на холстах и, вместе с именем автора, они производили огненное впечатление. Яйцевидные формы, светясь, всходили и зависали в пространстве у Анатолия Путилина. Юрий Галецкий восхитил если и не самим холстом, то хотя бы палиндромом в названии: «Ave Eva». Рыцарь Андрея Геннадиева как-то нетрезво двоился. А вот его сероглазый портрет в безрукавке впечатлял – этот действительно рыцарь! Рядом с портретом, словно белокурая Изольда, стояла его прелестная создательница Леночка Захарова.

Фиалковоглазый маг задумал живой иллюзион – ему понадобились герои, жертвы и, конечно же, ассистенты. Главным героем – Тристаном, а скорее Мерлином, волшебником всего действа, был, конечно, он сам, в мыслях расписавший стоклеточно значительный сектор города, куда попали случайные и неслучайные лица, в их числе я. Но кто я – шашка, конь или пешка в игре, знал я нетвёрдо, придерживаясь наугад только цвета, что выбрал гроссмейстер.

Вот я стою глубоко под землёй на шлифованной каменной платформе одной из далёких станций метро. Жду, недоумеваю. Подкативший поезд распахивает прямо передо мной дверь. Там – Геннадиев в окружении лохматых бородачей.

– Дима! Что ты здесь делаешь? Давай с нами.

– Ищу Тюльпанова.

– Я тоже!

Дверь захлопывается, двоящийся рыцарь, совсем сбитый с координат, уносится вместе с художественной компанией. Со

стороны эскалатора ко мне приближается пара: это Тристан (он же Мерлин) и с ним – Изольда! Я стараюсь держаться независимо, хоть и дружески, а всё равно я уже вовлечён. Есть ведь ещё одна потерпевшая сторона, там тоже драма! Выражаясь тюльпановски-акварельно, очарованные разгильдяи перестали боготворить свою прекрасную синеволосую даму и стали пилить её пень под корень. Ну зачем же пилить, это больно, не лучше ли перепоручить её заботам ассистента, кто он там уже – конь или слон?

Слон в смущении. Нет, он такие деликатные миссии отклоняет со всей возможной и невозможной слоновой грацией. Но что же делать? Разрыв уже произошёл, а жить где-то надо. Если некуда деться, сам Тюльпан может переночевать у меня, но это явно не выход. У него есть другой вариант, совсем близко, на задах у Ленфильма. И тут происходит блестящая рокировка.

Вот он зовёт меня в своё временное пристанище в ателье, принадлежащее его почитателю. Действительно, это в полутора шагах от моего дома – через двор и по чёрной лестнице на верхотуру. За железной дверью – обширное помещение с перегородками, стены оклеены белым, всюду треноги, экраны, мощные лампы. И на круглых табуретах – компания, достойная кисти магического сюрреалиста: сам Тристан, он же Тюльпан великолепный, соединившаяся с ним нежная Изольда, там же, конечно, хозяин-фотограф и – о, силы земли и неба! – звезда, божество экрана или, как назвал её в очерке один мой гниловатый приятель, «едва ли не самая красивая и талантливая актриса кино Грета Велехова» собственной персоной.

Никаких «едва ли»! Она самая и есть, со всей несомненностью, – звезда не только с безукоризненно яркой внешностью, но и с говорящей сквозь эту внешность душой. Всякий наш сверстник, посмотревший культовый фильм «Отражение», образ её в памяти у себя, если не в сердце, очарованно запечатлел. И – тем ещё неизгладимей, что по каким-то эдиповым сюжетным ходам она там и мать, и жена, и невеста.

Оттого, что так близко я вижу затверженное с экранов прославленное лицо, к её красоте прибавляется ещё домашняя миловидность. Она совсем рядом, дышит, смеётся, ходит широко, по-актёрски раскованно, статно, отбрасывая движением головы прибалтийские пряди с плечей и от крутоватого лба, смотрит жарко и каре, и как-то даже заворожённо – и на кого? Уж не на меня ль, в самом деле? Знаю: она, скорей всего, загляделась на того принца из розового замка, каковым изобразил меня маг, и находится теперь под его, не моим, обаяньем. Всё ж, нельзя пренебречь и другим. Стихами. Моими. Вряд ли она была

нечувствительна к звукам, рифмам и строфам – введём и их в оборот. Тем более что она сама, без меня раздобыв, позднее показывала их Супер-Мастеру, и он, не то одобрив, не то просто приняв, молвил лишь критически:

– Воздуха мало!

– Ну, и воды зато нет! – ответил я раздосадованно ей, сообщившей это слишком уж лапидарное мненье.

Да, стихи, да, тюльпановский образ и, может быть, даже красивая легенда об Ахматовой, ей внушённая магом, – всё вдруг сделалось вместе, ведь находились мы в области подволшебной.

ЗВЕЗДА

Разговор, между тем, шёл о съёмках, носивших сенсационный характер. Ещё бы – Голливуд на Ленфильме! Ставят в кино – и кого бы вы думали? – Метерлинка!

– Вы, конечно, играете Синюю птицу?

– Нет. И даже не фею. Все эффектные роли даны голливудским актрисам: Элизабет Тэйлор, Джейн Фонда... Мне досталась скромная роль Молока.

Представляю, сколько белой марли намотала на неё Марина Азизян, художница фильма, сколько мела набрызгала! Только эти карие жаркие и блестели... Но речь не о ней, а о заморских звёздах, их скандалах, любовниках, пощёчинах костюмершам, о трепете перед ними администраторов и прочих барбосов.

– А не погулять ли нам, не сходить ли, к примеру, в кино?

Фотограф остаётся, две картинные парочки отправляются бродить по Кронверкскому саду, доходят до кинотеатра «Великан». Билетов нет. Пускается в ход обаяние нашей кинокрасавицы. Двери должны распахнуться! Она хороша: распахнутая меховая шубка, непокрытая голова, жёлтые с платиновыми прядями волосы по плечам, но на администратора – никакого впечатления. Билетов нет.

– Давайте лучше ко мне. Здесь совсем рядом.

Заходим в «Гастроном», затем в «Кулинарию». Звезда выбирает индейку. Никто этого зверя прежде не пробовал, а уж готовить...

– Я знаю, как надо!

Как-то весело авторитарна, отважна. Моя коммуналка преображается. Соседки в изумлении наблюдают: явная небожительница орудует на кухне, распаляет духовку, ставит туда здоровенную птицу – словом, хозяйничает как у себя дома. А я на это любуюсь. Но индейка готовится ведь часами – говорит мой теперешний американский опыт. Кто ж это тогда знал? Вино почти уже выпито, хлеб общипан. Наконец подаётся аппетитно подрумяненное и благоухающее блюдо. Но внутри – увы и ах!

Маг удаляется со своею Изольдой. Однако магия его остаётся.

Дальнейшее развивается стремительно и по тем же законам, что в целлулоидной ленте, скорее даже немой. Вот мы гуляем по снегу в сосновом бору за железной дорогой, все четверо. Тристан с Изольдой прячутся от нас за подлеском, я вдыхаю снежный запах красавицыных волос. Декабрьский короткий денёк золотится напоследок. В густеющей тени на поляне вдруг видится тёплое прерывистое сиянье во мгле под ногами. Это горящая

свечка в снегу освещает простые предметы, какие можно найти в кармане – монеты, банкноту, ключи… Словно театрик какой вдруг возник на снегу или же натюрморт, тщательно выложенный и оживший – почерк мастера, мага! Подарок от них – нам.

Вот оранжевый щитовой дом с надстройкой – колосковская дача, прообраз того розового замка, что за плечом у портретного принца. Внутри – холодней, чем на улице. Грохаю об пол мёрзлыми дровами, топлю. Чем гостей дорогих бы развлечь? Вот, есть немецкая цитра. Звезда перебирает расстроенные струны и вдруг одаряет нас чудо-романсом. Я такого прежде не слышал. Мелодию, правда, она воспроизводит лишь смутно, возмещает это игрою лица, интонациями, но слова… Слова – декадентски самоцветные, а образный рисунок и строфика выписаны уверенным почерком:

Ни пурпурный рубин, ни аметист лиловый,
ни наглой белизной сверкающий алмаз
не подошли бы так лучистости суровой
холодных Ваших глаз,
как этот тонко огранённый,
хранящий тайны тёмных руд,
ничьим огнём не опалённый,
в ничто на свете не влюблённый
тёмно-зелёный изумруд.

Вот бы что ей подарить – изумруд! Где ж такую роскошь добыть, откуда бы выкрасть? Да куда там…

А кто эти слова написал – уж не Иннокентий ли Анненский? По стилю похоже. Но она и сама не знает. Долго я пытался найти загадочного автора, расспрашивал знатоков, музыковедов, никто не мог сказать. Даже Боря Кац был бессилен и нем. И лишь много лет спустя такой эрудит и музыкант нашёлся: Саша Избицер из «Русского самовара» в Нью-Йорке. Слова, оказывается, сочинил Д'Актиль, или д'Актиль, он же Анатолий Адольфович Френкель, поэт-песенник. Вот кто был мастер!

А тем временем я топлю без конца обе печи, но нужны часы и часы, чтоб хоть как-то пристанище наше согрелось. И всё равно нырять приходится в ледяные слои одеял, льнуть друг к дружке хотя б за телесным теплом. В свете свечи любуюсь красой и наблюдаю с тревожным предчувствием, но и с любопытством несколько ликов в лице: возможно, это и есть та фактура, что все её образы образует? И который из них настоящий? Может быть, и никакой.

Вот я в небольшой квартирке на… хоть убей, не могу

разобраться в московских направленьях. Стиль убранства иной, ей совсем не идущий. Здесь хозяйкою мать, но я её так и не видел. А она меня? Не уверен, не знаю. А вот дочка в косичках, мелькнула на фотографии. Во всяком случае, ясно, что я не могу здесь остаться. Приют мы находим у её горячей поклонницы, которая даже не поднимает на меня глаз, соблюдая секрет госпожи. Так что ж – разве эти встречи тайные? Нет. Вот мы на премьере кинокомедии, которой суждено на десятилетия вперёд ублажать население целой державы в предновогодние вечера. Кругом – актёрские поцелуи, приветы звезде.

Поздно. Мы у той же поклонницы. Мне постелено на полу, но чисто, комфортно. Я уже растянулся, перебирая яркие клочья впечатлений. А она всерьёз машет гантелями, гнётся, приседает, подпрыгивает, отжимается на руках. Бежит на месте с влажным от пота полотенцем. И это – после целого дня коловращений, включая посещение бара в Доме кино.

– Ты не хочешь расслабиться, отдохнуть?

– Ты что? Моё тело – это ж мой хлеб. И не только мой.

И смотрит, как на инопланетянина, – мол, может быть, и твой.

А ведь и вправду ей надо быть в форме: днём у неё репетиция, после – спектакль. Я остаюсь в пустой квартире, у меня есть, чем заняться. Читаю сценарий легендарного «Отражения», того самого, что сделал звезду звездою. Похоже, что это – официальная версия. Читаю и не узнаю: какая-то советская лабуда; не вижу ни одного из тех образов, что впечатались в память. Впрочем, это понятно, – текст ведь написан для прохождения через целый цензурный конвейер. Нет ни великолепных стихов Супер-Мастера (но они, впрочем, были уже напечатаны раньше, – следовательно, прошли через горло Горлита), ни импровизаций с камерой, ни каких-то очень важных нюансов. Помнится вдохновенное баловство героини, заглядывающей дразняще прямо в объектив (вопреки всем условностям жанра) и, следовательно, прямо мне в душу. Тут я на крючок и попался, забыв, что таких карасей сотни тысяч. Или – вот это: кто смотрел феллиниевский «Амаркорд», тот не может отделаться от навязчивого физиогномического сходства его проходной героини, полубезумной путаны, с нашею, играющей сокровенно-сакрально-семейные роли матери, жены и невесты. Однако ну и сближенье!

Вечером гляжу из тёмного зала на покатую сцену, где кривляется с затяжным монологом трагический клоун. Если это моноспектакль, то при чём тут она? Впрочем, вот монолог прерывается вставками: лирическими диалогами с ней.

Интонации – самые невозможные, но за сердце почему-то хватают. А вот почему, дуралей, провинциал: это ж те нежности, что накануне говорились тебе одному, и они летят теперь в зал, адресуясь любому и каждому – всем! Гиппопотаму, толпе.

И тут же упрёком – себе: дай ей слова, и ты сможешь услышать их из её уст. Но слов пока нет. Есть пока продолженье московского жёсткого карнавала: мы со звездой на проводах Натальи Горбаневской – тоже, в сущности, звезды диссидентской, загоревшейся жертвенно-жарко у Лобного места на Красной площади в воскресный полдень 25 августа 1968 года. Как там сказано у Всеволода Некрасова, москвича и концептуалиста, по поводу пражского самосожженца?

Ян Палах
Я не Палах
Ты не Палах
А он Палах
Он Палах
А ты не Палах
И я не Палах.

Вот Наталья-то и была наш Палах. И теперь она уезжает на веки вечные в Париж с двумя сыновьями. Провожают её поэты и диссиденты. И кинозвезда. Но вниманием всех овладевает Андрей Амальрик, автор памфлета «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» Он только что из Магадана, весь в ореоле драконоборческой славы. К нему с участливыми вопросами устремляется отец Димитрий Дудко:

– Не приходилось ли терпеть притеснения от уголовного люда?

– Нет, со мной все дружили, – он чуть пришепётывает. – Я им посылки свои раздавал. Даже была поговорка у нас в Магадане: добрый, как Амальрик.

– А здоровие ваше не пострадало?

– А что здоровье? Фэя вот стала толстая.

* * *

Пять лет спустя в эту шею (а именно – в горло) вонзится кинжальный осколок стекла при столкновеньи в горах на заледенелой дороге в Испании, и он сам не доживёт до предсказанного им развала империи.

ДВУХДНЕВНАЯ ВЫСТАВКА

Игорь и Леночка тоже были в столице. Сговорились мы вместе провести вечер в мастерской у Бачурина. Не поздно, потому что пора уезжать из Москвы и надо успеть к поездам. Лучше вернёмся и встретим в Белокаменной следующий, какой он там будет по счёту – 1976-й, что ли, год! Звезда обещает билеты на бал в неких высоких сферах.

Я нервничаю, мы с ней опаздываем к условленному часу, но она не спешит, устраивает свои дела и делишки хозяйственные – в собственном стиле, на звёздном и элитарном уровне. В магазине электротоваров надо сослаться на знакомого космонавта, чтоб доставили холодильник, а в мебельном – на хоккеиста из сборной страны. Я, понятное дело, скисаю от таких конкурентов, но хоккеиста всё ж одобряю за... интеллигентность на льду. От удивления он где-то за сценой проваливается под лёд. А космонавт сам собою возносится за пределы Вселенной.

Наконец поднимаемся на какой-то чердак и звоним.

– Это ли знаменитая ленинградская точность? – ярится Евгений Бачурин.

И – матерком, матерком...

– Нет, это московское гостеприимство! Ты чего расшумелся? Гляди, кто тебя посещением удостоил. Королева, звезда!

За столом – притихшие от такой перебранки Тюльпановы. Самолюбивый Бачурин опоминается, все мы снова друзья и артисты, прямо как в опере «Богема» Джакомо Пуччини. А сам он – поэт, и певец, и художник в одном лице. Вот запевает он под гитару:

Огюст, Орест и Оноре
сидели как-то в кабаре... —

Огюст – это Ренуар; Оноре, естественно, – де Бальзак, а Орест – лицо вымышленное, – поясняет певец.

Это забавно, иронично, смешно. Все трое жалуются на отсутствие свободы для искусств. «Как и не мы».

Дерева вы мои, дерева...

Почти фольклорно и драматически осмысленно. Слова по-народному стёрты, обкатаны, но при этом умны и уместны. Голос

резок, он его смягчает, где надо, и вместе со струнными переборами образы отзываются в мыслях и чувствах.

Сизый лети голубок,
в небо лети голубое.
Если бы крылья мне выдумал Бог,
я бы летел за тобою.

Гремучей славы, как у других бардов, не говоря уж об эстрадниках, у Бачурина не получилось. Наверное, он на то не решался. Я просил его тексты, хотел написать о нём в «Континенте» для пущей растравленности, но он не дал. Переосторожничал. Пластинку зато выпустил. Но так, может быть, и лучше: кто понимает, тот ценит. Его знали и пели. Вариант: знают и поют. Хорошенькая актрисуля Марина Старых, игравшая в ТЮЗе козу, которую даже доили на сцене, пела Бачурина совсем по-деревенски: «Дярева вы мои, дярева...»

Но это было уже в Ленинграде, куда я вернулся с Тюльпановыми, хотя и не вместе, а в разных поездах. До Нового года оставалась всего неделя, как вдруг Игорь выдвинул мощную идею устроить свою выставку – у меня! Первой моей реакцией была паника:

– Это ж будут толпы народу... Моя коммуналка не выдержит!

– Толп не будет. Пригласим только избранных!

И ведь убедил. Да и не мог я отказать ему, с неба звезду сорвавшему и мне в руки её протянувшему. Крестами со мной обменявшемуся. Образ запечатлевшему...

Сказано – сделано. На следующее утро он явился с банками краски, намешал колер и ушёл. Я снял всё, что у меня висело на стенах, и начал мазать прямо по обоям. Колер вышел суровый. Когда все стены были замазаны, я взглянул, и душа моя страданиями уязвлена стала: каземат, да и только! Ну ничем не легче, чем Трубецкой равелин: сырой, серо-фиолетовый, мрачный. Как мне здесь жить?

Но вот прибыл Игорь, я распахнул обе створки дверей в квартиру, и мы внесли доставленные картины. Мой каземат расцветился павлиньими, фазаньими сполохами и переливами, которые особенно празднично выделились на унылом фоне стен. Каморка стала походить даже не на пастернаковскую коробку с красным померанцем, а по меньшей мере на пещеру Аладдина. С чем ещё это можно сравнить? Такое случилось бы, если б, скажем, я открыл кран здесь на кухне, а оттуда хлынули в раковину алмазы, шелка и самоцветы, – я пересказываю центральный сюжет одной из тюльпановских картин. Жаль, что в экспозиции не было

моего портрета – та работа уже ушла к покупателю. Но, помимо трёх больших вещей я особенно любовался малыми натюрмортами, не уступавшими по истовой выписанности деталей самому Питеру Класу, а о тюльпановской фантазии я уже рассуждал прежде.

Время для посетителей ограничил я строго: с пяти до семи. Количество – не более десяти человек. Но ведь и десять человек для одной комнаты – это толпа. А для соседей – великий шок. О паркетах и говорить нечего – дело-то было в конце декабря. В общем, назавтра к вечеру имел я прискорбный вид, а ещё через день объявил выставку закрытой на новогодние каникулы.

Да, в Новый год что-то должно решиться и со звездой – вместе мы или как? Или – что? 30-го позвонил Тюльпан из Москвы: мол, давай, выезжай. Будет бал и великое веселье. Звезда приглашает. Но я никак её по телефонам поймать не могу, что ж она сама не позвонит? Он не знает. Но всё состоится. Я еду.

Вечер 31-го декабря. Москва. Я уж не помню, где именно нахожусь. Помню только: Тюльпанов и Леночка и великая киноактриса, которая вдруг начинает играть.

ФИНАЛЬНАЯ СЦЕНА

Действующие лица:

Великая киноактриса.

Я (прямо с вокзала).

Тюльпанов, художник и маг.

Леночка, балет и пантомима.

Безликое помещение. Входит «Я». Присутствующие ведут себя сообразно божественному замыслу.

Я. Здравствуй, звезда! Вот и я.

Киноактриса *(всматриваясь в меня далёким взглядом)*. А кто ты? Я ведь с тобой незнакома.

Я *(резонёрски разводя руками)*. Как это кто? Это я.

Киноактриса *(очень искренне)*. Я вас не знаю...

Я *(тоже переходя на вы)*. Неужели? И совсем не помните?

Киноактриса. Нисколько не помню.

Я *(с возмущением, но без особой надежды на поддержку)*. Игорь! И ты после этого идёшь с ней на праздник?

Тюльпанов *(смущённо, но твёрдо)*. Да, извини уж, мы вместе идём. Я ведь Леночке обещал...

Я *(обречённо, но с тайным облегчением)*. Ну так прощайте же...

Леночка самовыражается пантомимически.

Занавес. Жидкие аплодисменты.

* * *

Самым странным, а также смешным оказалось здесь то, что я актрисе поверил. Сыграно было уж очень талантливо: мы с ней незнакомы. И – всё.

Поезд был пуст, шел он лишь ради расписания. В полночь у меня оказалось в бутылке чем всё-таки встретить, покачиваясь и летя в перестуках во тьму, наступивший чёрт-те какой неприветливый год.

В ЛИТЕРАТУРНЫХ НЕТЯХ

Едва я вернулся, возникла полутайная героиня моего жизненного романа, отступившая было в священном ужасе перед звездою на задний план. Даже, кажется, всё это время застывшая с разведёнными от изумления руками, столь любимыми мною прежде... И, как оказалось, всё ещё любящими.

Элита меня выплюнула, да и не был я частью её, ненавидя прежде всего привилегии. А ведь многие, даже из борцов за права человеческие, их для себя добивались, либо с ними наследственно существовали. Но за привилегии надо было платить службой режиму, то есть свободой, а ещё вернее – её отсутствием. Самыми привилегированными в стране, «где я любил, где отчий дом» (но где вечерний звон уже не звучал), были иностранцы. Купаясь в трусливо-любопытных взглядах местных жителей, они гордо проплывали в светлой добротной одежде от дверей отеля до дверей экскурсионного автобуса, и на этом их свобода заканчивалась. Впрочем, находились среди них некоторые аспиранты-докторанты и совсем уже немногие журналисты, которые умудрялись, рискуя карьерой, ускользнуть из-под стеклянного колпака наблюдения и попользоваться тем и другим: привилегиями и свободой, валютными лавками с баснословно дешёвыми товарами с одной стороны и общением с неофициальной богемой – с другой.

А вот дипломатам приходилось работать и жить если не буквально за колючей проволокой, то уж в самом настоящем гетто. Их посетители тоже ощущали на себе жёсткие лучи надзора.

У Георгия Дионисиевича Костаки мы побывали с Тюльпаном. Коллекция живописи, в особенности русского авангарда, которую он собрал, была таких былинно-гоголевских размеров – ну, прямо как шаровары Тараса Бульбы, шириной с Чёрное море, никак не меньше. И, как это частенько бывает, именно из-за обилия запомнилось лишь немногое: натюрморты Дмитрия Краснопевцева. Зато какие! Если бы не самоутверждающийся Тюльпанов рядом, я бы его провозгласил самым-самым из художников. Впоследствии я видел только один его натюрморт, и тоже отменный, своей живописной подлинностью делавший полумнимый Музей неофициального искусства Александра Глезера в Нью-Джерси реальным.

А тогда Тюльпанов показывал Георгию Дионисиевичу, смуглому меланхолическому греку, графическую серию из пяти листов, из которых я помню лишь яблоко с кружевным листком,

голову с ухом-бабочкой да ещё тушь необычного оттенка, нанесённую пером на эти листы. Они ему понравились, вызвали коллекционерский аппетит, но в то же время Кастаки понимал, что этот художник цену себе знает и подарки ради тщеславия делать не станет. Выслушав мои россказни о греческих родственниках в Мариуполе, он взял гитару и заиграл что-то задумчивое:

– Это я для вас.

Таким я его и запомнил.

Сейчас этого яркого человека изрядно подзабыли, а тогда говорилось о нём немало: грек непонятного подданства, работает в одном из европейских посольств в Москве, неизвестно каком, но не греческом. Пользуясь советским идиотизмом, насаждавшим соцреализм, скупал авангард за бесценок, порой даже спасая от уничтожения. Поддерживал неофициалов, и те ему щедро отдаривали. А когда он надумал уехать, пришлось ему самому отдариться, передав Третьяковке существенную долю своей коллекции. Но и остатка хватило на то, чтобы заполнить спиральную экспозицию музея Гуггенхейма в Нью-Йорке. Поэтесса Малкина выковыривала из этого шпионские догадки. Но ничего такого попросту не было.

А Третьяковка скушанькала не вполне добровольный подарок и облизнулась. Там хватало ума и средств хранить и даже, кажется, приобретать авангард в самые соцреалистические времена. Однажды я побывал в их запасниках – это Рейн, пользуясь приёмом Остапа Бендера, выдал себя за художника, и нас туда, за седьмую печать, пустили. Меня, видимо, в роли Кисы Воробьянинова, и мы лицезрели запрещённые шедевры, частью снятые с подрамников и свёрнутые в рулоны.

А в дипломатическом гетто я побывал опять же с Тюльпановым, которого вместе с другими художниками пригласил к себе советник французского посольства в Москве. Миновав проходную с постовым милиционером, мы оказались в маленькой «загранице». Впрочем, хозяин, по фамилии, кажется, Мягков и его жена были русскими, родившимися во Франции, из второго поколения белой эмиграции: высокие, породистые, счастливые люди, не замечающие ни своих привилегий, ни той несвободы, которая их защищала. Полы в их непомерной квартире были устланы светлым пушистым бобриком, такие же светлые стены создавали покойное настроение. Дипломат с гордостью показал на, видимо, шуточный рисунок, на котором отсутствовало какое-либо изображение, лишь надпись внизу гласила бесстыже толстыми буквами: «Любовь».

– Илья Кабаков. Более непристойного рисунка невозможно

представить, не правда ли?

Вероятно, под эту фразу данное произведение искусства и было куплено.

– Лучше было бы зачернить рисунок. Иначе говоря, потушить свет.

– Не думаю, что так было бы лучше, – заметил хозяин, оставив меня наслаждаться джином с тоником.

Я тогда впервые пробовал этот коктейль и по распространённому суеверию загадал нехитрое желание. И что ж? Оно исполнилось. Сам себе элита и иностранец, я до сих пор балуюсь по выходным этим восхитительным напитком со смолистым запахом и привкусом от зелёного ломтика лайма.

Окончание «Стигматов» стало для меня межой – и литературной, и жизненной. Они появились как итог длительных умственных и волевых (напрягов? прорывов? парений? – не ведаю), раздвинувших сознание, и пора было разобраться, в какие пространства занесли меня эти усилия: кто я теперь, где я, куда идти дальше? Для меня лично это была вершина – по энергии восхождения, по сиянию метафор, живости слов, – так мне, по крайней мере, казалось. Я понимал, что как и сколько я бы ещё ни написал, это останется моим акмэ, потому что потом уже приделывай белые крылышки и пой глоссолальные гимны, состоящие из одних только гласных. Да я и гулял уже словесно и умственно в саду христианских символов, став следующим за Даниилом Андреевым символистом – со сверкающей ночными красками приставкой «нео», конечно. Ах нет, простите, вовсе не символистом – трансценденталистом!

* * *

Это ещё больше изолировало меня не то чтобы от официоза (я и близко теперь к нему не подходил), но от многих собратьев по перу, туда стремящихся. То, что я делал, для них было уже «ни в какие ворота», религиозная пропаганда, никак и ни под каким видом не приемлемая для публичных выступлений, не говоря уж о том, чтобы напечатать.

Самиздат к тому времени успел организоваться вокруг литературных смельчаков: Виктора Кривулина, продолжавшего в открытую издавать машинописный журнал «37», и Бориса Иванова, затеявшего альманах «Часы», также машинописный. При всём моём уважении к их подвижничеству, какая-то дистанция, охлаждавшая наши отношения, постоянно мешала мне с ними сойтись. Может быть, с моей стороны это было ощущение «своего

собственного пути», эдакий русский соблазн, ныне ставший чуть ли не массовым явлением. Если и так, для отдельно взятого сочинителя это было только нормально. Путь, обозначенный столь энергичным вектором, как моя последняя композиция, мог означать только одно: «Курс – Вест!» И я стал составлять книгу.

Разумеется, ранние самиздатовские сборники я туда не включил. Достаточно было и того, что было написано уже в полную силу – и стихотворений, и циклов, и поэм. Даже многовато для первой книги. Невольно подумалось: вот, печатайся я, как те же Горбовский или Кушнер, которыми меня попрекнул совписовский редактор Кузьмичёв, хватило бы на несколько книжиц, посиживал бы теперь в Доме творчества, поскрипывал пёрышком дальше, да куда там! «Особый путь» уже вывел меня в литературные нети, к некоему лукоморью, где, пожалуй, сам чёрт ногу сломит. Но это же и утешало: пусть будет одна, но весомая книга. И листы стали сами собой раскладываться по разделам.

Метапоэзия, то есть стихи о словесности, задали тон всему последующему, сложившись в «Слова» – так я назвал первый раздел, ключевым понятием которого было Слово. Оно-то и явилось протообразом всей словесности, а вовсе не язык, как было провозглашено известно кем позже. И тут же написалось стихотворение-эпиграф о том, как жизнь автора перетекает в жизнь книги, становясь человекотекстом. Вот оно, это слово, которое пригодилось и тогда, и сейчас. Дальше стихи сами стали запрыгивать в разделы. «Виды» – это об увиденном в путешествиях по стране и хождениях по городу, «Цветы» – об опыте любовном и чувственном. Тоже – «Волны». И – «Мгновения»! Выдумал я даже специальный шевронный знак для посвящений моей главной адресатке. Знак этот прятал в себе зашифрованное имя.

Завершали книгу большие поэмы, затем «Медитации» и, конечно, «Стигматы», которые в моём авторском самолюбовании казались настолько светящимися, что их можно было читать в темноте, а всю книгу хотелось дерзко назвать «Сияния». Вовремя я спохватился, узнав, что под таким названием выпустила свою парижскую книгу Зинаида Гиппиус, и очень на неё досадовал. А потом успокоился – пусть! Я на полбуковки изменю это слово, звучать будет даже острей, а читатели пусть гадают, что значат сии «Зияния».

Оставалось обозначить автора книги, и я на минуту помедлил. Ох не обрадуется моя осторожная мать, когда сын её самовольно издастся в Париже! А если под псевдонимом? А если даже не под псевдонимом, а под моим родовым именем Дмитрий

Мещеряков? Оригинально: жить под чужим, а издаваться под своим, ни капельки не солгав и не спрятавшись от ответственности. Так я и подписался, подправив лишь на крещёный лад имя Димитрий. Как над этим Димитрием иронизировал впоследствии Довлатов, ссылаясь на «Даму с собачкой»! Но не знал он всей истории: Горбаневская, моя крёстная матушка, героически набиравшая эту трудную книгу, своевластно и даже не поставив меня в известность, перекрестила автора вновь в Димитрия Бобышева. Я обнаружил это, только увидев саму книжку!

Ясно стало одно: с этим мне и жить. Но спустя какое-то время, уже и не такое долгое, я оказался в Париже и попросил у Натальи объяснения. Её ответ был прост и суров:

– Кто такой Мещеряков? Никто! А Бобышев – литературное имя. Для издательства имя автора – это три четверти успеха, если не больше.

Да, о коммерческих интересах YMKA-PRESS я и не подумал.

ЧЕХОВСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Красавица – это всё-таки особое существо. Ей, наверное, и книг читать, и образование получать не так уж нужно: что ни скажет – всё удивительно умно, тонко, точно, до восхищения, до восторга, пробирающего тебя от корней волос аж до самого копчика. Можешь сколько угодно притворяться равнодушным, делать вид, скрывать свои чувства за иронией, но вот ты смотришь на неё, и – счастлив. И она это знает. Откуда произрастает совершенство, из каких гормонов оно вырабатывается, неизвестно – но это явно не только внешнее свойство. Это её душа, только она наружная, как листва у деревьев, а ты её можешь вдыхать или слушать.

Ах как я больно её обидел, когда объявил о звезде! Но что она могла сделать? Ведь – звезда! И она, чуть ли не с благоговейным ужасом, отступила.

Но разве я не говорил, что она умна? А уж чуткая – до телепатии. Первый звонок в наступившем году был от неё. И – ни упрёка. Через двадцать минут была у меня. Тюльпановскую развеску я уже наполовину снял, обнажив стены каземата; часть картин стояла в углу, другие ещё висели, и сама их искусность казалась мне тогда нестерпимой… Но красулю мою, явившуюся на обломки былой фантазии, вид этот эротически возбудил. Теперь уже не я ею – она мною обладала вполне.

Раны были зализаны, наступила пора новой влюблённости, но уже со зрелой уверенностью друг в друге. Я перестал её ревновать к «кому-то ещё», а новых поклонников она, вероятно, перестала поощрять. Я испытывал полную близость с нею и к ней. Наши разговоры, чувства, взгляды, дыхания перемешивались настолько, что, наверное, даже рёбра могли бы переплестись в единую корзину, окажись мы вдруг отброшены в какое-нибудь археологическое захоронение лет эдак на три с половиной тысячи назад.

Но, пока этого не случилось, мы стали встречаться чаще, и я, увы, вдобавок к свиданиям, появлялся в качестве «друга дома» с визитами у неё на квартире, где чувствовал себя превосходно, шутил, втайне ухмыляясь на другую тему, или обсуждал то, что у всех было на слуху: маразм властей и отъезды, отъезды… Её муж, которому я уж не знаю, что внушили, посматривал на меня уважительно и даже в какой-то мере польщённо. Типичный кандидат технических наук, наверное, знающий дело и старательный, он достиг карьерного потолка, застряв с секретностью в одном из «почтовых ящиков» военно-

промышленного комплекса.

А у неё на уме были теперь только Штаты. Соединённые, разумеется.

Однажды, когда мы, как лемуры, глядели расширенными и восхищёнными зрачками друг в друга, углубляясь в палочки-колбочки глазной сетчатки и далее чуть ли не прямо в мыслящий мозг, она вдруг отвела глаза.

– У меня к тебе просьба.

– Какая?

– А ты обещаешь исполнить?

– Обещаю, конечно, – подхватил я опасный подвохом сюжет.

– Устрой моего мужа к себе в эту, твою... пусконаладку!

– Да что ты?! Он же всё-таки кандидат наук, учёный, а ты его чуть ли не в водопроводчики, в сантехники хочешь... Это ж – абсурд.

– Я не хочу, чтоб он работал в почтовом ящике. Я хочу, чтоб как можно скорее с него сняли секретность. Ты мне только что пообещал что-то... Так исполнишь?

– Да, постараюсь.

– Нет, не «постараюсь», а обещай, что сделаешь.

– Обещаю.

Ах, Антон Павлович! В человеке должно быть прекрасно всё... а не только жена будущего коллеги.

Я уже устроил в наладку Вениамина Иофе, диссидента и «колокольчика», уговорив добрейшего, но немного робкого Юрия Климова взять его к нам, и об этом уже упоминал раньше. Но здесь было трудней, потому что кандидатура вызывала и у Климова, и у Егельского, его друга и советника, резонные недоумения и вопросы. С учёной степенью, из почтового ящика, да и с пятым пунктом, и сам пожелал в нашу лен-водку-спец-накладку... Что-то тут не так. Не хочет ли он эмигрировать? Тогда Климову будет неслабо, а, стало быть, и всем нам.

– Нет, у него секретность. Если бы и захотел – всё равно не отпустят. Карантин – десять лет.

– А как ты его знаешь?

– Знакомы домами. Порядочный человек, трудяга.

Удалось и это. Получите, прекрасная дама, левое ухо быка в знак признания ваших красот и добродетелей! Что ж теперь мне остаётся – тайно встречаться с женой сослуживца? Мысль эта обдавала меня пошлостью, отравляла всё более редкие свидания с умелицей и мастерицей мгновений.

И наконец ситуация разрешилась большим тарарамом в подвальчике нашей скромной конторы. Новый наладчик, едва пройдя испытательный срок и будучи принятым на постоянное

место, тут же подал заявление в ОВИР на выезд с семьёй в Израиль.

– Что ж ты, Димитрий Васильевич, нас так подвёл? Ты ж за него ручался! Сам небось знал о его планах, а нам не сказал?

– Для меня это – полнейшая неожиданность! Как же он уедет? Его ж не отпустят…

– А заявление тем не менее подал. Будет теперь сидеть в отказе, получать посылки из-за границы. А семью отпустят наверняка.

Так вот оно что! Она и его, и меня попросту использовала… Забегая вперёд, скажу лишь, что я оказался в Штатах раньше. Но и они задержались не слишком долго, выехав всей семьёй, несмотря на ни на какую, возможно и липовую, секретность. И всё-таки одним из первых деяний в новой жизни был её развод с мужем.

В ЛИТЕРАТУРНЫХ НЕТЯХ (продолжение)

Моё публичное молчание, неучастие в литературной давке стало наконец заметным и, более того, начало восприниматься как позиция. Появились любопытствующие посетители, всяк со своим вопросом. Симпатичная и нисколько не грузинистая Лена Чикадзе, одна из самиздатовских героинь и подвижниц, приводила молодых москвичей. Бывшие воспитанники Давида Дара, рассеявшиеся после отъезда учителя, забредали сами – может быть, в поисках его замены. Но никого я не окормлял, никаких наставлений не давал, в лидеры не годился. Даже и стихов сам не читал, лишь показывал приходившим машинописные листы.

Но, значит, сами тексты что-то им сообщали, раз я услышал однажды отражённое:

– Прав Бобышев. Нам нужна духовность, духовность и ещё раз духовность.

Неужели я так говорил? Наверное, нет. Но по этому принципу, по этому ощущению завязывались с кем-то из приходивших добрые и даже многолетние дружбы или, лучше сказать, взаимные доброжелания. Поэт Евгений Феоктистов, которого я видел-то всего разок-другой, взял и преподнёс мне длиннейший акростих. Несмотря на такую трудную, хотя и альбомную форму, содержание в нём было чётко артикулированным и внятным. Стихи эти впоследствии оказались напечатаны вместе с подборкой в антологии Г. Ковалёва и К. Кузьминского, но, увы, очень небрежно: крайние буквы не выделены, так что читателю и не догадаться, что это – акростих. Думаю, что издатель и сам этого не заметил, даже пропустил последнюю строчку. Воспользуюсь случаем и исправлю чужой недочёт:

Д. Б.
Бегство российских птенцов за моря…
Окна в Европу едва приоткрыты.
Были бы окна… Тоскует заря,
Шелест листвы прославляют пииты.
Если на пушки расплавлена медь,
Вряд ли наш колокол будет звенеть.
Уличных клавиш расшатаны плиты,
Дышит орган деревянного сна.

Милостью божьей владыка музыки
Именно он. Шалопутка-весна,
Ты в этот час приглуши свои крики.
Ревностно службу несёт часовой
Именем родины. Беглые блики
Юркнули в яму, накрылись травой.

Прячутся так. Вот и месяца жалоОттрепетало – и дело с концом.Снадобье света подорожало.Время убито и пахнет свинцом.Я не решаюсь на ересь побега.Щёлкнул затвор. За тобою победа,Ангел-хранитель с железным лицом.Ересь иллюзии не по кармануТьме пограничной. Спасибо туману:Свет в нём застрял. Огорчайся и плачь,Ябедник-селезень, дятел-стукач.

В той же подборке Феоктистова есть и другие акростихи с целыми фразами, зашифрованными в них, но они в этом издании оказываются неразличимыми. А посвящений «Елене Пудовкиной псалмопевице» и вовсе там нет, хотя он написал их не одно. Они как раз особенно удачны, заранее вызывая интерес и симпатию к поэтессе. Мне показали несколько её переложений из псалмов царя Давида, написанных тихим, но отчётливым и веским стихом, и я сразу понял, что она «из наших», своя.

И действительно, похожая на итальянского мальчика кисти Тропинина, а то и Караваджо, она располагала к дружбе, да и была хорошим приятелем с совершенно совпадающими воззрениями – на что? Да на всё, пожалуй: на жизнь и литературу, город и мир, народ и власть, а главное – на способы выживания в душерастлевающих условиях «развитого социализма».

Впоследствии, когда я писал статью «Котельны юноши», в первой же фразе после заголовка я специально оговорился: «И девы тоже», имея в виду именно Леночку. Она одной из первых двинулась к личной свободе через огонь и воду, и ржавые трубы пастернаковских «подвалов и котельных». Поэтесса и поэт, истопница и наладчик, мы оба располагали свободным временем для совместных прогулок по городу, в котором ещё сохранилось немало заповедных видов. Она жила на Пряжке в блоковском доме с огромным тополем во дворе (теперь его уже нет) и показывала, «даря» мне изысканные достопримечательности окрест: лестницу с витражными окнами «ар нуво» и подоконниками, усеянными порожними аптечными флаконами, – это место было по совместительству приютом наркоманов. Или –

чердак, из которого был выход на крышу с видом на другие крыши, провалы дворов и косые прорези каналов… Мы ведь, как-никак, жили в «Северной Венеции», где много воды, находящейся, к сожалению, большую часть года в состоянии снега и льда. Долго мы распивали бутылочку портвейна у фиванских сфинксов, наблюдая, как лёд этот шёл по Неве, раскалываясь с волшебным звоном на кристаллы, – слишком красиво, чтобы запечатлеться в стихотворении. Впрочем, она-таки преподнесла мне восьмистишие – по числу букв в моей фамилии в дательном падеже:

Бывает: чьё-то имя, словно ветку,
Обкусываешь, теребя в губах,
Без умысла, не ждя от букв ответа:
Ы – безголосо, те – блуждают где-то,
Шумят, как ветер в рощах и кустах,
Едва друг друга зная… Но при этом,
Вдруг встретятся и обернутся светом,
Уведомленьем об иных местах.

ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ НА ПЕТЕРБУРГСКОМ ФОНЕ

Дарила она мне и своих друзей – например, чету художников, живущих там же, в Коломне, известной прежде всего по пушкинской поэме, но напоминающей скорее Достоевского: нежное серое освещение на стенах дворов, мрачные глубокие тени подвалов, щемящее худосочие чердаков...

Там они и продолжают жить – скульптор Жанна Бровина и живописец Валентин Левитин – немногословные подвижники, годами сосредоточенные на малом, но исключительно избранном круге форм, тем, красок. Их жизненная и художественная аскеза настолько строга, что Левитин, например, десятилетиями изображает всего два предмета – вазу и бутылку, и лишь позднее он добавил к ним ещё один объект – башню. Тёмный келейный колорит и особая истовость вглядывания в душу предмета превращают эти простые вещи в подобие каких-то надгробий, в знаки тихого и многозначительного существования, о котором проникновенно писал Райнер Мария Рильке. Ему, открывшему в поэзии могучую энергию созерцания, пришлись бы по душе эти попытки сопряжений цвета и времени в предмете: серого и синего, настоящего, будущего и былого, а затем и вечного. Он увидел бы в этом любовь. Возможно, это же чувство, а не только терпеливое наслаивание краски на краску, медитации на медитацию делает натюрморты Левитина столь внушительными, хотя они и скромны по размеру.

Однако они не кажутся натюрмортами. Вот те же бутылка и ваза, но в вазу легли фрукты, а бутылочная грань чуть светлее обычного выступила из мрака, и перед нами уже не натюрморт, а двойной портрет предметов, брачная их чета, достойно позирующаяя перед зрителем и художником. На их платоническую свадьбу приглашён ещё один существенный персонаж – петербургский фон. Этот воздух и свет северного сумеречного города мог бы сам стать объектом искусства, и уже поэтому следующий натюрморт выглядит скорее пейзажем. А в первом – с брачующимися предметами – фон отнюдь не сливается с ними и не укутывает, он только слегка выделяет их из себя. В нём нет сырой зыбкости оригинала, то есть реального и ежедневного сурового ветра, несущего холод, нужду и боль, – это суммированная, остановившаяся атмосфера привычного, уже преодолённого и преображённого страдания. Поэтому союз двух предметов становится бесконечно трогательным, как любовь

калек.

Всё это зовётся метафизикой, которая просто не умеет быть популярной. Действительно, в бурную для художества эпоху, когда неофициалы выходят на улицу с протестующим искусством, ни Валентин Левитин, ни его скульптурное «альтер эго» Жанна Бровина не присоединяются к движению. И, разумеется, ничто не связывает их с официальным искусством, так же, как и Михаила Шварцмана, художника-анахорета, человека титанических потенциалов – и духовного, и творческого. Его можно, да и нужно назвать истинным главой метафизического искусства, если бы небольшая группа единоверцев, таких, как Левитин и Бровина, осознала себя как течение. Но прямое влияние Шварцмана на своё творчество они признают оба.

Другим образцом для Жанны Бровиной был Генри Мур, до недавнего времени «скульптор номер один» в западном мире. С ним были связаны первые попытки Бровиной ощутить свою личность в пластическом искусстве, с ним же – глубокие разочарования. Когда молодая ленинградка послала английскому мастеру снимки своих экспериментальных работ в надежде на одобрение, он сухо ответил через секретаря, что фотографии им вообще не рассматриваются, лишь оригиналы... Скульпторша справилась с таким неожиданным ударом, но её манера существенно изменилась: внешняя экспансия перешла в духовное исследование материала, в созерцательное движение внутрь, за поверхность формы.

Круг объектов Бровиной, может быть, даже меньше, чем у Левитина, а из всех них самый излюбленный и самый разнообразный один – голова. Причём не сразу можно сказать, человеческая ли это голова, либо принадлежащая существу иного порядка, потому что, будучи изваяна в шамоте или вылеплена в гипсе, она так же соотносится с реальной головой, как, например, лик иконы с реальным человеческим лицом. Скульптуры Бровиной – это главы духовных существ: героев, святых, ангелов, и вначале мы видим лишь общее их очертание. Но поверхность фигуры, когда-то насквозь отверстая у Генри Мура, теперь пронизывается мощным током медитативной энергии. Уже не только зрение, но также интуиция проницает поверхность, входит в образ, как в храм или же как в склеп, видит череп живым и одновременно мёртвым, то есть, подобно натюрмортам Левитина, сопрягает все времена в вечном...

ЧЁРНАЯ ШАЛЬ

Чуткий читатель может заметить стилистическое различие в предыдущей главке от остального текста. Правильно. Для простоты дела я использовал в ней свою же, но более позднюю заметку об этих художниках, напечатанную в калифорнийской «Панораме»...

Но вернёмся опять в «Северную Пальмиру». Тогда же Лена Пудовкина познакомила меня с ещё одним смотрителем крыш. Это был Наль Подольский, селившийся на верхотуре одного из домов в той же Коломне. Наружность его была отнюдь не романтической. На вид типичный доцент, каковым он и был, Наль совершал, тем не менее, головокружительные виражи в своей жизни. Бывший математик и кандидат наук, он вступил в братство «котельных юношей» и стал сочинять прозу, которая показалась мне примечательной и именно романтической, в духе любимого мною Леонида Борисова. В той же манере, что и «Волшебник из Гель-Гью», он написал повесть о Роальде Мандельштаме, с которым, кажется, был сам знаком. Эту повесть под названием «Замёрзшие корабли» я позднее вывез «за пределы» и напечатал со своим предисловием в парижском журнале «Эхо», о чём автор, видимо, решил запамятовать, так как напечатал её спустя несколько лет в Ленинграде в подцензурном сборнике «Круг».

Но я помню острое литературное наслаждение, когда Наль читал у себя в мансарде главы из другой повести, полной таинственной игры и сюжетных сюрпризов. Особенно увлёк меня эпизод на раскопках – этот мир мне был незнаком, но типы археологов, даже самые яркие и гротескные, были выписаны со всей живой убедительностью. Думал ли я тогда, что уже довольно скоро сам познакомлюсь с этим кругом и даже буду узнавать прототипы налевских персонажей?

А вот легендарный ныне поэт свалился мне прямо на голову. Из тюрьмы. Иду по Невскому и слышу:

– Дима, ты меня не узнаёшь? Я ж Олег Григорьев. Помнишь, у Глебушки виделись...

– Олег? Ты ж, вроде, в тюрьме...

– Только что вышел!

Сияет. Свежая рубашечка, новый костюмчик.

– Надо это дело отпраздновать.

Пошли ко мне. И началось. Я ему читал стихи. Он провозглашал меня Героем Советского Союза. Он читал свои знаменитые детские страшилки про электрика Петрова, притчи

про двух птичек – в клетке и на ветке (прямо про нас), я в ответ провозглашал его новым Хармсом и требовал ещё. И он стал читать прямо из воздуха взявшуюся абсурдистскую прозу, да какую! Помню только фрагменты: «Человек жил в условиях падения тяжестей». Или: «Гражданин, вы из какой давки? Это не ваша давка. Срочно возвратитесь в свою!» Это были краткие шедевры, я никогда не видел их напечатанными. Неужели они пропали?

А что он мне порассказал о своих злоключениях – это такой же абсурд. Пожаловал он по небезалкогольному делу в одну из новостроек широко раскинувшейся Ленинградовки. Дом – тот, квартира – та, а жильцы – другие, недружелюбные:

– Нет здесь таких. Уходите!

Вместо любезного друга – какая-то продавщица из гастронома и два её холуя. Это несправедливо! И Олег вступил с ними в неравный бой. Нагрянула милиция, Олега повязали, но он умудрился уйти в бега прямо из участка. Прятался от властей в мастерской Миши Блинского, успешного коллеги-художника. Долго там жил, чуть не год, пока Миша не уговорил его пойти сдаваться. И оказалось – напрасно! Ещё бы два дня, и истёк бы срок для розыска. А так: добро пожаловать, и – в лагерь.

Но художник и там не пропадёт. К тому же прислал ему замученный совестью Блинский полный набор для оформления красных уголков, и Олега освободили от других работ. А дополнительный профит приносила, увы, порнография, которую сбывал он томящимся зекам. Лепил каких-то кукол из пластилина, добавляя туда табачного пепла.

– Такая клёвая фактура получалась, через день-другой затвердевала, и – хорошо!

Эти разговоры, чтения, байки и, конечно же, возлияния продолжались и продолжались, пока не сказал я:

– Извини, Олежек, я в таком режиме гулять не умею. Мне – хватит.

И что ж, нисколько не обидевшись, мой трёхдневный постоялец деликатно исчез.

* * *

Вскоре появился у меня гость не столь экстремальный и экзотический, а всё ж весьма живописный и обаятельный. Поэт-смогист (СМОГ: Самое Молодое Общество Гениев) Юрий Кублановский, волжанин из Москвы. С внешностью артистичной, но не богемной. В стихах – мастер переливающихся эпитетов.

Православный. И такой свойский, как будто мы знакомы всю жизнь (за вычетом дюжины лет, на которую он меня моложе). Но и на будущее было нам припасено немало красочных встреч, стихотворных посвящений, дружественных статей и поминальных тостов: на могиле Ахматовой в заснеженном Комарове и у надгробия Пастернака в летнем Переделкине, а уж заздравных – без счёта на моей тогда ещё никому неведомо приближающейся свадьбе. А позднее – чокались мы кружками в мюнхенских пивных садах, бокалами в парижских погребках, сдвигали стопки на берегу Оки в Поленове и Тарусе, опрокидывали рюмку-другую в столичных клубах и прикладывались из горла на борту прогулочного судёнышка в дельте Невы…

И не столько сами пирушки, как ни веселы и уместны они оказывались с таким сотрапезником или даже собутыльником, как Юра, грели и радовали душу, сколько тон внимательного и участливого понимания, который между нами установился сразу по самым главным темам, по приоритетам ума и сердца. Это были, конечно, поэзия и Россия.

Кублановский не только изъездил глубинную Русь, но часто путешествовал по северным брошенным монастырям, начиная с Соловецкого и южнее, водил сезонно экскурсии в те из них, где теплились реставрационные работы и туризм. Я ездил и хаживал там раньше, когда туризм ещё не развился, то есть оставался странничеством, если не паломничеством по опустелым святыням, но впечатления наши опять же совпадали: изнасилованная природа, обесцерковленные пейзажи, разорённая культура – прямо указующие на своих супостатов и разрушителей, как в Юрином стихотворении памяти замученного Николая Клюева:

Вот бы этих комиссариков,
шедших с грамотой к крыльцу,
растереть бы, как комариков,
по усталому лицу.

Чтобы написать такую инвективу властям, нужна гражданскую смелость, и ещё большая отвага (чисто литературного свойства) требовалась, чтобы признаться в страхе перед ними, – впрочем, совершенно обоснованном.

Пахучи «Правд» и «Известий» полосы,
броваст антихристов иерей.
И шевелятся от страха волосы
на голове, голове моей.

Но если выбирать самый характерный мотив в его стихах того времени, это оказалась бы любовная сцена где-то посреди России на фоне разрушенного или осквернённого храма. Она могла происходить в Лявле, Куевой Губе, Груздеве или Дюдькове, либо в ином месте с уютным для русского слуха названием, даже в Москве, но с неизменным перемежением любви и страха – страха метафизического перед ежеминутно совершающимся христонадругательством в стране и любви к подруге, любви как попытке сотворить малый личный храм, спасение и опору в жизни. Во многие, очень многие стихотворения были вкраплены приметы духовного одичания, такие жгучие и такие острые, что при чтении вызывали у меня восхищение этой точностью и страх за судьбу дерзкого автора.

Перед самым своим отъездом Геннадий Шмаков, знаток поэзии Михаила Кузмина, сделал ряд добавлений в моём экземпляре «Форели, разбивающей лёд», вписав туда недостающие строфы, вычеркнутые в своё время цензурой. И поэма, оснащённая новым трагизмом, зажила для меня отнюдь не комнатной жизнью:

Затопили баржи в Кронштадте,
расстрелян каждый десятый.
Юрочка, Юрочка мой,
дай Вам Бог, чтоб Вы были восьмой.

Эти строки я часто повторял Кублановскому.

Страх… Время от времени он наплывал волнами, часто от разговоров с такими же напуганными друзьями обо всех этих прослушках, слежках, стукачах… Большей частью – страх нагнетённый, мнимый, будто нас и в самом деле облучали им из каких-то секретных орудий. И чем смелей, чем независимей держишься, тем поганей тебе это трусливое чувство. Да я и не верю в бесстрашие – для меня оно равно бесчувствию, а человек ведь недаром наделён инстинктом ощущения опасности.

У Юры было достаточно причин нервничать: он в то время ввязался в создание полуподпольного альманаха с довольно-таки ресторанным названием «Метрополь». Правда, с ударением на первое «о». Затея, в ресторане и зародившаяся, исходила от Василия Аксёнова и объединяла самых разных участников – и членов Союза писателей, и неофициалов: такой странный симбиоз удовлетворял тех и других. Все ждали скандала и даже рассчитывали на него, следуя принципу «пан или пропал».

О готовящемся я узнал ещё раньше от Рейна. Он предложил передать ему стихи для альманаха, называл громкие имена, видя в них залог верного успеха.

– Не знаю, мне как раз эта комбинация и не нравится. Кроме того, сугубо между нами: я печатаюсь в «Континенте», – сообщил я ему. – Вас, я имею в виду редколлегию, если она существует, такое устроит?

– Нет. Тогда – всё. Авторы «Континента» для нас – уже слишком.

«Континент» был страшилищем даже для них.

Скандал таки разразился, и если это входило в планы Аксёнова, то они осуществились. Он покинул страну на гребне большой шумихи. Другие «имена» были защищены собственной известностью. Вознесенский, например, укатил представлять «людей доброй воли» куда-то в Южную Америку или даже дальше, в Антарктиду, к пингвинам... Остальным достались более крупные неприятности. Кублановского попёрли со всех его малодоходных, но всё-таки интеллигентских работ, он устроился церковным сторожем под Москвой... Я навещал его там. Однако следователь ГБ тоже приходил «беседовать» в его сторожку.

Когда Юра приехал ко мне в следующий раз, я повёл его познакомиться с Леной Пудовкиной. Мы посидели втроём, почитали стихи, выпили. Чёрные вишенки глаз у Лены заблестели. За хорошим разговором и думать забыли о всяких страхах. В весёлом настроении вернулись ко мне на Петроградскую. Когда Юра скинул пальто, а я свою куртку на подозрительном, но тёплом меху, я вдруг заметил чёрную шаль, лежащую на полу.

– Что это? Кто-то здесь побывал в наше отсутствие?

– Это – чёрная метка. Не иначе как ГБ!

Настроение резко упало. В унынии мы разбрелись по койкам, ломая головы над неразрешимой загадкой.

Когда я рассказал Лене об этом случае, она вдруг рассмеялась:

– А я-то искала, где моя шаль? Кто-то её увёл с вешалки.

– Фу ты, какое позорище! Так она к моей куртке прицепилась, а я и не заметил... Хорош, значит, был!

Кончилась эта история Лениной эпиграммой на двух храбрецов, в которой, конечно, варьировалась пушкинская «Чёрная шаль». Сохранись она в моём архиве, я бы её здесь поместил.

АМЕРИКАНКА

Случалось ли кому-либо из читателей держать пари «на американку»? Это – смертельный номер, если верить легендам уголовного происхождения, западающим в сознание старшеклассников на всю жизнь. Проигравший в таком споре обязан выполнить любое, даже самое страшное желание выигравшего, вплоть до отдавания себя в рабство. Ну, спорить на таких условиях и мне не приходилось, но американка всё-таки была, и жизнь свою, словно посох о колено, переполовинить пришлось.

А началось это, как и другие описанные ранее сюжеты, с отъезда Якова Виньковецкого с семьёй на Запад. Ко многим талантам Якова добавлялся и редкий дар дружбы, позволявший ему быть в доверительных отношениях с самыми разными, порою никак между собой не сочетаемыми людьми. Но я не сомневался, что у нас с ним – случай особый: и по духовному сродству, и по схожим путям внутреннего становления. Об этом я и рассказывал ранее. И вот когда, по крайней мере географически, пути наши далеко разошлись, оба крепко схватились за связи лишь частично материальные: письма, стихи и книги, приветы через других людей. Свидетельством тому – его аэрограммы, открытки и даже подробные отчёты из Вены, Рима, из Нью-Йорка, Вирджинии и, наконец, из техасского Хьюстона, рассказывающие прежде всего о перипетиях эмиграции (свою версию потом изложила и издала книгой его жена Дина), но также и о впечатлениях, мыслях и оценках, связанных с моими сочинениями. Это было для меня мощным стимулом и поддержкой в безвоздушии, в нетях. Процитировать из Яшиных писем хоть что-нибудь или нет? Было бы глупо такое таить. Вот что он писал мне:

> 16 мая 1977, Вирджиния
>
> Дорогой Дима! С большой радостью получили мы письмо твоё от 2 мая с. г., и с «Медитациями»! Ну, не чудо ли, что это возможно? Вот они, опять передо мной, и вкупе с Третьей, которую я слышал ведь только с голоса и бегло, а глазами так и не видывал! Подлинное чудо. И я смог ещё раз убедиться (хоть и никогда, правда, не сомневался), что глубочайшая моя привязанность к этим стихам не была ни ошибкой дружественности, ни прихотью вкуса, но каким-либо вообще «бзиком» (в чём меня некоторые люди винили по причине моей якобы чрезмерно высокой оценки). Нет,

нет и нет! Вижу я снова, что «Медитации» – по их подлиннейшей созерцательной и религиозной правде, натуральнейшей потусторонности и глубокому пронизывающему христианскому реализму – стоят особняком по отношению ко всему, что мне известно в поэзии вообще… В зримом, физическом (если хочешь – поэтическом) выражении все эти качества проявляются, насколько это видно моему сознанию, в выкристаллизованной стиховой безупречности. Это то, о чём мечтает и поэт, и любой художник, – когда каждый элемент, слово, строчка, точка – равно весомы и необходимы для общей ткани-гармонии. Для создания подобного уровня «сделанности» требуется целая жизнь увлекательных, соблазнительных и тяготных «искушений в искусстве», в мастерстве делания и эстетического понимания – но и прежде всего этого, и при этом – достигнутом, подлинный успех покоится не на твёрдо-окаменелом или минутно-вдохновенном «мастерстве», а на трепетной Вере и Надежде, и Любви… Впрочем, что я тебе всё это говорю? Тебе всё это известно. Просто – хочется поделиться с тобою ещё раз радостью, общей радостью. С Третьей частью, ранее мне практически неизвестной, композиция «Медитаций» приобрела лёгкую и прочную стройность. Первая – статическая медитация, созерцание Света; оба, созерцающий и Созерцаемый – неподвижны в стяженном моменте, который похож ещё на преддверие вечности. А во Второй части – космогонической, всё в движении, но совершенно особом: это как движение распускающейся розы, когда в начале содержится и завершение, и наоборот – движение недвижное, центрированное, всегда в себе завершённое. Это сама вечность, я убеждён, выглядит в нашей символике. А в Третьей части «возвращается всё на круги своя», виден непосредственно путь созерцающего взора, тут начало медитации – непосредственная молитва, и как хорошо, что это начало в конце; и от последнего многоточия – путь снова к первой строке Первой части возвращает меня в чудное переживание, полное радости, глубины и величия.

Твой Яков

14 мая 1978, Вирджиния

Дорогой Дима, прими мои поздравления; я тебя

обнимаю братски, и так хотел бы разделить твои радости и трудности. Всегда, часто с тобой через письма и стихи. А с тех пор, как много их толстой пачкой лежат на моём столе – иногда выхватываю из деловитой и деловой суеты время и вхожу в сверхреальный контакт с тобой, вырываясь вместе и вслед за тобою в нетелесные выси и погружаясь в глубины. Всякий раз чтение твоих стихов приносит новое понимание, а недавно я открыл в себе способность и другим помогать понимать тебя...

Я достал «Медитации» и прочёл им, каждый стих дважды – и всё стало понятно. Ну, не всё, быть может, – там столько бесконечности, что и всякий маленький кусочек бесконечен и соприкасается с Главным, и радует душу просветлением. А пока я читал, я и сам понял по-новому то, что раньше думал ведь, что уже понимал! Понял вдруг, что физическое время и место Третьей медитации – это ведь момент причастия, пока лжица движется от Чаши ко рту. Это стало вдруг пронзительно-очевидно и, установив «поверхность отсчёта», дало новую глубину. Ещё раз я с гордостью осознал всю неслыханность, небывалость и подлинную, взрезающую сердце новизну того, что Бог помогает тебе для себя и всех нас совершать в языке.

Твоя поэтическая судьба будет трудной и долгой. Потому что понимание твоих стихов должно базироваться на системе ассоциаций, пока ещё мало знакомой и внешне чуждой (но, будем надеяться, внутренне прирождённой) для большинства твоих потенциальных читателей. Но это сделано тобою на века – связано в словах, решено и запечатлено и запущено, как камень в жизненные воды, – теперь только начинают расходиться круги, потом достигнут они когда-то неизвестных нам берегов и отразятся, и будет интерференция – до неё, наверное, нам и не дожить. Но что вижу я наверняка – это что дело твоё, которое ты делаешь – это подлинное Деяние. А моё, может быть, дело в этой общей нашей жизни – это тебя обнять и за всех поблагодарить, и сказать вместе с тобой «Слава Богу!»

Твой Яков

И это он написал мне, ещё не читая «Стигматов», не зная части четвёртой, посвящённой ему. Хотя я сам считаю такую оценку завышенной, она всё ж уравновесила противоположные

попытки отрицания и даже полной аннигиляции (как будто и не было) моих текстов. Та, четвёртая часть, недаром изображала словесно честные раны на руках Распинаемого. Как об этом писал Святитель Димитрий? «О пресладкие язвы ручные! Поклоняемся вам благодарственным поклонением и простираем к вам руки наши, дабы ущедрили нас». И я дружески протягивал руку и обращался:

Помоги, прошу, восплакав,
другу, Яков!
Яков!

И Яков, действительно, стал мне помогать – даже более, чем он, должно быть, предполагал.

Позвонил голос с сильным английским акцентом. Хорошо, что я сам оказался у телефона, а не кто-то из соседей. С трудом понимая друг друга, договорились о встрече у входа в Публичку. Нашёл я там парочку иностранно-студенческого вида, навьюченную книгами. Всё это – мне. Но у них-то четыре руки, а у меня всего две. Хорошо хоть, что взял с собою авоську. Скорей в метро, и – домой, переживая лишь из-за того, что уголки книг варварски мнутся в ячеях сетки. Приехал, разложил своё опасное богатство. Издания Филиппова и Струве: первый том Ахматовой, три тома Мандельштама, двухтомники Волошина и Клюева. В довесок – книги издательства «Посев». Ну, здесь всё – пропаганда, присланная в нагрузку, как и у нас бывает с подписными изданиями. Первым движением было избавиться от этой добавки как можно скорее... Но сразу же подумалось: а зачем? Если уж нагрянут с обыском, то ведь для них и то и другое – одинаково запрещённый тамиздат. А самиздат, которого у меня предостаточно? А мои собственные сочинения, которые при желании можно истолковать как антисоветскую или равным образом предосудительную религиозную пропаганду? Вспомнилась статья Виньковецкого, пущенная им в самиздат ещё до своего отъезда о том, как вести себя на допросе в КГБ. Он там писал: «Главное, что очень часто мешает человеку, оказавшемуся в лапах кагэбистского следствия – это ощущение своей невиновности... это иллюзия, от которой надо избавиться поскорее и полностью. <...> Ведь вы не отказывались при случае прочесть самиздатовскую рукопись. Может быть, у вас и дома есть (или было когда-нибудь) нечто недозволенное, напечатанное на машинке. И когда-то вы давали это прочесть ближайшему другу?

Этого достаточно – вы виновны».

Далее Яков цитирует статьи 70-ю (часть первую) и 190-ю УК РСФСР и продолжает: «Может быть, вам ещё что-нибудь неясно?..

И вы поймёте, поймёте окончательно, что перед этим законом мы все и всегда виновны. Он специально для того и сделан, чтобы власть имела бы возможность покарать любого из нас в любую минуту, когда это почему-либо будет сочтено нужным или желательным».

И, наслаждаясь моментом, пока эта минута не наступила, я выставил книги на полки, хотя наиболее политизированные держал всё-таки не на виду. Вскоре последовал ещё один привет от Якова. Его привезла американская аспирантка-археолог с русским именем Ольга.

Она и была русская, но не советская, как она впоследствии не раз подчёркивала. Её родители ещё детьми покинули Крым на приснопамятных серых миноносцах французского флота, осели в Сербии и вот – начали всё-таки заново свою русскую жизнь с церковью, конечно, с институтом благородных девиц и кадетским корпусом. Возобновились надежды на возвращение, все сидели на чемоданах. Однако симпатичная и православная Сербия превратилась после войны в коммунистическую Югославию с диктатором Тито, который поссорился не только с Советским Союзом, но и со своими русскими. Пришлось им эмигрировать во второй раз, ещё дальше – за океан, так что Ольга, родившаяся в Белграде, выросла уже в Нью-Йорке.

Встретились мы в доме моего взрослого крестника, принявшего православие совсем недавно. Случайно или нет – всех присутствующих объединяла дружба с Яковом Виньковецким. О нём-то и заговорили в первую очередь – как он там? Ольга повернула разговор: а как вы сами-то? Она свободно говорила по-русски, но некоторые обороты звучали неожиданно. Слышался, к тому же, не то чтобы акцент, но какой-то другой, не наш выговор, как иногда разговаривают русские, живущие в Прибалтике. Её американский муж русского языка почти не знал, но в разговоре участвовал, произнося по-английски довольно расхожие фразы на тему детанта – так называлась в ту пору разрядка напряжённости между Востоком и Западом. А она была явно умна, быстро схватывая суть нашей жизни, сочувственно иронизируя вместе с нами. Короткая стрижка, русая косая чёлка, элегантные очки в тонкой оправе, неожиданно виноватый взгляд. Когда мы с её «хазбендом» отошли к окну, договариваясь о деле (мне нужно было срочно перекинуть рукопись за бугор), я заметил, что она сравнивающе на нас смотрит. Как бы то ни было, я пригласил их к себе в гости на Петроградскую.

Она пришла одна – в широком чёрном пальто с капюшоном, прикрывающим её чёткий профиль. Принесла ещё книг, какое-то угощение из «Берёзки». Но прежде чем сесть за стол, я предложил

короткую прогулку к Неве. Мы вышли на кронверк. Сильная, отливающая жестью река разворачивала свой наиболее имперский вид: Зимний, Адмиралтейство, Исаакий, Стрелка… Но ведь не только имперский, а и личный: моё сознание годами строилось по тому же формирующему, многократно мной видимому лекалу, так что показывал я отчасти и самого себя. А отзывались ли в американке её российские корни?

Когда мы вернулись к угощению, я расспросил её побольше. То, чем она занималась, было дико интересно: мамонты, каменный век, охотники и собиратели. Это её вторая профессия; раньше была мода, реклама… Теперь – наоборот, древность. Она – докторант Нью-Йоркского университета, собирает материалы для диссертации. Здесь находится по научному обмену, который обеспечивает ей долговременное пребывание с семьёй. Муж просто за казённый счёт её сопровождает, купается в московских привилегиях для иностранцев, разыгрывает из себя диссидента, крутит роман с ресторанной певицей и сейчас вот укатил в Сочи. Так что, как я понял, отношения их держатся на взаимных удобствах да ещё из-за малолетней дочки.

Она глядела на меня выжидательно, с удивившим меня ранее чуть виноватым выражением карих глаз. А если её поцеловать? И я сделал первый шаг, навстречу её (и, конечно, моим) хотениям. Как оказалось – шаг решающий: невидимый стрелочник на небесах перевёл рычаг, и мой состав покатился всё дальше и дальше в другом направлении.

Мы отлично подошли друг другу: она была моложе ровно настолько, сколько уместно в моём возрасте. Выглядела классно, в деловом стиле, недаром прежде занималась модой и всегда была чуть в авангарде. И действительно, большие квадратные сумки из кожи, которые она носила на плече, стали популярными на десятилетие, пожалуй, даже на два вперёд. Но и я не был уже тем гопником, каким предстал ещё недавно звезде. Как раз незадолго до этой встречи моя просто знакомая телевизионная раскрасавица Танечка Видова (так уж у нас с ней полупрохладно получилось) по старой памяти предложила прокатиться с ней в Выборг на финскую распродажу, и я отхватил по моим деньгам такой костюмчик, что Видова чуть обратно в меня не влюбилась. Тот костюм служил мне потом во многих торжественно значимых случаях.

Но дело всё было не в этом, а в том, что с Ольгой я взглянул на себя и на мир со стороны, и не чужим, не «гордым взором иноплеменным», а почти своим, понимающим и сочувствующим. При всей общей «продвинутости», мои мнения были порой диковаты, непереброжены, а верхоглядом мне всё-таки быть не

хотелось. Только сочинительствуя, идя в глубь тёмных тем – сквозь слов и через язык, – пользуясь его мудростью, удавалось порой ухватиться за самую суть явлений. Теперь к этому добавлялись и диалоги с моей Аэлитой. Она сама, впрочем, устремлялась в совсем уже немыслимые наслоения времён, в палеолит, готовясь к экспедиции по стоянкам доисторических людей на Украине в Межириче и затем в Авдееве под Курском.

– Ну, вот и повод нам теперь расстаться, – предложил я.

– Почему? – встрепенулась она. – Мы можем ведь встретиться между экспедициями в Москве. Или я могу прилететь сюда...

– Потому, что это для меня уже всерьёз. Да и зачем продолжать? Ведь потом ты исчезнешь, превратишься в мерцающую точку на карте. Всё у тебя вернётся на привычные рельсы, а мне станет больно.

– Нет, нет, пусть будет всерьёз. Ничего не вернётся. Я всё равно развожусь.

– Так, значит, что – вместе?

– Вместе!

Этим словом обозначился некий замысел, который без согласия и снисхождения верховных сил нам двоим было бы не одолеть. А так, с невидимой, но ощутимой поддержкой приходилось лишь верить, терпеть, ждать, рыть носом землю и пользоваться любой возможностью – запиской ли, звонком или реальной встречей, чтобы удержать это связующее понятие. А что оно значило? Где – вместе? Испытуя и сам страшась довериться, я спросил её:

– А сможешь ли ты жить со мной здесь?

– Да. Думаю, что я смогу. Но не Маша... Отец не даст.

Это – её дочь. Конечно, немыслимо отдавать американскую девочку в советскую школу. И я бы своего ребёнка не отдал. Но у меня детей нет.

– А своего мы заведём?

– Да, но сначала надо диссертацию кончить.

Мы ездили к нам на семейную дачу на 78-й километр, нарушив уже на двадцатом железные предписания для иностранцев. Гуляли, пили кислую ягодную настойку, переводили английские стихи. Лучше всего вышло из Конрада Эйкена – словно моё собственное любовное признание:

С тобою песня – более чем песня,
хлеб преломлённый – более чем хлеб.
А без тебя их суть пуста и пресна,
стол омертвел, бездушен и нелеп.
Охват твоих перстов навек наполнит,

казалось мне, бокал и серебро.
Любимая, они тебя не помнят,
пыль и печаль – отныне их добро.
Лишь сердцем я храню святые меты
прикосновений, и наперебой
лишь в нём одушевляются предметы,
красавица и умница, – тобой.

Когда ждали поезда обратно на пустой платформе, вдруг сработала аварийная сигнализация на трансформаторной будке. Резкие повторяющиеся звуки ударяли по нервам, никак не желая прекратиться. Казалось, сам трансформатор превратился в кагэбэшного робота и забил тревогу: «Иностранка! Нарушительница! Иностранка!»

Грустно было возвращаться: ведь скоро ей надо было улетать, – то ли на год, то ли навсегда… Всё её полевое лето не прерывалась наша связь: шли письма в обе стороны, раздавались телефонные звонки, даже из каких-то тьмутараканских сельсоветов, с её говорком, ставшим для меня драгоценным:

– Не передумал? Не перерешил?

– Нет, не передумал. Люблю, верю, жду.

Если бы то напряжение чувств перевести в электричество, для него понадобилась бы силовая линия. Я вот теперь подумал было вставить наши диалоги из тех писем, хотя бы в выдержках, в это повествование, открыл одну из толстенных папок, и меня просто током ударило. Нет, лучше не надо. Скажу лишь описательно, что такая высоковольтность возникла от полной (насколько вообще это возможно) открытости между нами, которую мы оба согласились поставить условием для отношений. И оттого – исповедальность, психоанализ себя и другого, проверка обоих «на гадство», «на вшивость», а главное – на надёжность, прежде чем ломать жизнь и вверять судьбу в другие руки. Ломать предстояло многое – и ей, и мне. Но вот – стоило ли? Узнаем.

В перерыве между её экспедициями мы повидались в Москве. Приобщились истокам как русским, так и американским. Съездили в Коломенское, побродили там среди старины. Вернулись, зашли в американское консульство на Садовом кольце: я – впервые и с замиранием сердца, она – уверенно, как домой. Наделала там ксерокопий каких-то статей, отослала и получила почту, повела меня во внутренний ресторан, где я причастился гамбургеру – с помощью ножа и вилки, несмотря на её протесты!

Но вот наступила пора прощанья. Маша с отцом улетели

раньше, так что нам никто не мешал. Мы оба восходили на умозрительный, но, несомненно, крутой перевал, – хватит ли у неё сил, жил, не тонка ли кишка? А – у меня?

Шереметьево-2. Пробормотала напоследок невнятно – мол, подожди ещё, не уходи сразу. Прошла таможню, где-то в глубине – паспортный контроль, вот она уже и за границей, и – совершенно неожиданно – вышла в череде других пассажиров на балкончик верхней галереи. Секундная заминка. Последний взгляд! Как я оттуда доехал до Москвы, плохо помню. Придётся всё-таки процитировать своё же письмо:

> Я держался в таможне до последнего, но когда увидел тебя из-за границы и сел потом в такси, всё же расквасился. Хорошо, что таксёр был опытный, всего навидавшийся. Спросил только, провожал ли я, и я признался, что да, провожал, и тогда он стал отвлекать-развлекать меня всякими шофёрскими и житейскими историями. В это время ты взлетела, и раздались, вероятно, аплодисменты пилоту…
>
> Когда я выполнял твоё поручение, ваша Оля М. разглядывала меня из-под очков с таким жгучим любопытством, что я понял: археологический мир уже начал тему, которую будет обсуждать до следующего полевого сезона. Ну а затем нужно будет подбросить ему ещё одну тему.

Но мы были не одни такие. В той группе молодых учёных, с которой прибыла Ольга, образовались русско-американские парочки со сходными страданиями и проблемами и разными методами их решения. Словом, дети детанта. Между ними сразу же возникали доверие и взаимопомощь. Костюмерша «Современника» Женя влюбилась в гарвардского докторанта и, сочувствуя, давала приют нам с Ольгой в своей московской квартире на улице 8-го Марта, дом 8. Она же буквально отирала мне слёзы, когда я проводил мою суженую на долгую разлуку.

И начался наш трансатлантический марафон.

ДЕТИ ДЕТАНТА

Вернувшись из Москвы в измочаленных чувствах, я обнаружил на дне чемодана письмо. Это было – первое в череде сотен, за ним последовавших во время нашей океански раскинувшейся разлуки: письмо-сюрприз, написанное Ольгой ещё в Москве, когда мы были вместе, и ею же спрятанное так, чтобы я мог прочитать его только после отлёта. Оно являлось любовной декларацией, которая вступала в действие отныне и навсегда. Текст – сугубо личный, я его не цитирую, но всё-таки изложу суть, поскольку стал он в то трудное время моей опорой и оправданием принятого решения.

Она писала, что чувствует во мне родство (или – «сестричество») душ и, во многом, ума, что полюбила насмерть и, по-видимому, навсегда. Это – иное, чем знакомые ей в прошлом чувства, и теперь только со мной ей и быть – для полноты и красоты жизни, для самоосуществления, для счастья, для души, для всего. Писала, что ждёт нас тяжёлый период (о да!) и что надо воспринимать его как суровую и, может быть, нужную проверку. Что её избалованное американское «эго» возмущается, но разум такую проверку признаёт и принимает. А дальше – судьба, радость, любовь – всё состоится.

В сущности, для подпитки сердечного горенья такого письма хватило бы на много недель вперёд, требовались бы только какие-нибудь подтверждающие сигналы, и то – время от времени. И они посыпались в виде международных звонков, писем, приветов, – начиная со следующего дня. Утром меня разбудил стуком в дверь старикан-пенсионер, поселившийся за стенкой:

– Дмитрий Васильевич! Вам могут звонить из Америки?

– Ну конечно!

– Так идите скорей к телефону!

Она! Голос грустный, но уверяет, что всё идёт по-задуманному. Голубка! Разоряет сейчас своё гнездо ради меня – причиняет обиду другому (я знаю кому) и боль себе. Вот ужас-то, нужно ли это? Если судьба, значит нужно – такова отговорка, которую я произношу, и она сама её знает. Звонит за поддержкой. А какая отсюда поддержка? Верю, люблю, ужасаюсь и восхищаюсь. Всё будет!

Стали приходить её письма в длинных, непривычного вида конвертах. Иногда они задерживались, а более поздние приходили раньше. Я, конечно, вовсю строчил ей в ответ – так уж получилось, что она всегда опережала, хотя и звала меня «хозяином слов». Выдумала ещё одну инициативу, довольно-таки

авантюрную.

Попросила писать по её адресу письма для какой-то якобы обнаружившейся там, в Нью-Йорке, моей тётушки, и сама от её лица накатала какой-то бред, зовя «племянника» в гости. Я даже не стал поддерживать эту игру. Тем не менее пришёл мне официальный запрос от этой «тётушки» с приглашением её посетить, нотариально заверенный и даже с подтверждением Госсекретаря, – считай, министра иностранных дел, с лентами и печатями. Красивая была бумага! Поразмыслил я, да и отправился с этим в ОВИР – поиграть ради Ольги, сам в затею нисколько не веря.

Но это оказалось полезней и трудней, чем я думал. Полезней – психологически, потому что, переступив через порог этого пресловутого, ведающего судьбами людей заведения, я переступил и свой страх перед ним. А трудней – из-за того, что потребовали характеристику с места работы. Ох, не хотелось мне бередить администрацию нашей тихой заводи, но «назвался груздем, не говори, что не дюж», или как там? При содействии того же милейшего Юры Климова, которому на этот раз я попросту лгал относительно «тётушки», дали-таки мне положительную характеристику. Даже трогательно спросили:

– А как вы её там найдёте, в таком большом городе, как Нью-Йорк?

– Не беспокойтесь, возьму такси.

И с этим сдал заявление в ОВИР на гостевую поездку. Долго они там его рассматривали, около месяца. Вдруг звонок: приходите на приём. Неужели вышло? Прихожу и выслушиваю следующее:

– Мы находим вашу поездку в США нецелесообразной.

И никаких дальнейших объяснений. Итак – отказ. На работе администрация делает мне козью морду. Поток писем от суженой моей что-то прервался. Поехал я в тоске по объектам. Осень. Уже и ранняя зимка наступила. Но куртка на собачьем (как я подозреваю) меху да пара исподнего, только что купленного белья меня греют. Еду я, «одолевая обожанье», в электричке среди угрюмых похмельных соотечественников. Стараясь не глядеть на их серые лица, я кошу глазами в окно с подтёками, где мелькают голые прутья кустов, да иногда с внезапным воем прогрохатывает встречный поезд, заставляя отшатнуться. Но вот я вижу там на скачущем блёклом и мутном фоне что-то оптимистическое и яркое. Это – стоящий на путях состав с контейнерами, явно заграничными, даже, возможно, американскими, – угадываю я по двум буквам на их бортах: ic. И веселюсь этому случайному знаку, словно радостному пророчеству – всё будет! Несколько лет спустя

я был приглашён на выступление в женский колледж Брын Моур (Bryn Mawr) под Филадельфией. Арабские принцессы, дочери нефтяных шейхов, преобладали там среди учащихся, но, несмотря на это, была там традиционно сильная кафедра славистики. После выступления я отдыхал в доме Жоржа Пахомова, заведующего кафедрой и, по старой памяти, одноклассника моей Ольги. После обеда, держа в руках по коктейлю, мы спустились в подвальный этаж дома. Там у него, как у школьника-переростка, была устроена действующая (игрушечная, конечно) железная дорога с мостами, станциями, семафорами и стрелками. Он включил пультик управления, и всё это заработало: забегали пассажирские, товарные поезда, поехали колёсные платформы с контейнерами и надписями на бортах.

– Жорж, а что значит эта надпись: ic? – спросил я хозяина.

– Это – Illinois Central, наименование грузоперевозочной компании, – ответствовал он.

– Не может быть! Это же как раз там, где я теперь живу.

– Ну и что тут невероятного?

Как было объяснить этому специалисту по Чехову, рождённому в Европе и выросшему в Штатах, да ещё и женатому на экзотической бразильянке, что тут невероятного? Всё!

* * *

А тогда, вернувшись с поездки по замёрзшим объектам домой, я схватил с телефонного столика сразу три длинных конверта и унёс драгоценную добычу в свою комнату. Заставляя себя не торопиться, я пошёл на кухню, обжарил с луковицей 200 грамм любительской колбасы кусочком, бухнул туда банку стручковой фасоли и унёс скворчавшую сковородку к себе. Вытащил полбутылки портвейну, налил и только тогда стал читать её письма – ласкающие, утешающие, бодрящие, словно тёплая ванна с травяным шампунем, оставленным ею для наиболее памятливого чувства во мне – обоняния.

Самые тёмные дни в том году не стали светлыми, как долженствовало им быть, следуя ахматовским строчкам, и декабрь не стал месяцем-канделябром, следуя моим… Советский быт поворачивался, красуясь то одним, то другим из своих эмблематических уродств: вот, например, отнёс я мои невыразимые в прачечную, нашив на них тряпичные номера. Рубашки я у них не стирал – пуговицы лопались от жара, а бельё сдавал. Пришёл за чистым через два дня.

– Ещё не готово. Зайдите в понедельник.

Ладно. Отложил деловую поездку на вторник ради прекрасных тех сподников, и что ж? С утра в предвкушении чистоты и тепла их надеваю, и – вот тебе на... Низ их вытянулся неимоверно, а верх – укоротился, раздавшись вширь. Вместо поездки потащил это в прачечную.

– Вы, наверное, перепутали. Выдали мне чужое бельё.

– Нет, это ваше. Вот – номера.

– Значит, вы его испортили с первой же стирки. Было по мне, а теперь может сгодиться только на Сергея Довлатова. Возвращайте ущерб!

– Нет уж. Мы работаем по технологии. Жалуйтесь на изготовителя, на фабрику «Большевичка», это у них такой трикотаж.

* * *

Новый 1979-й год я встречал на Таврической, по-семейному тихо, со своими. После двенадцатого удара мать разрезала мясной пирог, каждый из домочадцев взял себе по куску. Вдруг мне на зуб попалось что-то твёрдое, и я вытащил гривенник в вощаной бумажке: счастье, удача! Как же это мне пофартило? Не иначе, как мать постаралась подсунуть мне счастливый кусок, особенно нужный сейчас, в моём состоянии полной размазанности по снежной равнине.

За помощь я благодарен друзьям, с которыми сблизился в последний год: это чета Иофе, оба выпускники Техноложки. Но познакомились мы не в институте, а гораздо позже, когда Веня уже отбыл свои года в качестве политзека по делу «Колокола» вместе с Борисом Зеликсоном и другими «колокольчиками». Хорошо было еженедельно встречаться у них на Мытнинской, 27, когда Лида, расстаравшись на кухне, угощала жгучим борщом с сахарной косточкой да пышным пирогом-кулебякой, а я дополнял её кулинарные великолепия бутылочкой «Старки». И – текли разговоры: сначала рассказы о пребывании во «внутрянке», то есть следственной тюрьме Большого дома, о гениальной азбуке для перестукивания, изобретённой Зеликсоном, о том, как Веня в одиночке и, соответственно, в одиночку выучил японский язык. Затем – о пребывании в мордовском лагере со многими яркими противоборцами режима, в том числе с такой знаменитостью, как Синявский-Терц. А Лида рассказывала об опыте «декабристских жёнок», об их солидарном стремлении помочь одна другой и, конечно, мужьям, находившимся в заключении или ссылке.

А потом уже шли в обсужденье проклятые, вечные наши

вопросы: камо грядеши, Россия, да чем победиши? И конечно, что делать и кто виноват. В этом мы трое плюс многие, многие на таких же домашних сборищах и в библиотечных курилках представляли, что именно мы и есть сама Россия – не Кремль, даже не Китеж, и уж не бородатые ксенофобы и последовавшие за ними ряженые казачки…

И начала у меня проситься наружу эта тема короткими сильными толчками, как у роженицы. Тема потребовала эпического тона и, одновременно, краткой афористической формы. Я облюбовал терцины. Но сколько нужно строк минимально, чтобы сохранить при этом их строфику? Семь? Мало. Тринадцать? Число плохое. Итак – десять! Две рифмы на вход, две – на выход, плюс три мужских и три женских созвучия. А графически это будет выглядеть великолепно – три терцета и одна заключительная строфа, требующая афоризма. Почти как сонет, только более компактно: теза, антитеза, вывод и заключительный поворот темы. И как получилось, что такая чеканная форма, буквально валяющаяся под ногами, никем не была замечена и подобрана? Ай да я!

* * *

В этом месте издатель должен сделать примечание и охладить мой пыл изобретателя «бобышевской строфы», сообщив, что первым всё-таки набрёл на эту форму кудесник стиха Михаил Кузмин. Два-три подобных десятистрочия были обнаружены на листах его заметок и опубликованы в «НЛО». Правда, случилось это по крайней мере десятью годами позже полной публикации моих «Русских терцин» в парижском журнале «Континент» (а частичная была ещё раньше – в 1981 году в «Русском альманахе», также в Париже).

Всё же и тогда мои первооткрывательские радости были если не омрачены, то осложнены остротой темы, заставляющей автора расставлять в ней самые болезненные, даже рискованные акценты. А нарываться пока не хотелось. Какой-то внутренний лоцман советовал попридержать ход, чтобы опасную мель проскочить вместе с приливом. Кроме того, не хватало внешней опоры, взгляда со стороны, необходимость которого я ощутил в обсуждении тех же тем с Ольгой, но нужен был собственный опыт.

В феврале вдруг пришла по почте открытка с приглашением посетить вечер французской культуры, проводимый во французском консульстве на Мойке. Кинофильм, общение с

художественной интеллигенцией. Мило. Но советовали захватить с собой паспорт помимо этого приглашения. Действительно, на подходе останавливал гостей милиционер: кто, куда, зачем? Милостиво разрешал пройти. Всё было нормально, хотя гости шарахались друг от друга или держались замкнутыми кучками.

Ко мне подошёл какой-то любезный господин, хорошо говорящий по-русски, пригласил пройти в смежную комнату.

– Знаете ли вы, что у вас только что вышла книга стихов в Париже?

– Слышу эту новость впервые. Но давно её ожидаю.

– Я могу передать вам два экземпляра: для вас и для вашего брата. А на третьем буду рад получить ваш автограф.

Свершилось! Вот он, зелёный, отнюдь не тоненький томик с моим чуть стилизованным именем – Димитрий Бобышев (пусть так и будет), со странноватым названьем «Зияния» и тюльпановской кисти портретом под обложкой. Спасибо, матушка Наталья, тебе за всё! Ну а при чём тут мой брат Костя? Хаживал ли он сюда раньше? Видимо, так.

Дома рассмотрел книгу в деталях: шрифт, расположение текстов – всё хорошо, а главное – ничто не выброшено, не изменено. В «Стигматах» даже сохранены графические фигуры: крест, треугольник, звезда, распятия... Ну, есть тут и там опечатки, но не такие зловредные, можно угадать смысл. Вот перепутанные номера страниц уже хуже – дань, так сказать, разрушающей мир энтропии... Но это – мелочи, хватит о них. И – спасибо, спасибо, Наталья!

Факт самовольного издания книги на Западе – разумеется, дерзость и вызов. Но если двадцать лет назад Пастернака за это затравили и в гроб свели, а десять лет спустя Даниэля с Синявским упекли в упомянутые мордовские лагеря, то теперь власти могут сей факт и проигнорировать. Хотя вот на «Метрополь» рассердились.

Можно сказать лишь одно: попомнят при случае.

Следующая дерзость возникла из вокзальной, с примесью локомотивного дизеля, атмосферы, но имела вид элегантный, прелестный и решительный: это приехала Ольга, распланировавшая по дням наше ближайшее будущее. Матримониальный интерес идеально совпал у неё с профессиональным. Точкой отсчёта послужила дата начала полевого сезона в археологической экспедиции на Украине. Под эти раскопки ей удалось снова добыть грант в том же «IREX» – фонде научного обмена. Экспедиция и будет нашим свадебным путешествием (кто-то ездит на южные курорты, а кто-то поедет в глубь веков и тысячелетий), и сочетаемся мы, стало быть,

накануне, где-то в начале июня. Отсчитав обратно три месяца на совершенно незыблемый ожидательный срок после подачи заявления, мы и получим первую половину марта, когда она прибыла уже в качестве моей невесты.

Я надеялся обойтись без свадебной помпы, расписаться в районном ЗАГСе, и дело с концом. Но не тут-то было. Официально мне заявили: «Браки с иностранными гражданами регистрируются только во Дворце бракосочетаний». И это, кажется, соответствовало желаниям невесты. Итак, мы обручились, что было крупной победой детей детанта. С матерью моей я ещё раньше проводил «разъяснительные беседы», сглаживая неизбежный шок. Дружески помогала и Галя Руби, расхваливая Ольгу матери. Ну а когда я привёл её на Таврическую, лёд окончательно растаял. Маленькие подарки, чай из «Берёзки» сделали своё дело.

– «Инглиш брэкфаст» – моя любимая марка чая, – неожиданно призналась мать.

Ну и хорошо. Даже Федосья не глядела уже так угрюмо, как обычно на мои «художества». Конечно, от Ольгиных щедрот перепало и жениху. Помимо главного дара – её самой, столь долгожданной и долгожеланной, – привезла она целый чемодан шмоток: джинсовый костюм, диковинную курточку с выворотом на другую сторону, рубашки, даже бельё.

Встречал я (и потом провожал) свою суженую на родном Финляндском вокзале. Она летела до Хельсинки, а оттуда – поездом. Так ей посоветовали мудрые головушки – с пьяными финскими туристами легче пройти через таможню. Вообще «за отчётный период» натерпелась она немало и раздражений, и обид, и страхов, и, конечно же, колебаний: развод, раздел имущества, продажа дома... А главное – серьёзное опасение за продвижение только начавшейся научной карьеры, что могло осложниться в результате обретения советского (или, скорей, антисоветского) жениха. Дадут визу или не дадут, пустят на охоту за мамонтами или нет, – от этого зависела её диссертация, не говоря уж об успехе нашей с ней «стыковки».

Рассказал и я о своих горках, колдобинах и ушибах: о том, как отказали мне в ОВИРе, – мол, «тётушка» – недостаточное родство для гостевой поездки. И как я спросил, озлясь:

– А достаточное ли, чтоб уехать на постоянное жительство?

– Так бы и говорили. Пишите заявление!

И я написал. Всё равно ведь к этому дело идёт. И пусть мои бумаги там у них в бюрократическом чреве вращаются. Вмиг сообщили на работу. Позвонила секретарша из конторы, попросила явиться.

– Тут товарищи хотят с вами побеседовать.

Сижу, жду «товарищей». Никого нет. Я тем временем обдумал моё положение: оно стало уязвимым. В сущности, теперь очень легко навесить на меня какое-нибудь должностное преступление, как уже пытались однажды. Эти якобы круглогодичные командировки, пустые договора, фальшивые процентовки, вся эта советская фикция... Да, в этом суть моей службы, и каждый так делает, но...

Я написал заявление и получил расчёт.

ОХОТА НА МАМОНТА

С отъездом Ольги моё жениховское настроение не испарилось: три весенних месяца радостных ожиданий – это не то, что зимовка с неясными перспективами. Да, я остался ещё более уязвим: не числился на работе, печатался и издавался за границей, общался вовсю с иностранцами, получая от них книги тоннами... Но, видимо, был я для «товарищей» уже отрезанный ломоть, которого лучше всего проигнорировать. И это меня устраивало.

Я истово допостился до Страстной субботы, а разговлялся в доме у крестника, где впервые год назад увидел Ольгу. И сколько произошло событий с тех пор! Вдруг позвонили Виньковецкие из Вирджинии, все за столом их знали, каждый хотел что-то сказать или услышать. Я похристосовался через океан с Яшей, а Дина сказала, что они знают о моих планах. И произнесла загадочную фразу:

– Хочу, чтоб ты имел в виду. В Америке первым делом – мордой об стол.

– Такого обращения с собой я не допускаю, – ответил я, но задумался.

Это ведь везде случается с новичками. Вспомнился друг Германцев и его роман с итальянкой. Уж такая была любовь, уж так она желала вывезти его с собой, что он, давно уже имевший израильский вызов, но колебавшийся, решился наконец пустить его в ход. Железно договорились, что Габриэла (так звали невесту) будет встречать его в Вене, оттуда они поедут вместе в Милан к её родителям, там с их благословения и поженятся. Но в Вене Германцева никто не встретил, кроме «Сохнута». Он рванул тогда к телефону, позвонил в Милан. Её не оказалось, а жестокосердые родители (в них-то и был корень зла) ответили так:

– Габриэла уехала в Лондон со своим бойфрендом.

Кто знает, может быть, бедняжка в это время лежала связанная и с заклеенным ртом в ванной? Ну а Германцева, действительно, приложили мордой об стол.

Крупно не повезло уезжающему Игорю Тюльпанову, и тоже в Вене. Он позднее рассказывал это так. Они с Леночкой уезжали вскоре после рождения ребёнка, увозя всю свою живопись и графику. Тюльпанов опасался, что таможня его разорит, однако пошлина за его легендарно дорогие работы оказалась на удивление невысока, можно сказать – никакая. Когда приземлились в Вене, шёл лёгкий снежок. Лена несла

новорожденного Христика и лёгкую поклажу, Игорь – два чемодана с малой живописью и графикой, а также упаковку с большими картинами. Всю группу эмигрантов куда-то повели регистрировать. Пока это происходило, два чемодана исчезли. С запрокинутым сознанием Игорь вышел, посмотрел на падающие снежинки и вдруг увидел, что чемоданы его стоят на противоположной стороне улицы – там, где его и не было. Не веря своим чувствам, он забрал свой бесценный груз, и тут их всех повезли в гостиницу. Пока толпились у лифта, чемоданы пропали вновь, и на этот раз навсегда. Там была его тончайшая графика, иллюстрации к сонетам Шекспира, сотни листов комических акварелей «Очарованные разгильдяи» и то, что ценил я превыше всего: малые натюрморты, где его тщательная манера письма была наиболее уместна и впечатляюща… На какой подмосковной даче всё это теперь висит? Или – в швейцарском шале? Или – альпийском замке?

Но – прочь, дурные мысли, подозрительные тени и ложные предчувствия! У меня всё будет иначе. И в самом деле – в конце мая приезжает моя драгоценная избранница, погода стоит прекрасная, в Таврическом саду благоухает сирень. Наша свадьба – послезавтра, сегодня отдыхаем, завтра готовимся.

– Ну что, летают у тебя в желудке бабочки, мой милый? Такие чёрные бабочки? – спрашивает Ольга. – Нет, не порхают?

Я дивлюсь такому необычному образу, но это всего лишь калька с английского, обозначающая нервное состояние. Конечно, я нервничаю – не каждый же год женишься на американке. Вот как раз в канун перед свадьбой, когда Ольга поехала на Таврическую помогать маме с Феней в готовке на завтра, я остался у себя на Петроградской, потому что кончалась неделя моего дежурства по квартире, и нужно было убрать коридоры, натереть пол в прихожей. Обычно я делал это сам, но тут пригласил полотёра. Напрасно моя невеста ждала, когда я заеду за ней и отвезу к себе, или уже к нам. К телефону я не подходил. Волнуясь, она приехала сама на такси и обнаружила меня спящим. Я, оказывается, откупорил бутылку хорошего скотча, выпил рюмку, выпил вторую, угостил полотёра да с непривычки и захмелел… Хорош оказался женишок!

Но на следующее утро я действительно был недурён при белом галстуке и розово-взволнованной невесте. Сама процедура была официальной, но нисколько не пошлой, как я опасался. Ну, марш Мендельсона всё же прозвучал…

– Я пригласила одного американца, – сказала Ольга. – Он здесь по научному обмену. Ты не против?

– Конечно, нет. Так даже лучше.

– Но он с переводчицей, а она – наверняка стукачка.

– Что ж, пусть и «они» знают, что Бобышев женится.

Свидетелями были Галя Руби и Веня Иофе. Галя свидетельствовала и на моей первой свадьбе, тоже во Дворце бракосочетаний. Хорошо хоть в другом. Этот был расположен исключительно удачно – через сад от дома на Таврической. После церемонии нарядные гости прошествовали вместе с нами по саду, поднялись на четвёртый этаж, уселись за уже накрытый стол, и – пошла гульба.

Проснулся я в каменном веке. Во всяком случае, с ним были связаны Ольгины интересы, а они в ближайшие месяцы должны доминировать – ведь начинается полевой сезон. Круг общений – тоже сугубо профессиональный: охотники (и охотницы) за мамонтами или, по крайней мере, собиратели их костей. Я стал узнавать прототипы из археологического детектива Наля Подольского. Вот, например, русский богатырь Геннадий Павлович Григорьев, сам напоминающий предмет своих изучений. Вообще-то диссертация его по африканским стоянкам, но в Африку его не пустили из-за «нецелесообразности» – эта формула нам уже знакома. Копал он мамонтов в Авдееве под Курском, куда в прошлом году ездила Ольга, и у меня установился с ним род отдалённого приятельства. Бывал он душой археологических застолий, когда специально тушился свет, и он пел «Лучинушку» с проникновенными интонациями, почему-то прикрыв одно ухо ладонью.

Его экспедицию курировала из Москвы Марианна Давидовна Гвоздовер, авторитарная старуха комиссарского вида, к которой Ольга относилась с наибольшим почитанием, называя её не иначе как «Начальник». Пред её светлые очи я и был представлен в Москве на одобрение. А ещё – пред действительно излучающий женственность взгляд и облик Натальи Борисовны Леоновой, одного из прототипов (если не главной героини) прозы Подольского. Роль моя была чисто декоративная, подчёркнутая тем, что у самой Леоновой имелся гораздо более декоративный муж, хорошенький и молоденький.

Ну что ж, взялся за гуж, не говори, что не муж, – или как там? Предстояли ещё многие общения с этим миром. Поехали в Киев, где встречала нас истинная хозяйка тамошних раскопок Нинель Леонидовна Корниец, для нас – просто Неля. Она была дочерью могущественного министра при правлении Шелеста (у Довлатова он – «товарищ Челюсть»), но и в последующую эпоху пользовалась элитарными свободами и привилегиями, была бесстрашна, независима и могла «всё». Не знаю, у кого из родителей она унаследовала солнечную внешность, когда-то пленившую

албанского тирана Энвера Ходжу, оказавшегося, впрочем, истинным джентльменом, но и в свои под пятьдесят Неля была «очень даже ничего» с густейшими золотистыми волосами и прямым прозрачно-зеленоватым взглядом. Мы остановились у неё и её дочери Маши-хохотуньи, в квартире рядом с зелёной зоной правительственных резиденций. Экспедиция ещё не была готова. Тем лучше. Святыни Киева предстали в увядшей, но впечатляющей красе. Даже «Хрущатик» с его скульптурными наворотами, изрядно уже заросшими зеленью, не оскорбляли ни ленинградского, ни даже нью-йоркского вкуса.

А по основной тематике были мы у Нели в Музее истории Украины (уже в названии они отделили свою историю от русской), и там повидал я наконец-то цель Ольгиных устремлений. Реконструированные, это были сравнительно просторные полусферические яранги, затейливо выстроенные из гигантских костей мамонтов. Сама идея постойки жилья из останков – и чьих! – заявляла не только о разумном использовании подручного материала, но и о гордыне строителей, отделяя их с определённостью от «дикарей». Не подобным ли тщеславием был одержим создатель знаменитой башни в Париже или архитектор трагических близнецов на Манхэттене? Если учесть головокружительную перспективу времён с уходящими вглубь нулями, это было не меньшей дерзостью, а кладка костей в основании стен обнаруживала искусный ритм. Ну а ритм – это все: и музыка, и поэзия, и жизнь.

* * *

В селе Межирич (между реками Рассавой и Росью) находился раскоп, законсервированный с прошлого года. Это был глубокий квадратный котлован, вырытый в мягкой илистой почве на участке колхозника Захара Новицкого и его семьи, в их вишнёвом саду между дорогой и хатой. Хозяин на своё несчастье наткнулся на «дюжие мослы», когда решил углубить погреб. Показал их учителю истории, тот позвонил в Киев, приехал академик Пидопличко, и с тех пор жизни Новицким не было. Их взрослая дочка Зина, повредившаяся в уме, время от времени кидалась на археологов то с граблями, то с тяпкой в руках. Но, видимо, ей напоминали о дурдоме в Каневе, и она успокаивалась. Детски расспрашивала Ольгу:

– Вы что, из самой Америки?

– Да, из Нью-Йорка.

– И что там: высокие-высокие дома и много-много

автомобилей?

– Так точно.

Почему-то Ольге полюбилось это армейское выражение. А я подумал: в сущности, и мои представления об американской жизни немногим отличаются от Зининых. Её отец Захар Григорьевич давно уже болел, и вот в то лето умер. Его отпевали со священником, пришли проводить полсела плюс вся экспедиция. Шествие возглавлял очень картинно наш Геннадий Павлович с хоругвью – видел бы это парторг Института археологии! На поминках столы стояли под вишнями рядом с раскопом, вдова подавала в мисках кутью и свежие овощи с огорода. Выпили по стопке самогона, но не больше, чтобы поминки не превратились в веселье.

Экспедиция квартировалась сразу за кладбищем, но другим, старым, на конце села. И всё-таки самой крайней, совсем на выселках, была ещё одна хата, хозяин которой, в точности как гоголевский кузнец Вакула, имел двусмысленную репутацию на селе. Неля ему платила, чтоб он сторожил наш лагерь, где имелся навес со столами и плитой для готовки, вокруг – места для палаток и дощатое сооружение общего пользования, но без дверцы. Куда же она делась? Без неё – никакого интима. Вася и Лёнчик, молодые археологи, отправились на разведку к этому Тарасу и, хоть он и отпирался, вскоре обнаружили пропажу у него в сарае.

– Зачем же ты взял? – спросили археологи.

– Шоб было! – последовал прямодушный ответ.

Участок Новицких, где производились раскопки, был, особенно если сравнивать его с приусадебными клочками в северных деревнях, довольно большой: он тянулся от шляха до поймы Рассавы, да хозяйка ещё прихватывала под огород от пойменной земли. Это потому, что семье полагалось несколько паёв от колхоза, где они все числились, хоть и на придурочных должностях, только младший служил шофёром. Они отдавали всё дневное время своему участку, а водитель в семье – это ж было благо небес! С начала лета он ящиками возил клубнику в Черкассы на рынок, и дальше – в Воронеж и Курск, затем – черешню и свежие овощи, после – картошку и кукурузу, которая стояла у них стеной, как в какой-нибудь Айове, как в хрущёвском раю, в отличие от худосочных побегов на колхозных полях. А ведь земля была одинаково плодородна – лёс, речные наносы, целых 15 тысяч лет глубоко прятавшие здесь первобытное поселение!

Как только убрали доски укрытия, обнаружилась впечатляющая картина: овал яранги, подобной тем, что видели в музее, только с провалившимся верхом, по периметру основания

обложенный громадными костями, подобранными в прихотливых сочетаниях. К этому времени начали съезжаться мудрецы и авторитеты науки, которые не торопились вскрывать уже обнаруженное, но, сидя на корточках или на перевёрнутых вёдрах, предпочитали вести учёные разговоры, лишь изредка взрыхляя какой-нибудь пятачок культурного слоя ножом или обмахивая его кистью. Молодёжь делала разметку, я с лопатой присоединился к землекопам, орудовавшим чуть в стороне. Они с благоговейным ужасом посматривали, как я отряхиваю руки о джинсы, но других рабочих штанов у меня просто не было.

Сама Неля Корниец и её ребята приняли меня хорошо, как нормального человека, а вот прибывшая позднее университетская группа Михаила Гладких – с напряжением. Уж не знаю, кем я был в их воображении – авантюрист, подсадная утка, двойной агент? Вечерами к нам под навес являлось к столу местное начальство, вело себя уморительно. Один из них, например, после пятой стопки самогона хлопнул шестую, налитую ему исподтишка водой. Крякнул и, внезапно задумавшись, оценил:

– Оригинально!

Приезжал директор совхоза из соседней Гамарни, казак, по виду, лихой. Тоже дегустировал самогон, а потом предложил проехаться с ним в сумерках воровать кукурузу с его же совхозного поля! И мы ездили, и с удовольствием воровали.

В субботу наведались и кагэбэшники: один, наверное, киевский, а другой областной из Черкасс, – двое рослых развязных дядьков. Ледяным глазом косясь на меня, любезничали с Ольгой, интересовались оптикой её «Найкона», предлагали проявить ей плёнки. Она разыгрывала полную наивность, стояла за мир во всём мире, охотно с ними фотографировалась, но плёнки, поблагодарив, не дала.

Между тем археологические знаменитости обсуждали ископаемое жилище: постоянное оно или сезонное, бытовое это строение или культовое? Но вот великий палеозоолог, член Комитета по изучению мамонтов проявил себя в конкретном деле: с помощью лассо вытащил из котлована барсука, попавшего туда ночью. Освобождённый зверь драпанул в свою родную балку, поросшую кустарником, прямо с петлёй на шее.

А Павел Иосифович Борисковский, ещё один «мамонт» своего дела, заинтересовался моими стихами. Дня два сидел перед палаткой, открыто читал «Зияния». Комментарий его был косвенным. Он сказал:

– Советую передать эту книгу в Публичку.

– Зачем? Неужели они станут выдавать её читателям?

– Возможно, и не станут… И всё-таки будут хранить.

Вдруг пожаловала целая экспедиция во главе с академиком Андреем Величко. Он был внешним руководителем Ольгиной диссертации – ещё сравнительно молодой, высокий, лощёный, довольный собой, только что вернувшийся из поездки в Нью-Йорк. Они прибыли на двух фургонах, расположились лагерем за селом, в живописной излучине Рассавы. Пригласили нас в гости и там приготовили сюрприз: устроили нашу полевую свадьбу! Столы были расставлены прямо на лугу, речи перемежались вакхическими восклицаниями. Поднесли нам берестяную посуду на рушниках. Одна из кружек до сих пор служит мне вместилищем карандашей и всякой всячины.

Но пора была собираться в путь: в Воронеже намечался большой археологический форум. Неля свистнула своего шофёра, и Витёк, калымивший и жирующий по окрестным сёлам, получил приказ готовиться к путешествию.

– Поняв, поняв, – сказал Витёк и набрал по своим адресам целую корзину сала, огурцов, помидоров, зелёного лука и, конечно, бутыль абрикосовки.

Неля брала с собой немногих, по числу мест в микроавтобусе, мы с Ольгой были среди них. Прощай, Межирич! Последнее, что я увидел в селе, была необъятная фигура местной Солохи, вид сзади, загоняющей корову на дойку. Не твоя ли, Витёк, зазноба? Скоро я увижу подобную ей необъятность, но в чернокожем исполнении, ловко и даже грациозно несущуюся на роликах в Нью-Йорке на закрытом катке, где мы соберёмся отмечать с детворой день рождения Саши, моей падчерицы.

Осталось досказать немногое. Поскольку Неля решила по пути навестить ещё два раскопа, подобных Межиричу, но уже превращённых в музеи, мы задержались до темноты и надо было где-то заночевать. Неля своим чутьём охотницы направляла Витька, он – микроавтобус («вэн» – сказал бы я теперь коротко), и вот мы из какой-то кромешной тьмы и глуши входим в Дом колхозника. Заспанная администраторша требует у всех паспорта. Если Ольга вытащит своего орластого, с той будет шок, и неизвестно, чем всё кончится. Поэтому Неля говорит решительно:

– Это моя дочь. У неё ещё нет паспорта.

– А у этого?

– Этот – её муж.

И нам был выдан отдельный номер. Только заснули – шум, гам, напор молодых голосов. В гостиницу въехал театр, гастролирующий по провинции. Захлопали двери, и вот, наконец, гомон утих... Нет, шум опять! Начались босоногие пробежки из номера в номер. Это труппа тасовалась, как колода карт, по мастям и парам.

Воронежская конференция проходила в университете. Ольга оказалась единственной иностранкой, что придавало событию ранг международный. Слушать доклады я не стал, городские достопримечательности проснобировал. Хотел я посмотреть, где жили в ссылке Мандельштам с женой, но мне сказали, что в тех местах теперь новые постройки... Оставалась автобусная экскурсия по археологическим раскопам на левом берегу Дона. Для меня сам Дон и был главной легендарной достопримечательностью, но Ольга смотрела во все глаза на чистенькие, как на картинке, раскопы знаменитых стоянок, на срезы культурных слоёв, щёлкала «Найконом», а эрмитажный академик Пиотровский косился на неё, ставшую за эти два дня здешней сенсацией. Местные жители подходили ко мне с вопросом:

– Говорят, тут с вами американка. А кто она?

– Моя жена, – отвечал я, любуясь речными плёсами.

– А разве так можно?

Отходили, не зная, верить или не верить.

Апофеозом всего стала познавательная поездка на пароме. Участников конференции высадили из автобусов на площадку без бортов и перил. Перевозчик с помощью нехитрого устройства потянул за канат, паром качнулся и пошёл. Ухватиться было не за что, оставалось стоять прямо. Чем дальше отходили от берега, тем просторнее открывались виды, которые комментировал через мегафон «сам Рогачёв», главный копатель этих мест. Видны были геологические террасы, удобные для заселения, разрезы в местах археологических вскрытий. Там были найдены каменные и костяные орудия труда, здесь обнаружены раковины морского происхождения, – свидетельства дальних передвижений первобытного человека, а, может быть, и товарообмена...

Между тем открывалось и нечто другое, не предназначенное для глаз американки, увешанной мощной фотооптикой. Вот, например, из-за мыса показался внушительный силуэт атомной станции. И это – в стране, где запрещалось фотографировать даже вокзалы и мосты! А вот и ещё пуще: два боевых птеродактиля блеснули в небе, оглушили громом моторов, исчезли, и где-то на том берегу грохнул ракетный удар. И ещё одна крылато-когтистая пара, и ещё, и ещё... Похоже, что здесь где-то рядом расположен секретный завод или базируется авиачасть, и новейшие истребители-бомбардировщики вылетают долбать учебные цели на полигоне.

– Это у нас такая охрана исторических памятников! – сострил кто-то на пароме.

ПРОЩАЙ, И ЕСЛИ НАВСЕГДА, ТО НАВСЕГДА ПРОЩАЙ

Мы возвращались в Москву на грузовике величковской экспедиции, сидя в кузове вместе со стайкой студенток-археологинь. Ольга смело задрала ноги во вьетнамках, упираясь в кабину. Девчонки не смели ей подражать. Американка во вьетнамках – каково?

Дрянная машина сломалась в пути, мы с Ольгой решили не ждать, пока её починят, – ведь экспедиция-то не наша. Голоснули, остановили самосвал. Шофёр посадил её в кабину, а меня отправил в кузов. Извинился:

– В кабину третьего взять не могу, ГАИ остановит. В кузове тоже нельзя – самосвал... Так что вы не высовывайтесь.

И мы покатили. Кузов был пуст, лишь строительная пыль никак не могла покинуть грузовик, дико летая вокруг меня, забивалась в волосы, в уши, в глаза. Пришлось высунуться. Мы мчались по Киевскому шоссе, приближаясь к Москве. Берёзовые рощи, сосновые боры стеной стояли по сторонам отлично разлинованной, классной дороги. И вдруг – видение: из леса вышел коренастый бородач с молодой женщиной. Белая кепка сидела на его ещё тёмной кудрявой голове, лицо оживлённо улыбалось. Мелькнул – и нет. Но я его узнал. То был Шварцман, великий мастер иератического искусства. Прощайте, Михаил Матвеевич! Я взмахнул рукой, да куда там! Он и не заметил.

Хотя и предстояло ещё неопределённо долгое ожидание, началась уже пора прощаний. Сергей, мой двоюродный брат, зазвал к себе посидеть, поговорить по-родственному, – он снимал дачу в Архангельском. Надо было уважить хорошего человека, и Ольга со вздохом согласилась. Мы не гуляли по барским аллеям, сидели на веранде за клеёнчатым столом, а Сергей повторял многократно:

– Брат, мы ведь с тобой никогда не увидимся. Никогда!

Да, детство наше прошло вместе, и теплота в отношениях оставалась. Но, разъехавшись по разным городам, виделись мы от случая к случаю. Похоже, что его удручало само это слово «никогда»...

– И ведь он прав. Никогда, – сказал я Ольге, когда закончился этот тягостный вечер. – Nevermore.

– Никогда не говори «никогда», – ответила она. – Есть у нас такая поговорка: Never say never.

Она-то и оказалась права. В августе 1987-го Сергея с женой

пустили в Чехословакию, тогда ещё социалистическую. Ольга копала тогда в Моравии, но приехала в Прагу, чтобы встретить меня, прибывавшего туда поездом через Францию-Германию-Австрию. В условленное время мы встретились с Сергеем на Карловом мосту.

– Ну что, брат, куда девалось твоё «никогда»?

– Эх, брат! – только и сказал он, стискивая меня в объятиях.

Но, чтоб дожить до таких чудес и до подобных встреч, надо было сперва распрощаться. И вот я опять в Шереметьево-2, где повторяется та же сцена у балкона, откуда Ольга посылает мне прощальный взгляд. Нет, не «прощай» – до свиданья в Нью-Йорке!

Однако недели тянулись за неделями, а ОВИР безмолствовал. Меня поддерживали встречи в доме Иофе, с ними я делился своими тревогами; еженедельные обеды у них действовали успокаивающе. Веня был убеждён, что меня теперь выпустят, а я его прогнозам доверял – они были не только аналитическими и рассудочными. Однажды я сказал ему, что мне приснилась церковь.

– Перемена участи, – сказал он уверенно. – В лагере такой сон означал: либо на тот свет, либо на свободу. Ну а твоём случае я надеюсь на второе.

В этом втором случае предупреждал он меня относительно Бродского. Мол, профессиональный круг узок, дороги могут пересекаться.

– Уверен ли ты, что он не будет чинить препятствий?

– Очень даже может. И ставить рогатки тоже.

– Вот видишь. А ведь он уже в литгенералах – ты же, извини, всё ещё в младшем командном составе...

– Так ты считаешь? Лейтенант запаса?.. И всё-таки у меня вышла книга, меня печатают в «Континенте», «Вестнике», «Времени и мы». Круг узок, а мир большой.

– Ну, дай-то Бог.

Всё ж я почувствовал себя задетым тем, что друзья числят меня в таком скромном ранге. Это, впрочем, не отменяло моих симпатий и сердечного отношения к ним. И я одарил их пятистопным ямбом, в который укладывались имена: Вениамин и Лидия Иофе. Опус назывался «Привал интеллигентов», и я огласил его в очередную субботу.

– Каждый раз, как стихи, мою фамилию рифмуют с «кофе»! – воскликнул мой ничуть не впечатлённый друг.

– «Каждый раз»! Можно подумать! – обиделся я всерьёз. – Ты услышал только одну рифму. А между тем, я посвятил тебе терцины – причём тройные, каких никто не писал. Это значит, что каждая строка здесь рифмуется девятикратно. Вот смотри...

– Всё, всё, беру свои слова назад!

Чаще я стал бывать на Таврической. Там как-то восстановилось у меня чувство дома, и было мне хорошо, отдохновенно… Для Федосьи значило много, что теперь я мужик семейный. А мать заобожала свою новую невестку: хоть и американка, а наша, русская, и к тому же – учёная, как сама мать, да и зовёт её «мамой». Но тема моего предстоящего отъезда вызывала у неё сопротивление. Вдруг вырвалось:

– А что я скажу в нашей парторганизации?

– В твоём институте? Ты же на пенсии!

– Нет, в парторганизации, где я числюсь теперь. При нашем ЖЭКе.

– Что тут такого? Я же уеду с советским паспортом.

– Нет, ты не знаешь…

А мы бы могли обсудить более важный и очень практический вопрос: я ведь оставлял жилплощадь. Можно было, наверное, кого-то там прописать, что-то с ней сделать, чтобы комната не пропала… Нет, эта тема в нашей семье никого не заинтересовала.

И вот, когда задули холодные ветры, зажелтели, закачались, теряя листву, верхушки вязов в моём окне и стал между ними проблескивать золотом петропавловский ангел, наконец, мне позвонили, из ОВИРа. Казалось, само время, астрономическое и даже биологическое, очнулось от летаргического сна. Часы громко затикали на запястье, кровь расскакалась по жилам.

В ОВИРе выдали целый реестр анкет и справок, которые нужно было оформить, и это требовалось лишь для получения паспорта с выездной визой, а ведь нужна была ещё въездная, и только после этого я мог купить билет. Многие проходили через эти заморочки, всё описывать я не буду, но некоторые оказались забавны, а другие – унизительны. Например, для американского консульства нужна была большая медицинская справка – в особенности на отсутствие туберкулёза и венерических заболеваний. Двусмысленно и гадко было предъявлять молодой врачихе свои доказательства.

Но самым первым делом надо было избавиться от воинской повинности, висевшей над головой все молодые и вот уже зрелые годы. Как можно скорее! Всё оказалось проще простого. Майор в военкомате лишь хитровански подмигнул и спросил:

– Баба-то хорошая?

– Отличная.

И он снял меня с учёта.

Среди неожиданных, даже нелепых справок требовалась одна, психологически непростая. Получить её надо было от разведённой супруги, если таковая имелась когда-то, – в том, что

нет у неё материальных претензий. Наташка! Я уж и думать забыл о ней. Даже не знаю, где она. Слыхал, что после меня она вышла замуж, переехала в Москву, родила двух дочерей, вновь развелась... Да ведь развод был у нас по суду, какие могут быть претензии? Но без справки визы не получишь. Оставил это на потом... И вдруг – звонок:

– Дима, ты меня помнишь? Ха-ха! Я Наташа, твоя бывшая жена.

– Наташа, какой сюрприз! Чем могу быть обязан?

– У меня вопрос или, скорей, просьба. Ты не мог бы дать мне справку, заверенную в ЖЭКе, о том, что не имеешь материальных претензий ко мне?

– Могу. Но при одном условии.

На том конце провода установилась глубокая мрачная тишина. Там, вероятно, гадали, сколько тысяч потребует этот злодей за ничтожную бумажку. Наконец раздался робкий голос:

– При каком же условии?

– При том, что ты дашь мне такую же справку.

Там – бурная радость. Возгласы – ты тоже едешь! Как здорово!

Имущества у меня не было. Были книги, картины да некоторый архив. Всё это хотелось бы сохранить. Но, после череды строгих запретов, мало что позволялось вывозить. Самое ценное из архива я сложил в чемоданец и передал на хранение Вене Иофе. А картины надо было везти в Комиссию от Русского музея, они их оценивали, брали пошлину и оформляли к вывозу. Комиссия располагалась не в самом музее, а в подвале дома, соседствующего с Кавалергардским манежем, выходящим к Исаакию. Тащил я туда порядочную тяжесть: два натюрморта Михаила Вербова, ученика Петрова-Водкина, дорогие мне тем, что написаны были в водкинском сферическом пространстве, к ним – акриловый абстракт Якова Виньковецкого да несколько композиций Валентина Левитина. С неудобным пакетом в руках я оказался в кишащей толпе у знаменитой лестницы с Диоскурами. Там происходило открытие выставки патриотических работ Ильи Глазунова, и народ, подогретый спорами, которые всегда умел вызывать Глазунов, повалил в Манеж. Перед таким триумфом ценности мои невольно казались жалкими. Трудно было пройти к искомому подвалу, потому что плотная очередь, заворачиваясь за два, даже три квартала, никого не пропускала сквозь себя. Однако Вербова я не вывез – культурное достояние!

Добыча справок могла приравняться к работе в какой-нибудь должности: я вставал по будильнику и шёл по очередным инстанциям. Но одна оказалась вне очереди и ожиданий. Звонок:

– Дмитрий Васильевич? Это из районного КГБ. Не могли бы вы к нам зайти? Петроградский райисполком, комната номер...

А не поздно ли обо мне, голубчики, вспомнили? Я ведь уже, вроде бы, и не ваш, могу и отказаться. Потом решил – ладно, пойду.

На двери – только номер, никаких обозначений. Чин – совсем молодой, зелёный, но с амбициями. Что-то плёл, плёл неопределённое, а потом вдруг резко:

– Это ваша книга?

И на столе уже лежит томик «Зияний».

– Да, моя. Откуда она здесь?

– У нас много возможностей... А как вы переслали рукопись?

– По почте, конечно.

Полистал, покрутил книжку, да и перешёл к делу. Мол, вы остаётесь советским гражданином и за границей. А ведь это обязывает исполнять свой гражданский долг. Вы человек известный, со многими будете встречаться. Давайте договоримся: вы будете сообщать нам об этих встречах. Только и всего. А с нашей стороны мы не будем препятствовать вам навещать здесь родных и близких.

– Нет, спасибо.

– Почему отказываетесь?

– Я хочу, чтобы мне и моей семье было хорошо в новой стране, и потому желаю жить там честно, быть лояльным.

Разговор был закончен. Я пересказал его Вене, комически возмущаясь, как раз по поводу младшего командного состава:

– Добро б разговаривать с каким-нибудь, по меньшей мере, полковником! А тут – напустили новичка...

– Это как раз неплохо, – мудро заметил Веня. – Значит, и не рассчитывали. Полковники-то любят успешную вербовку. А это так – только поставить галочку для отчёта.

Между тем октябрь уже шёл к концу, а с ним и мои бюрократические хождения. Проводов я категорически не захотел, насмотревшись надрывных сцен у других. Так я и объявил знакомым, и что ж? Вместо одного душераздирающего вечера я получил целый месяц ежевечерних посещений по одному, по два, по нескольку человек с непременной уверенностью в вечной разлуке, с разговорами за полночь, выматывающими из меня душу.

Наконец получаю в городском ОВИРе серпастый и молоткастый, но – выездной же, товарищ Маяковский! – паспорт с визой. Чиновница предупреждает:

– Обратите внимание на серию паспорта – ОМ. Паспорта этой серии выдаются на одну поездку и при возвращении изымаются.

Вам нужно по прибытии туда обменять его в нашем консульство на паспорт серии ОК. Он будет годен для повторных поездок.

Ну как мило, и как всё доходчиво! От души поблагодарил чиновницу за полезные сведения – они мне ещё пригодятся. Теперь надо ликвидировать моё гнездо. Разорение шло по нарастающей. Круглый стол взял зять в мастерскую, стулья и кровать поехали на дачу, туда же – постельное бельё. Одежда – кому придётся впору, тёплая куртка – Вене в поездки по объектам, письменный стол – одному из крестников.

В канун отъезда стены были голы, полы пусты, зато народу топталась целая толпа, всё прибывающая. Две группки маклаков спорили из-за книг, мать шила из последнего одеяла чехол для картин, Эра и Галя чуть не ссорились, как правильно уложить мне чемодан, который всё равно ещё растребушат на таможне.

И вот я остался один, лёжа на голой тахте, укрываясь пальто. Пусто, словно после пожара или налёта грабителей. Нуль. Голый человек на голой земле. И мне стало весело и страшно, как когда-то на даче в Вырице перед прыжком в оредежский омут.

В Москве предстояло оформить какие-то, оказавшиеся потом ненужными, бумажки, получить въездную визу и купить билет в Аэрофлоте. От продажи книг денег выручили порядочно, передвигался я только на такси, иначе бы и не успевал. Оброс друзьями, кто-то всегда был со мной. Поздняя осень помахивала кое-где то жёлтым, то оранжевым. Кублановский захотел устроить мне прощальное чтение на дому, но хозяйке позвонил некто и таинственно запретил. Я отдал нуждающемуся джинсовый костюм (он потом жил на него месяц), попрощался с Рейном, попрощался с Найманом, остатки денег передал тёте Тале на Соколе, где я ночевал.

Часть картин не пропустили (не хватало одной подписи в оформлении), в одежде прощупывали швы. И всё-таки в комканом, с виду грязном платке не усмотрели мою сентиментальную контрабанду – горсть кладбищенского песка, взятую на похоронах Ахматовой. Нет, я не твердил, как многие, лермонтовский стих о «немытой России», зачем? Ведь она с тех пор умывалась – то кровушкой, то потом. Мне вспомнилась строка из романтического первоисточника, из лорда Байрона, неизвестно кем переведённая:

Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай.

Когда самолёт выруливал на взлетную полосу, по ней уже вилась позёмка. Это было ранним, запомнившимся мне на всю жизнь утром 2 ноября 1979 года. В кармане у меня лежали, холодя и грея бедро, ключ от квартиры в Кью-Гарденсе и жетон на проезд в нью-йоркском сабвее.

Закончено 14 августа 2007 года